

РЕШАД НУРИ ГЮНТЕКИН

ЗЕЛЕНАЯ НОЧЬ



Annotation

Роман «Зелёная ночь» был написан в период с марта по сентябрь 1926 года. Он был впервые напечатан в 1928 году. Это наиболее глубокое произведение Решада Нури Гюнтекина. В «Зелёной ночи» писатель впервые обращается к образу нового человека Турции, положительного героя-республиканца, как его, конечно, понимал автор, которому вверяется судьба и будущее новых граждан страны, их обучение и воспитание.

- [Решад Нури Гюнтекин](#)

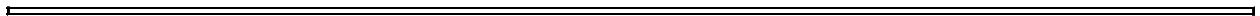
-
- [Часть первая](#)
- [Часть вторая](#)
- [ЭПИЛОГ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)

- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)

- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)



Решад Нури Гюнтекин
1926

Зелёная ночь

Перевод М. Малышева (часть первая, гл. 1-16) и В. Джалавяна (часть первая, гл. 17-25, часть вторая и эпилог)

Часть первая

Глава первая

Басри-бей^[1], заведующий первым отделением департамента начального образования министерства просвещения, был возмущён: до чего же невежествен может быть человек, да ещё директор гимназии! Пухлые щёки Басри-бея пылали даже сквозь редкие волосы чёрной бородки, он вскинул голову, поднял плечи и, упёршись пальцами в край письменного стола, словно изготовившись ударить по клавишам рояля, возопил:

— Что вы соизволили сказать? Нет, вы только подумайте, что вы сказали! Уж не ослышался ли я?.. Поистине удивлён, как вы, вопреки вашей высокой мусульманской образованности, можете столь глубоко и непростительно ошибаться в таком простом вопросе. Вынужден поправить вас. Прежде всего, знайте, что фаршированную скумбрию никогда и ни в коем случае не приготавливают из свежей рыбы. А затем, кто же ножом вспарывает рыбу?.. Это вам не тыква, а рыба!..

От столь удачного сравнения Басри-бей пришёл в восторг. В изнеможении он откинулся на спинку кресла и долго трясся от смеха, похожего на сухой кашель, потом, успокоившись, порылся в куче лежавших перед ним бумаг, нашёл линейку и снова обратился к собеседнику:

— Вот смотрите... Ваш смиренный слуга будет объяснять. Коль не сможете запомнить, извольте записать в свой блокнот. Итак, сообразованно представить себе, что сия линейка есть скумбрия. Вы берёте рыбу вот таким образом... Сначала отрезаете ей голову и хвост, затем кладёте на ладонь вот так и начинаете слегка гладить, мять, как слоёное тесто для пирожков... Не следует нажимать сильно, иначе раздавите рыбе живот. И когда вы смягчите таким образом...

Неожиданно Басри-бей прервал свои объяснения и уставился на дверь, ведущую в канцелярию. Крошечный кабинет, в котором с трудом

умещались конторка, шкаф для документов и две скамейки для посетителей, был отделён от канцелярии стеклянной перегородкой. Через приоткрытую дверь Басри-бей увидел, как в темноте коридора заблестели стёкла очков.

— Кто там? — сердито закричал он.

Чья-то нерешительная рука дважды постучала, и только потом на пороге появился худощавый человек лет двадцати пяти — тридцати, в поношенном сюртуке, синей сатиновой рубашке и жёлтых кожаных башмаках. Лицо его, слегка тронутое оспой, обрамляла жиденькая чёрная борода, голова была слегка наклонена вправо, на шее выделялся рубец от золотухи. Незнакомец торопливо застегнул пуговицу сюртука, поправил феску и, приложив в знак приветствия руку ко лбу и губам, застыл у двери.

Раздосадованный, что его застали за разговором, имеющим весьма далёкое отношение к делам просвещения, заведующий отделением всё так же сердито спросил:

— Ты кто? Чего ты хочешь?..

Молодой человек опять сделал приветственный жест и тихо произнёс:

— Ваш покорный раб — выпускник учительского института. Вчера при жеребьёвке я стал жертвой странного каприза судьбы: назначен туда, куда вовсе не желал попасть. Припадаю к стопам вашей милости и ищу вашего великодушия...

Басри-бей точно взбесился, он ударил кулаком по Столу и заорал во всю глотку:

— О, аллах! Неужели ты создал этих нечестивцев из учительского института только для того, чтобы свести меня с ума? Какой это по счёту? Со вчерашнего дня тут их перебивало, наверно, человек тридцать. От разговоров на языке мозоль уже натёр! Стамбула нет! Или немедленно едете по назначению, или же отставка! Понятно?..

Он воздел руки и устремил взор к грязному потолку с потрескавшейся штукатуркой.

— О господь, великий из великих!.. Почему ты не мог их сотворить на пяток-другой меньше, чтобы вложить в головы этих немногих хоть капельку разума, а в сердце — справедливость и милосердие!.. Каюсь, господи боже, прости меня, грешного!.. Эти люди кого хочешь превратят в богохульника. Каюсь, господи!.. Любого на грех толкнут...

Молчавший до сих пор директор гимназии вдруг начал смеяться. Он подвинулся, чтобы уступить вновь вошедшему место на скамейке.

— Нурудидем, брат мой! — На этот раз Басри-бей обратился к своему гостю. — Ну посуди сам. Государство долгие годы кормит и поит этих

бездельников, одевает и обувает, старается сделать из них настоящих людей... из ничего ведь сделать, словно всевышний, господин наш всемогущий и вездесущий, что Адама из праха сотворил... И, положив каждому жалование, в десять раз превышающее все его заслуги, определяет на службу, доверяя просвещение детей страны нашей... Увы, люди эти ещё пребывают в беспечном сне. И как же, сам не став человеком, человеком другого сделаешь ты?.. Э! Да ведь стихами получилось! Слышишь:

И как же, сам не став человеком,
Человеком другого сделаешь ты?..

Тати-та-туп, тати-та-туп, тати-та-туп, тати-туп! Не правда ли, хорошо?..

И Басри-бей опять пришёл в восторг от собственных слов, как совсем недавно он радовался удачному сравнению рыбы с тыквой. Это несколько охладило его гнев, он взял коробку из-под папирос, записал на оборотной стороне двести и продолжал:

— Так о чём я говорил, эфендим? Да... И вот этим неблагодарным предоставляют должности, которые выше всех их способностей. Но, увы, эфендим. Где там!.. Ни один из них не бывает доволен назначением. Все твердят: «Стамбул да Стамбул!..» Вам, конечно, известно, что такое осьминог: отруби ему одну щупальцу, он другими присосётся. Так и эти молодчики — точь-в-точь как осьминоги... Поди попробуй оторвать их от Стамбула... До того надоели нашему высокому министерству, что оно распорядилось устраивать жеребьёвку. Вчера как раз тянули жребий. В нынешнем году только пять выпускников оставлены в Стамбуле, остальные тридцать два человека распределены по вилайетам^[2]. Так со вчерашнего дня, эфендим, началось буквально нашествие. Все недовольны, все ищут милости и великодушия. А некоторые осмеливаются даже жаловаться. С ними, видите ли, поступили несправедливо!.. Нет, вы только подумайте, друг мой!.. Справедливость и несправедливость, оказывается, могут быть и при жеребьёвке!.. Как будто наше высокое министерство, чтобы повлиять на выбор, приделывает глаза к пальцам претендентов, когда те тянут свой жребий... Эдакое, право, глупейшее недомыслие!..

Молодой человек с бородкой всё ещё топтался в узком проходе между

дверью и кабинетом; от смущения посетитель вертел пуговицу или теребил полу сюртука, но когда Басри-бей после очередной выдумки — глазастых пальцев — залился смехом, перешедшим в продолжительный сухой кашель, он решил воспользоваться краткой передышкой в речи начальства и, чтобы предотвратить новый приступ крика, стал быстро-быстро рассказывать о своём горе.

— Будьте так благосклонны, выслушайте смиренную просьбу...

Однако Басри-бей движением руки оборвал его на полуслове.

— Сынок мой! — Теперь голос Басри-бея звучал доброжелательно, был полон снисхождения и сострадания к этому несчастному, бедно одетому выпускнику учительского института.— Дитя моё, свет очей моих, ведь мы для вас что отцы родные. Так послушайте моего совета: забудьте про Стамбул. Получайте немедленно путевые деньги и отправляйтесь к месту службы. Ведь такого места, как вам выпало, не сыскать. Какой там воздух! Какая вода, пейзаж, а природа — просто чудо; жители — истинные ангелы. Ну, уж если не сможете привыкнуть, напишите мне,— я тотчас что-нибудь придумаю, и тогда мы вас переведём в Стамбул, с повышением. Стамбул не убежит... Благодарение пророку он всегда под нашим флагом. А в местах, куда ты едешь,— дешевизна. Скопишь немного денег, себя в порядок приведёшь... Тут молодой человек не выдержал:

— Вы ведь не знаете, ни кто я, ни куда меня назначили, и в то же время изволите уверять, что место моего назначения прекрасно!

— А куда вы назначены?.. Разве, душа моя, не в это... как его?..— начал Басри-бей, запинаясь, но, поняв, что запутался окончательно, чистосердечно расхохотался, отчего лицо его стало почти, добродушным.

Обратившись к гостю, сидевшему напротив, Басри-бей изрёк:

— Вот она, жизнь... Поседели мы на службе, а всё никак не можем привыкнуть к этой самой, неизбежной в нашем деле лжи... Без вранья, брат мой, людьми невозможно управлять!.. Как девицу перед смотрами наряжают, так и мы вакантные места расписываем... Что поделаешь, свет очей моих, ежели они никого не прельщают. Со вчерашнего дня только и заняты тем, что, как попугаи, перед выпускниками места их будущей службы расхваливаем...

Басри-бей был явно смущён; несмотря на искренний смех, щёки его покраснели и налились, словно яблоки. Незнакомец осмелел. Улыбнувшись, он произнёс:

— Слова и предположения вашего превосходительства гораздо более достоверны, чем вы даже изволите полагать. Самая плохая должность в провинции, бей-эфенди, по моему скромному разумению, лучше самой

хорошей в Стамбуле.

Басри-бей удивлённо посмотрел на просителя:

— Так чего же вы тогда возражаете?

— Ваш покорный слуга и не думал возражать. Ведь вы мне не разрешили даже рта открыть...

— Помилуй, разве не ты, душа моя, говорил, что стал жертвой странного каприза судьбы?

Молодой человек уже не мог скрывать улыбку. Из-за стёкол очков насмешливо сверкали умные глаза; от кроткого и жалкого на вид просителя никак нельзя было ожидать столь весёлого и ясного взгляда.

— Ваш смиренный слуга назначен не в провинцию. Жребий определил его в одну из школ Стамбула. В этом и состоит моя жалоба...

Из рук удивлённого Басри-бея выпала линейка.

— Аллах великий и всемогущий! Вот до чего дожили!.. Сколько лет сижу на этом месте и впервые вижу человека, который жалуется, что его назначили в Стамбул. Ты, значит, по собственному желанию хотел ехать в провинцию, а тебе выпало оставаться в Стамбуле... Поистине трагическое событие!..

— Моя просьба очень скромная: я согласен ехать куда угодно, только бы за пределы Стамбула.

— Меня, приятель, очень заинтересовало твоё дело, ну-ка, открой нам сию тайну.

Молодой человек наклонил голову, уставился в окно и, глядя исподлобья, заговорил:

— Куда нам до Стамбула... Может быть, попав в провинцию, мы как-нибудь выйдемся в люди. Ох, есть у нас ещё такие деревни! Я Анатолию хорошо знаю. Там народ в такой жалкой одежке ходит, что нищего увидит и удивляется: «Никак, жених приехал!» или «Он, поди, наследство получил, а может, где-нибудь чего украл?..»

— Послушай, да ты просто мулла, братец мой! Какое сладостное красноречие! Не раз имел честь встречаться с вашим братом студентом, однако, что-то не припомню такого, кто бы мог фразу построить, не перепутав действительного залога со страдательным...

— Нет, нет, господин мой, среди них попадаются стоящие люди. А ваш покорный слуга в своё время и впрямь был проповедником...

— Да что ты говоришь?..

— До поступления в институт я имел счастье учиться в медресе^[3] и во время рамазана^[4] странствовал и проповедовал.

— А-а! — с удовлетворением воскликнул Басри-бей.—«Что ж, не зря странствовал... Рад с тобой познакомиться. Садись-ка сюда поближе, приятель, не желаешь ли табачку понюхать?.. Как говорится в стихах: «Негоже путникам одного каравана друг друга не знать...»

Но молодой человек вежливо отказался и от предложенного места и от табакерки, которую протянул ему Басри-бей.

— Будьте великодушны, бей-эфенди, выслушайте мою просьбу.

— Давай, мулла, проси. Уж ежели в твоих руках такое место, как Стамбул, с любым можешь меняться, тебе ещё руки целовать будут, а коли хочешь, получишь даже отступные в придачу.

— Один из моих товарищей назначен в Сарыова, только ехать туда не хочет и предлагает мне меняться с ним.

— Ну что ж, прекрасно, ходжа^[5]. Такое место трудно сыскать. Благословенный уезд — Сарыова. Колыбель учёных мужей, богословов-улемов...

— Мой товарищ то же самое говорит, что вы изволили сказать. Там на дюжину домов чуть ли не по мечети приходится, или месджид-часовне, или медресе... Городская управа по ночам фонарей не зажигает — так светло от лампад да светильников, словно в праздничную ночь...

— Неужто у нас такие места ещё остались? — сокрушённо вздохнул Басри-бей.— Ну хоть в таком городке нынешних щёголей не найдёшь.

— И мой товарищ так же говорит. Малых деток, учеников начальной школы, чалму заставляют носить. Вот товарищ и жалуется: «Как мне жить там?»

— А что ему до детской чалмы? Ты только подумай, экую глупость несёт этот бездельник! Во всяком случае, там тебе покойно будет. Знаешь, я на твоём месте бы снова чалму надел. Ну ладно, мулла, приходи завтра со своим товарищем, это дело мы быстро закончим, велю изготовить приказ.

— Дай бог вам долгой жизни.

— А как зовут тебя, мулла?

— Али Шахин.

— Что ж, хорошо, ходжа. Будь счастлив...

Шахин-эфенди отвесил низкий поклон и вышел. Спускаясь по лестнице, он улыбался счастливой улыбкой. В дверях он столкнулся с одним из своих учителей.

— Ну как дела, Шахин-эфенди?

— Еду с вашего благословения туда, куда и не смел мечтать,— радостно ответил бывший софта.— В Сарыова, что около Измира. Настоящая обитель софт! Там улицы озарены священным пламенем

светильников, там детские головки украшены зелёной чалмой!.. В Сарыова назначили Хасана Джемалю, но он не соглашается, и весьма кстати... Хасан — пламенный революционер. У него не такой характер, чтобы бороться с софтами... Софт может одолеть только софта!.. О, если мне улыбнется счастье, уж я обязательно заставлю раскошелиться городскую управу в Сарыова... И в самом ближайшем будущем...

— Каким образом?

Шахин-эфенди наклонился к учителю, точно собирался сказать ему что-то по секрету:

— Я заставлю погасить светильники... Не будут гореть священные лампы у гробниц. А городской управе придётся зажечь уличные фонари. Ну и народу станет легче: от больших расходов избавится...

Учитель удивлённо глядел на своего бывшего ученика.

— Да, да, от расходов на зелёную материю, что идёт на чалму восьмилетним соплякам.

Глава вторая

Шахин-эфенди проснулся рано. Последний день в Стамбуле. Уже прошла неделя, как он получил приказ о назначении, а три дня назад — деньги на путевые расходы.

Он облачился в новую, накрахмаленную сорочку и чёрный саржевый костюм, купленный на базаре Махмуд-паша. Потом кликнул носильщика-хамала и, погрузив на него свой багаж — перемётную суму-хейбе да небольшой зелёный сундучок, что остались у него от той поры, когда он был ещё муллой, направился к Галатской пристани.

— К чему такая спешка, эфенди? — удивился каютный слуга.— Пароход отчалит не скоро, после вечернего эзана^[6]. Ещё уйма времени...

— Знаю, знаю, дружище. Но у меня много важных дел в городе... Ты уж присмотри за вещами. Бакшиш тебе обеспечен...

В такой день Шахин-эфенди не мог скупиться на расходы — ведь это был, наверно, самый значительный день в его жизни,— и он тратил деньги с щедростью гуляки, с безрассудством богатого наследника. Чуть было даже не взял билет в каюту, но в последнюю минуту одумался: «Нет, каюта не для меня. Так, пожалуй, к мотовству и роскоши привыкнешь...»

Он сошёл на берег, посмотрел на пароход и с гордостью произнёс:

— Где человек упадёт, там и поднимется. Разве мог я двенадцать лет назад, очутившись на этой же пристани, предполагать, что наступит столь счастливое время?..

И хотя для Шахина-эфенди этот день был самым радостным днём, сердце его сжалось от воспоминаний.

Он точно не помнил, здесь ли спустился тогда с парохода... Может, и здесь...

Маленький, жалкий мальчонка в рваном зелёном джуббе^[7] приехал в Стамбул в сопровождении своего дальнего родственника. Отец Шахина давно умер, в родном местечке кроме нищей старухи матери никого не было. Там он учился в медресе, там ему приходилось пасти овец, когда он занимался на несколько месяцев в пастухи, чтобы прокормить мать. Но случилось так, что учителя заметили способного мальчика и решили помочь ему, не дать погибнуть таланту. Они обещали присматривать за старой женщиной, пока Шахин не выучится и не сможет сам зарабатывать на жизнь. Правда, и Шахин мог уже помогать матери, он посылал ей несколько монет, которые собирал в месяцы рамазана, странствуя по деревням с сумой. Благоедеяния господни велики. Всевышний даже слепому волку не отказывает в пропитании...

Шахин с детства верил, что людям в жизни должно везти. И вот, уповая на милости аллаха да на доброту своих учителей, он взвалил хейбе на спину и пустился в дальний путь пытаться счастья в чужих краях.

До сих пор он помнил, как труден был этот путь, сколько пришлось перенести в дороге, в каком жалком виде добрался он до пристани Стамбула... Три дня вместе с попутчиком брели они по просёлочным дорогам, сгибаясь под тяжестью своих хейбе, потом три ночи валялись в трюме парохода, гружённого овцами.

Еле живой от усталости, бессонницы и голода, очутился Шахин на суше. И сразу же со всех сторон на него обрушился многоголосый грохот незнакомого города. Помутившимся взором смотрел бедняга вокруг себя. Всё представлялось, словно во сне, каким-то страшным кошмаром, от которого можно сойти с ума: и толпа, бурлившая на набережной, оравшая на всех языках, как будто наступил конец света и день Страшного суда, и бесчисленные коробки домов, и купола мечетей Стамбула и Галаты,— они громоздились друг на друга, карабкались по склонам городских холмов и даже, казалось, висели в воздухе... Он всё-всё помнил... И этот хаос царил не только в мире, окружавшем его, но и в душе и в мыслях его, путавшихся от мрачных предчувствий, неясных страхов...

Прежде и теперь!.. Никогда ещё Шахин не испытывал такой гордости,

такого наслаждения от сознания разницы между своим прежним и теперешним положением...

Но различие состояло не только в том, что вместо жалкого, голодного софты на пристани теперь стоял человек самостоятельный, окончивший институт, уважаемый, почтенный господин учитель, которому установлено казённое жалованье. Отныне он избавлен от пустых страхов и суеверия...

В мыслях его царила полная ясность, вот такая же, как это светлое сентябрьское утро. Всё было четким, устойчивым, всё имело определенные границы. Отныне он твёрдо знал, к чему надо стремиться, о чём мечтать, он знал своё назначение в этом мире...

Уже, кажется, было забыто, чего ему стоили и эта ясность мыслей, и это душевное спокойствие,— скольких лишений, трудов и слёз. И, шагая по улице, уверенно пробираясь сквозь толпу, он улыбался счастливой улыбкой.

Знакомые, завидев Шахина-эфенди в столь необычном для него костюме да ещё в таком прекрасном настроении, спешили преградить ему путь и, зная его как человека, любящего пофилософствовать и пошутить, приставали к нему с вопросами:

— Шахин-эфенди, что это за великолепии? Уж не собираешься ли ты жениться?..

— Ходжа, поведение твоё мне что-то не нравится сегодня. Никак, с раннего утра на любовное свидание собрался?..

— Мулла, стоило тебе костюм сменить, ты уж загордился, старых друзей не замечаешь! Куда это годится?..

И каждому Шахин-эфенди отвечал приветливо и любезно:

— Что ж, если аллаху будет угодно, и такое время придёт.

— Что поделаешь? По утрам красоты, говорят, берут вполтину меньше...

— Не взыщи, другим человеком стали...— И, отделавшись шуткой, Шахин-эфенди сразу становился серьёзным, крепко жал приятелю руку и на прощание желал каждому счастья.

В квартале Нуру Османие он встретил своего однокашника Зейнеля-ходжу, четыре года они учились вместе в одном медресе.

Зейнель-ходжа, родом с Черноморского побережья, был истым фанатиком-софтой. Во время событий тридцать первого марта^[8] он едва не пал жертвой во славу шариата. К счастью для него, ему удалось вовремя удрать из Стамбула и тем самым спастись от виселицы.

Зейнель-ходжа не мог простить Шахину-эфенди, что тот снял чалму. И теперь, встретив Шахина, он оскалил свои острые, словно клыки хищника, зубы и сказал, ехидно посмеиваясь:

— Ну что ж, всё в порядке, ходжа, не хватает только шляпы.

— И это, бог даст, будет,— ответил Шахин тоном ироническим и в то же время шутливым.— Из Анатолии я пришёл в чалме, теперь возвращаюсь в феске, когда-нибудь, возможно, вернусь ещё в Стамбул и в шляпе, только ты этого не увидишь...

— Это почему же?

— А к тому времени тебя, наверно, всё-таки повесят. Вот почему!..

— Неизвестно ещё кого... Поживем — увидим.

— Увидим, увидим, ходжа. А теперь препоручаю тебя всевышнему!

— Давай, катись подальше!..

Важные дела, о которых Шахин-эфенди упомянул в разговоре с каютным слугой, были всего-навсего желанием навестить в последний раз друзей, увидеть ещё раз места, где он жил в Стамбуле. Ведь он уезжал далеко и не рассчитывал в скором времени вернуться в этот город.

Прежде всего Шахин отправился в медресе Сомунджу-оглу^[9]. Из учеников-софт, которых он знал пять лет назад, там уже почти никого не осталось. А вот здание медресе ничуть не изменилось, всё было таким же, как в тот день, когда он приехал из Анатолии. И тот же двор, выложенный стёртыми, потрескавшимися плитами, в расщелинах которых буйно растёт трава; и посреди двора заросший мхом бассейн с фонтаном, с краёв его капает вода, и поэтому плиты всегда влажные; и те же голубиные гнёзда под сводами, почерневшими от дыма костров, на которых софты каждое утро приготавливают себе еду; и тот же мрак всюду, и те же тёмные, сырые каменные кельи по четырём сторонам двора...

У какого-то косоглазого софты, совершавшего омовение у фонтана, Шахин-эфенди спросил о старых знакомых. Тот ответил, что некоторые перешли в другие медресе, а некоторые ещё бог весть куда...

Шахин-эфенди сел на деревянную скамью около бассейна и принялся с любопытством разглядывать всё вокруг...

Голуби, испуганно взметнувшиеся в воздух, покружились, сели и теперь медленно приближались к его ногам. Он вытряс из кармана хлебные крошки, растёр их между пальцами и стал бросать на землю. Но глаза бывшего софты были прикованы к чуть приоткрытой двери одной из келий в тёмном коридоре нижнего этажа.

Шесть лет прожил он в этой келье. Шесть лет испытаний и душевных мук... Родственник, стамбульский софта, с которым он приехал из Анатолии, ввёл его сюда и, слегка подтолкнув к двери каморки, сказал:

— С правой ноги шагай, сынок, здесь ты встанешь на правый путь и тебя озарит свет истины!..

Теперь, много лет спустя, Шахин-эфенди вдруг вспомнил эти слова и горько усмехнулся. Да, свет истины действительно озарил его, и он нашёл путь к ней именно здесь, в этой келье. Но ценой скольких мучений, страданий и слёз!..

Сердце Шахина наполнилось печальной гордостью,— словно старый полководец, обходил он поля бывших сражений и вспоминал, чего стоили ему победы... Он сидел в глубоком раздумье, одной рукой подперев подбородок, другую опустив в тепловатую воду бассейна...

Шахин был человеком неудачливым, в жизни его не произошло никаких особых событий, о которых стоило бы рассказывать. Но вместе с тем какой напряженной духовной жизнью он жил, какой огонь сжигал его душу, огонь самой мучительной из революций — революции в убеждениях, в вере. Трагедия длилась долгие годы, а сценой, на которой играли эту трагедию, служила маленькая келья,— он всё смотрел на приоткрытую дверь, видневшуюся в глубине полутёмной галереи...

Какие миры рушились под этими мрачными каменными сводами! И какие вселенные рождались вновь!..

Шахин-эфенди рос обыкновенным деревенским мальчиком, как все играл в уличной пыли, под лучами палящего солнца. Крепкий телом, с ясной головой. Будь он предоставлен самому себе, из него бы вышел крестьянин — землепашец или пастух, довольный своей жизнью, один из тех людей из народа, которые поражают твёрдыми и здравыми суждениями о самых сложных вопросах, которые умеют принимать мудрые и простые решения во время самых великих событий, ставящих зачастую в тупик учёных мужей и государственных деятелей.

Но отец Шахина, принадлежавший к духовному сословию, хотел воспитать сына достойным преемником, сделать его добровольцем великой армии зелёного знамени^[10], тень которого в один прекрасный день должна покрыть весь мир. Не считая нужным дать ребёнку возможность окончить начальную школу, он надел на голову сына зелёную чалму и определил его в местное медресе.

Несчастные малыши, посланные учиться в медресе! Им повязали голову чалмой, их разлучили с товарищами, такими же босоногими мальчишками, с которыми они всегда играли вместе на улице, подставляя голову палящему солнцу.

Их отдали в медресе, и с того дня они словно перешли в стан неприятеля: между учениками медресе, чалмоносцами, и их сверстниками, простыми смертными, не отмеченными божественной близостью, легла пропасть отчуждения. Эта отчужденность всё росла и делила бывших

друзей на два враждебных лагеря. И не было больше мира, согласия и любви между детьми одной страны. Даже нашествие чужеземного врага, перед лицом которого обычно забывают всё: обиды, ссоры, семейные распри,— даже такое событие не могло уже объединить эти два лагеря...

Но Шахин был не таким, как другие. Долгое время он никак не мог привыкнуть к медресе, не мог и не хотел расставаться со своими товарищами. Шахин пользовался любым предлогом, любым случаем, чтобы содрать с головы чалму, намотать её на руку, точно при переломе, и отправиться вместе с друзьями в поле ловить птиц или на речку за рыбой.

Ни побои учителей, ни даже слёзные мольбы старого отца,— средство куда более сильное, чем побои,— ничто не могло удержать Шахина, если ему вдруг хотелось бежать за ветром, который дует неведомо куда... Казалось, пройдёт ещё немного времени, Шахин подрастёт и нельзя уже будет удержать его в медресе. Повесив свою чалму на какой-нибудь куст, он уйдёт в горы, уйдёт, чтобы пасти овец, или...

Но судьба его сложилась иначе...

Среди учителей медресе был некий Хаджи^[11] Феттах-эфенди — странный и какой-то удивительный старик. Он когда-то учился в Египте^[12], затем долгие годы преподавал в Стамбуле в медресе при мечети Фатих^[13] и, наконец, из-за нелепого упрямства вернулся на родину, чтобы умереть там, где родился, хотя преспокойно мог бы жить в столице — у него были деньги и даже недвижимое имущество. Земляки уважали его за учёность и добродетели и, желая извлечь какую-нибудь пользу из былой славы Феттаха-эфенди, сделали его мюдеррисом — преподавателем и наставником в городском медресе. Правда, польза была сомнительной: старик выжил из ума, впал в детство и ничему серьёзному научить уже не мог. Его проповеди больше походили на сновидения, поток слов, без начала и конца, слов бессвязных, лишённых логики... Но эти сны наяву, эти сказки о всяких чудесах и легенды из жизни пророков, из истории ислама обладали поразительной силой воздействия.

Внимая рассказам своего учителя, маленькие слушатели вместе с ним видели эти страшные сны и начинали верить в них. Среди учеников оказался и юный Шахин. Вот что помешало ему уйти в горы, вот почему он очутился на дне пропасти, оглушённый и одурманенный страшными волшебными снами, наваянными словами мюдерриса Феттаха-эфенди...

Шагает высокая женщина, мокрое от слёз лицо, непокрытая голова, чёрная накидка ниспадает до пят — это Фатьма^[14]. Вот она подходит к безжизненному телу Хюсейна^[15], умирающего от жажды... берёт сына на

руки. Она несёт его... она бредёт по степи... шагает по небу... идёт под землей... Она несёт сына на руках, она блуждает по свету... Появляется ангел, яркий огонь его факела указывает путь... Фатма подходит к колодцу. Здесь её ждет другая женщина — мать имама Исмаила^[16] — Хаджер. Как некогда поила Хаджер из своих ладоней Исмаила, так и теперь льёт она воду на губы Хюсейна... И безжизненное тело начинает оживать...

Сколько раз, очнувшись от такого сна, Шахин видел вокруг себя темноту,— он был наедине с учителем.

Феттах-эфенди — вот кто заставил Шахина остаться в медресе, где ему было так не по душе, во всём был виноват странный человек, который умел показывать свои сны другим.

И хотя мальчик по-прежнему бегал к своим товарищам, гулял с ними в поле, он уже смутно чувствовал, что смотрит на мир иначе, чем эти дети. Для них солнце, скрывшись за горой, уходило и не существовало до следующего дня. А для Шахина всё было иначе. Подобно тому, как он сопровождал Фатму, когда она с мёртвым сыном на руках брела в поисках колодца Хаджер, он мог вместе с солнцем продолжать путь, который лежал за гребнем горы. И Шахин шагал за солнцем через горы и моря, туда, где всё кончается в этом мире и где находятся врата в мир иной... Потусторонний мир...

Ну, а что же там? Всё то, что мы любили и потеряли на этом свете, всё, чего мы желали и не могли достигнуть,— всё находится там...

В ту ночь, когда умирал старый Хаджи Феттах, Шахин находился у его постели вместе с другими учениками. Под утро всех сморил сон, и Шахин, воспользовавшись тем, что никто его не видит, несколько раз откидывал покрывало и смотрел в лицо умирающему. Восковое личико, повязанное платком, стало совсем крохотным, и только маленькие глазки ещё глядят сквозь складки тяжёлых век. Хаджи Феттах забылся самым долгим, самым бесконечным из своих снов, а глаза его ещё видят этот мир, но что стоит наш мир по сравнению с тем, который он увидит завтра, когда могильная тьма сомкнётся над ним?..

Постепенно у Шахина ослабевал интерес ко всему, что творилось на этом свете, где всё тленно, как прах, и всё мимолётно, как время. Теперь не только во время молитв он думал о загробном мире, но даже когда работал или играл с товарищами...

Ну, а что же всё-таки там, в потустороннем мире? Сколько Шахин ни спрашивал, к кому ни обращался, он не мог узнать больше, чем знал. Это любопытство, которое раньше приносило ему радость и надежду, теперь рождало только непонятный страх. Сердце мальчика сжималось от

мрачных предчувствий. Болезнь любознательности обострилась настолько, что Шахин вынужден был расстаться с овцами, которых начал пасти после смерти отца, и отправиться с сумой за плечами в Стамбул. Там он надеялся найти ответы на все мучившие его вопросы...

— О господи! Вот ведь до чего может человек уверовать! — воскликнул Шахин-эфенди.

Он вскочил, словно хотел стряхнуть с себя тяжесть навалившихся на него воспоминаний. Ему нужно было услышать свой голос, новый, сегодняшней, а не голос прошедших лет, и, будто обращаясь к невидимому собеседнику, он произнёс:

— Да, случись в то время события тридцать первого марта, не миновать мне виселицы! Впрочем, если человек верил, что в ту минуту, когда закроются его глаза, он начнёт жить в ином мире, какое значение могла иметь смерть?..

А косоглазый софта, что совершал омовение у фонтана, смотрел, как Шахин-эфенди тербил реденькую бородку и, улыбаясь, разговаривал сам с собой. И софта улыбался в ответ, думая, наверно, что перед ним один из тех блаженных, которых он привык встречать повсюду...

Первые дни Шахин жил в Стамбуле, ничего не видя, ничего не замечая...

Недалеко от медресе проходила шумная торговая улица. К вечеру улицу заполняли толпы народа; в сутолоке фаэтонов, колясок, карет прогуливались странно одетые женщины, а вокруг, беззастенчиво толкая друг друга, кружили мужчины — военные и штатские, бородатые и усаые... На город опускалась ночь, и улицу заливал поток огней. Возле украшенных флагами и афишами театральных подъездов играла музыка, и звуки её через закрытую дверь проникали в келью юного ученика. Однако глаза Шахина не видели соблазнов этого суетного мира; дни и ночи он проводил в своей каменной норе, словно узник. И фантазия юноши наполняла тёмную келью таким ослепительным светом, что рядом с ним меркли даже яркие светильники самых больших мечетей Стамбула, и сияние их казалось всего лишь тусклым мерцанием.

Шахин занимался с необыкновенным рвением; не довольствуясь уроками своих преподавателей, он посещал также и лекции, которые читали самые знаменитые стамбульские мюдеррисы. Он рабски верил и учителям и книгам, а когда чего-нибудь не понимал, то винил только себя. Всё неясное, смутное казалось ему величественным и глубоким. Но разочарование не заставило себя долго ждать, — пламя может гореть, если только рядом пылают другие огни. Маленький софта очень скоро увидел,

как велика разница между ним и его товарищами. По своей Натуре, воспитанию, по отношению к занятиям Шахин очень отличался от остальных учеников.

Именно его товарищи стали невольными виновниками первого разочарования, испытанного юношей в Стамбуле. Совсем другими он представлял добровольцев великой армии зелёного знамени, тень которого, как твердил его отец, должна покрыть в один прекрасный день весь мир. Между тем большинство софтов были детьми деревенских бедняков, их отдали в медресе, как отдают в подмастерья к ремесленнику, чтобы обучить доходному ремеслу. И вместо того чтобы работать в поле, пахать землю, они собрались здесь зубрить арабскую грамматику и постигать правила свершения обрядов. Вместо того чтобы пасти овец в горах, они готовились вести за собою людское стадо. Грубые первобытные существа, они ничем не отличались от невежественных и суеверных пастухов.

Понятия их о вселенной были удивительно несложны. Над сушей, над морем устроен потолок в виде купола... К потолку прибиты гвоздями звезды... Внизу толпятся люди, у каждого человека за плечами два незримых сыщика-ангела, справа и слева. Ангелы непрерывно записывают всё, о чем бы человек ни подумал, что бы ни сделал, чего бы ни сказал... А на вершине свода-купола расположился грозный, мстительный бог. По донесениям тайных агентов он награждает или карает рабов своих, как ему вздумается. Он может послать на поля град, на города каменный дождь только за то, что женщина осмелилась на улице открыть свое лицо... Для сожжения грешников у него такая печь, что стоит открыть заслонку хоть на миг, как весь мир будет спалён дотла... Рай у него словно стамбульские базары,— всё, что душа пожелает: хочешь — пей, хочешь — ешь, и платить не надо. Возлюбленные рабы аллаха сидят там все рядышком, днём и ночью читают молитвы, славят бога, гимны поют. Когда же делают перерывы в молениях, то вкушают божественные дары, всевозможные райские яства, развлекаются с прекрасными девами-гуриями или гильманами-мальчиками. А потом опять бесконечные молитвы, опять религиозные гимны...

Шахин удивлялся и жалел своих товарищей, он не понимал, как могут эти люди, пусть самые обыкновенные, самые тёмные, жить столь упрощённой мечтой о загробном мире и не интересоваться другой жизнью и другим будущим...

Это произошло на второй или третий месяц после прибытия Шахина в Стамбул.

Кажется, по случаю свадьбы какого-то шахзаде^[17] вечером во дворе

медресе для учащихся было устроено угощение зерде-пилавом — жирным пловом, приготовленным с шафраном. Предоставленные самим себе, ученики после угощения решили развлечься.

Софта по имени Недим-ходжа, который теперь, кажется, кормится тем, что лжесвидетельствует в духовном суде, вместе с другими учениками придумали спектакль, нечто вроде орта оюну^[18].

Недим-ходжа сделал из своего халата женское фередже^[19], из чалмы — яшмак^[20] и переоделся женщиной, другой софта исполнял роль мужа. Юноша в женской одежде ужимками, кокетливыми движениями старался раздражить мужчину, а потом убегал от него. «Муж» преследовал «жену», то умоляя, то грозя. Эта сцена была разыграна в таких выражениях, актеры отпускали такие словечки, так непристойно кривлялись, что Шахин-ходжа чувствовал, как волосы у него вставали дыбом.

И до сих пор ещё Шахин-ходжа, как в страшном кошмаре, видит лица зрителей, озарённые светом двух громадных фонарей, висящих под аркой. До сих пор он не может забыть, с каким похотливым вожделением, с каким животным любопытством следили собравшиеся за представлением.

Словно море бритых голов затопило двор медресе. На сцену жадно глядели отовсюду глаза — со всех сторон, из всех углов, со всех балконов. Лица самые различные: землистые и измученные, исступлённые и высохшие от голода; красные, налившиеся кровью морды, лоснящиеся от беззаботного сна, от жратвы и питья,— настоящие быки в стойле; узкие и низкие лбы, скошенные, словно убегающие назад или выдающиеся вперёд; носы кривые, согнутые крючком, с вздувшимися от табака ноздрями; и только бороды у всех одинаково круглые, подбритые по краям. И рты тоже у всех одинаково раскрыты, будто люди задыхаются от наслаждения; и глаза блестят, но не от ума, а тупым похотливым блеском...

«Мужа» играл здоровенный детина. Подобно разъярённому быку он кидался на «женщину» и орал во всю глотку: «Госпожа, я взял тебя не даром! Твоему отцу я выложил чистоганом несколько золотых, горящих, как петушиный глаз. О, возлюбленная, не лишай меня сладости свидания!»

И в ответ на эти слова почерневшие своды медресе сотрясались от гула страшных голосов, напоминавших скорее крики восставшей толпы, чем смех людей, собравшихся для веселья.

Именно это зрелище нанесло Шахину первую рану разочарования. Так вот они - будущие ученые-богословы, которым предстоит в медресе узнать тайны, скрытые за небесным сводом! Неужели перед ним доблестные добровольцы, которые собираются под сенью зелёного знамени

завоевывать четыре страны света?..

Тени прошлого обступили молодого учителя. Они кружились вокруг - призраки, вынырнувшие из той памятной ночи. И Шахин узнавал их в лицо.

Вот Хафыз^[21] Ремзи. Тот самый Ремзи, который мог заставить любого человека забыть обо всём на свете, едва он начинал читать Коран. От его жалостного голоса трепетало сердце, на глазах выступали слёзы, и правоверные слушатели чувствовали себя на седьмом небе. Но когда тот же самый Хафыз Ремзи, чьи уста так сладостно произносили священные слова, начинал богохульствовать и изрыгать страшные ругательства, людям становилось стыдно за себя, что они родились в образе человеческого.

В месяц поста Ремзи не странствовал по деревням, он читал Коран в больших мечетях Стамбула. Лицо хафыза было столь же прекрасно, как и голос. Многие женщины закрывали свои лавки на базаре Шахзадебаши и бежали в мечеть, чтобы посмотреть на Ремзи и услышать его голос. Даже набожные старухи и те восхищались «небесной» красотой звонкоголосого хафыза.

Но Хафыз Ремзи был очень гордым, не всякую женщину он баловал своим вниманием. Неопытным девушкам и молодым женщинам он предпочитал пожилых вдовушек. Еду, питьё, одежду, деньги на расходы он получал из окрестных особняков. Хафыз был вхож во многие дома, куда его приглашали по делам духовного суда или же для чтения «Жития пророка Мухаммеда». Софты поговаривали, что невозможно подсчитать количество женщин, посетивших его келью. В конце концов, он женился на пожилой, но богатой вдове паши^[22].

В ночь, когда драгоценный паша был предан земле, ханым-эфенди^[23] пригласила во дворец несколько хафызом, среди них оказался и Хафыз Ремзи. Он не ограничился тем, что своим прекрасным голосом сопровождал дух паши в рай, но сумел также похитить сердце ханым-эфенди в этом бренном мире...

А вот Зейнель-ходжа. Это он отколотил палкой Хафыза Ремзи за то, что тот соблазнял женщин, которые повадились торчать у ворот медресе, это он заставил красавца хафыза орать своим прекрасным, хватающим за душу голосом: «Пощади аллах!»

Зейнель-ходжа, высоченного роста, прямой, как палка, грубый и тупоголовый детина, наверно, был самым неуживчивым, упрямым и фанатичным софтой во всём медресе. У него заостренное угловатое лицо, острые зубы и сбитый на сторону крючковатый нос. Его отец и три брата,

черноморские моряки, утонули в бурю из-за своего упрямства. Во время самого сильного шторма, когда рыбаки вытаскивали лодки на берег, а большие почтовые пароходы спешили укрыться в гавани, этим людям ничего не стоило сказать: «Разве это непогода!» — и выйти в море. Вот так однажды, когда бушевали волны, они отправились в открытое море и не вернулись. Дяди Зейнеля, учитывая особенности семейного характера, вмешались в судьбу сироты. Они не позволили племяннику сделаться лодочником и послали его учиться в медресе. И вместо того чтобы стать жертвой моря, Зейнель стал жертвой шариата.

Однажды Шахин-эфенди сказал ему:

— Слушай, ходжа, твои дядя не так уж умно поступили, отдав тебя в медресе. Божественное предопределение не изменишь никакой хитростью. Как видно, на роду вам всем написана смерть от удушения. Твой отец и братья захлебнулись в воде, а ты, я боюсь, умрёшь, задохнувшись в петле. Вот и вся разница...

В фанатизме Зейнеля-ходжи было что-то изуверское. Он искренне верил, что существует страшный ад, в котором «каких только орудий пыток не имеется», и всегда об этом рассказывал. Все слуги того света только тем и заняты, что выкалывают своим жертвам глаза раскалёнными иглами, сдирают с них кожу, льют в рот кипящую смолу, вырывают языки. И в то же время его представление о рае было каким-то удивительно примитивным. И вообще многим ли обитателям этого грешного мира суждено попасть в рай? Поэтому зачем всемогущему владыке нашему трудиться над устройством рая и затруднять себя долгими приготовлениями к встрече?..

Зейнель обычно говорил:

— Если бы всевышний оказал мне честь, обратившись с такими словами: «Эй, раб мой! Проси от меня чего хочешь!» — я бы ему ответил: «О, владыка мести и славы! Что мне делать в садах рая? Разреши мне, о, великий, хоть уголком глаза глянуть, как горят в аду грешники!...»

По мнению Зейнеля-ходжи, люди должны быть ответственны не только за все мысли свои и поступки, но даже за сны, которые они видят. И твари, имя которой человек, и в этом мире и в том, лишь один удел — плеть и огонь!.. Особенно для женщин!..

У Зейнзля давно вошло в привычку: стоило ему на улице встретить разряженную женщину, как он старался её толкнуть, оскорбить, обругать.

Мать его умерла от страшных побоев. Зейнель-ходжа отца не винил:

— А кто их знает, женщины такой народ, известно — короткий подол. Провинилась, вот отец и проучил. Умерла — значит, пришёл её час. Что

поделаешь?..

Он частенько говорил, что, будь его воля, он бы велел в свод законов вставить такую статью: «Женщина не имеет права предъявлять мужчине иск за телесные повреждения».

Когда в месяцы поста Зейнель-ходжа отправлялся за подаянием и заходил в какую-нибудь деревню, то первым делом начинал расписывать адские муки с такой страстью, что бородатые мужчины содрогались от ужаса, а дети плакали.

У Зейнеля-ходжи было очень своеобразное представление о долге истинного мусульманина: если он видел что-либо противоречащее шариату, то спешил, не доверяя богу, покарать виновного собственными руками на месте преступления.

Всё, что не совпадало с личным мнением Зейнеля-ходжи, шло, конечно, вразрез и с шариатом. А так как очень многие мысли и дела людские не нравились ходже, то придирался он к каждому встречному. На базаре он бросался с кулаками на торговца, запросившего лишку, и орал:

— Совесть — добрая половина веры! Ты поступаешь бессовестно, значит, ты стал уже наполовину неверным!

А однажды Шахин-эфенди видел, как Зейнель-ходжа бил какого-то бедняка, совсем мальчика, только за то, что несчастный поднял помидор, валявшийся на улице перед воротами медресе.

— Тебе что, подарили его? — кричал ходжа. — Зачем берёшь! К чужому добру уже научился руку тянуть!..

Сердце Шахина разрывалось от жалости. Спасибо Меджиду-мулле, подоспел вовремя и спас ребёнка от софты.

Надо сказать, что этот Меджид-мулла был единственным человеком, которого Зейнель-ходжа побаивался, больше он никого не признавал ни в медресе Сомунджуоглу, ни в других медресе.

Меджид был сыном дворцового имама^[24]. Поговаривали, что молодой мулла посылал через своего отца доносы самому Абдулу Хамиду^[25], а кое-кто утверждал даже, что именно по его доносу в Халеп был сослан один мюдеррис; бедняга пострадал за какое-то словцо, сказанное против его величества во время урока.

Этот Меджид-мулла был птицей другого полёта. На вид — скромный такой, добродушный, воспитанный — словом, настоящий стамбульский парень. Его любезность, внешнее благородство однажды обманули Шахина-эфенди так же, как пламенная набожность Зейнеля-ходжи...

Напрасно Шахин пытался прогнать воспоминания. Страшные видения

теснились кругом, путаясь, как в тяжком кошмаре...

Скорбное сонмище теней прошлого,— их имена и лица давно уже забыты. Вот они — болезненные, измученные голодом и нищетой дети, тупые создания, будущие фанатики и юродивые. Они пришли сюда из далёких анатолийских деревень с котомкой из грубой кожи за плечами, в рваной зелёной чалме на голове. Как они похожи на стаи голодных волков, что бродят в снежную вьюгу около городов в поисках пищи,— настоящие первобытные существа,— ничего, кроме животных инстинктов, жадности, желания выжить, выжить во что бы то ни стало... И здесь, в пустых кельях этого двора, где камни от сырости покрываются плесенью, они влачили жалкие дни... И каждый день похож на предыдущий...

Кто-то, щуря глаза от едкого дыма, раздувает огонь под кипящим котелком с сушёной фасолью; кто-то, усевшись на каменных ступенях, латает своё тряпье; а около фонтана кто-то стирает бельё. Немного поодаль, у подножья колонн, сидят на корточках старательные софты и зубрят, уткнувшись в потрёпанные книги с пожелтевшими страницами.

Тут происходит диспут на религиозную тему, а там уже шутят, или ругаются, или даже дерутся, как простые пастухи...

Откуда-то сверху, из окна, кажется, донесся тихий звук, очень похожий на кашель. Молодой учитель вздрогнул и поднял голову. Некогда там жил больной чемез^[26], уроженец Испарты. Непосильные занятия, жизнь впроголодь — и юноша заболел чахоткой, но, несмотря на это, софта продолжал заниматься, лёжа на старой кровати, трясясь и захлёбываясь от кашля. Никто, кроме Шахина-ходжи, не навещал его. Только Шахин и помогал несчастному, хотя самому в то время приходилось очень туго. Однажды — это было дня за три до смерти чемеза — Шахин спросил больного, не хочет ли он чего-нибудь. Тот умоляюще посмотрел на Шахина блестящими от жара глазами, которые казались особенно большими на бескровном, осунувшемся лице, и прошептал:

— Сладенького...

Словно на грех, у Шахина-ходжи не оказалось ни гроша, хотя иногда у него и водились деньги: на последние двадцать пара^[27] он купил чёрствый бублик и поужинал им всухомятку.

В день похорон, когда выносили из медресе тело софты, Шахин не смог удержаться и заплакал.

— Ну, чего плачешь? — спросил его один из товарищей, Халиль-ходжа, тихий, очень наивный и глуповатый парень из Боябада.— Пришёл приказ свыше. Все там будем, рано или поздно... И ты, и я... О господи,

ниспошли успокоение рабу твоему!

Не смерть оплакиваю,— ответил Шахин.— Понимаешь, бедняга до последнего вздоха всё сладкого просил. А я не мог купить, вот что мучает меня.

Халиль-ходжа выслушал Шахина, помолчал, потом с мудрым видом дал совет:

— Ты не его, а меня да себя жалеешь. Ему-то что, он теперь к источнику всех сладостей направился. Уж в раю, наверно, этого хватает.

В райском саду три ручья журчат;
В одном — масло, в другом — сливки, в третьем мёд течёт.
Из башни своей Мухаммед на мир глядит,—

прочёл он священный стих...,

Шахин-эфенди вспомнил ещё один случай. Шли последние недели: больному чемезу становилось всё хуже и хуже, припадки участились. Несчастный вдруг начинал задыхаться, глаза лезли из орбит, руки судорожно рвали ворот рубахи, и он хрипел:

— Спасите, умираю!

Однажды, во время такого приступа, бедняга вцепился в горло одного софты из Амасии и стал кричать:

— Умираю!

Пытаясь вырваться из столь неожиданных объятий, софты, такой же равнодушный, как и Халиль-ходжа, принялся уговаривать больного:

— Что поделаешь... Смерть — воля господня... Да отпусти ты мой ворот... Ладно, что горло сдавил, рубашку порвёшь...

Воспоминание об этом эпизоде взволновало и рассмешило Шахина...

Когда наступали каникулы в медресе, все учащиеся, взвалив на плечи свои котомки, отправлялись на три месяца по деревням за подаянием. Шахин с нетерпением ожидал этих дней. Голос юноши нельзя было назвать красивым, поэтому он не читал в мечетях Коран, а проповедовал. Он обладал удивительным даром слова. Рассказы из истории ислама, предания о жизни пророков — всё, что узнал ещё от своего учителя Феттаха-эфенди, — Шахин умел передать очень увлекательно, простым и ясным языком, а самое главное, по-турецки — ведь слушатели не знали арабского. Крестьяне любили его проповеди, и когда наступал байрам^[28], и надо было возвращаться в Стамбул, они щедро одаривали юношу, не давая ему вернуться с пустыми руками. Всегда у него за пазухой оказывалось

несколько серебряных монет, а в котомке — пшеница, лепёшки, кукуруза. Почти всё это он отсылал матери, оставляя себе совсем немного, на чёрный день, если уж крайняя нужда придёт...

Неужели такие люди и есть добровольцы великой армии зелёного знамени, тень которого покрывает однажды весь мир?! Чего же можно ожидать от солдат этой армии, кроме грабежей и насилия? Бедное, несчастное мусульманство!..

В холодной каменной каморке молодой софта оплакивал участь своей веры. За первыми разочарованиями последовали новые, и опять яростный протест, взрывы отчаяния...

Теперь виновниками были его учителя — знаменитые мюдеррисы, в которых он видел генеральный штаб зелёной армии...

Как ждал он от них слов великой истины, как надеялся услышать из уст этих людей хоть одно праведное слово. В медресе Шахин, наверно, был самым прилежным, самым пламенным и вместе с тем самым покорным учеником. Любое слово, сказанное учителем, он воспринимал как божественный глагол, как откровение, и если юноша очень часто ничего не мог понять, то приписывал это исключительно собственной тупости. Но постепенно чувство ненависти и отвращения, которое Шахин питал к школьным товарищам, перешло и на учителей. И командиры, и солдаты зелёной армии стоили друг друга. Эти люди превратили религию и знания в кормушку, средство обогащения. Учителя так же, как ученики, дрались между собой из-за дарового хлеба; так же старались съесть друг друга, уничтожить, погубить. Соперничество доходило до того, что были случаи покушения не только на честь, но даже на жизнь противника...

А сколько мюдеррисов, почтенных светил богословия, непонятным речам которых молодой софта внимал с благоговением, оказались всего-навсего прислужниками дворца, шпионами султана Абдула Хамида. Всё это Шахин узнал уже потом. Частенько слышал он, как софты шёпотом рассказывали о своих учителях. Каких только нет преступлений на совести этих людей, сколько очагов они разрушили, сколько народу по их доносам угнали в ссылку, даже своих учеников они не щадили, а ведь это были их духовные дети... Ради приветливого слова падишаха, ради султанской подачки — каких-нибудь трёх — пяти лир — они без колебаний готовы были предать и бога, и его пророка.

Правда, среди мюдеррисов попадались люди скромные, которые предпочитали жить потихоньку и не лезть на рожон, не заниматься тёмными делами. Но времена были жестокие — страшные годы абдулхамидовской тирании. Несчастные люди шарахались от собственной

тени, боялись рот раскрыть, каждую минуту ожидая удара из-за угла от своих же коллег-богословов, а не каких-нибудь посторонних.

Сначала Шахин-ходжа чувствовал жалость и сострадание к этим людям, но потом стал испытывать безразличие и даже отвращение.

Разве пристойно героям зелёной армии вести себя подобным образом? Разве можно всего бояться и бесконечно трястись за жизнь, за кусок хлеба? Вести себя низко и подло в столь трудные дни! Склонять голову перед насилием, кланяться в ответ на любое оскорбление, трусливо восклицая:

— Эйваллах^[29]! С богом! Пусть будет так!

Болезнь критики и ниспровержения, которой вдруг заболел молодой софта, усиливалась. Она распространялась, подобно пожару в сильный ветер, и пламя начало уже подступать к подножию трона халифа^[30], наместника пророка на земле. Всё, что Шахин слышал и видел в Стамбуле или в деревнях Анатолии и Румелии^[31], куда его забрасывала судьба во время странствований, всё это позволяло ему достаточно много узнать о дворце султана. И через некоторое время юноша пришёл к выводу, что грех и ответственность за бедствия народные падают только на трусливого деспота, его величество главнокомандующего зелёной армией.

Он уже не винил, как раньше, ни мюдеррисов, ни улемов. Несчастные обитатели медресе, забытые чемезы, тоже были теперь оправданы. Во всём виноват только халиф!.. Вспыхни в те дни восстание против Абдула Хамида, Шахин безусловно пошёл бы в первых рядах. Впрочем, когда через несколько лет произошёл конституционный переворот^[32], Шахин-ходжа не проявил ни малейшего интереса к этому событию и остался куда более равнодушным, чем самые тупые и пассивные его товарищи по медресе. Даже к мятежу тридцать первого марта он отнёсся с полнейшим безразличием. Ибо за эти годы Шахин стал совершенно иным человеком...

Шахин-эфенди с горечью вспоминал и второй период болезни, который протекал более бурно, чем первый.

До того времени он всю вину возлагал на отдельные личности... Нравы испортились, вера в народе ослабла. Стамбул не думал ни о чём, кроме удовольствий и развлечений. В громадной стране не осталось ни одного человека, который бы от всей души, от всего сердца произносил божественное слово «аллах». Улемы-богословы, чья священная обязанность — направлять народ и вести его по пути истины, — все до единого невежды и трусы, корыстолюбцы и развратники.

А человек, являющийся наместником посланника господа бога,— коварный тиран, жестокий и безнравственный.

«Только всемирный потоп, кровавый и огненный ураган смогут омыть лицо земли, смогут положить конец этому беззаконию, вернуть мусульманству прежнюю чистоту...» — думал молодой софта.

Но, читая попадавшиеся ему изредка исторические книги, Шахин стал постепенно понимать, что между прошлым и настоящим разницы нет. Испокон веков религия была орудием угнетения, интриг и разврата. Там, где много веков назад прошла зелёная армия, теперь царит зелёная ночь!

Так пожар, некогда охвативший своим разрушительным пламенем медресе Сомунджуоглу, перекинувшись потом на всё, что звалось сегодняшним днём и составляло нынешнее время, распространялся постепенно всё дальше и дальше в глубь веков и добрался до самых древних времён истории пророков, ислама, империи османов. Великий, очистительный пожар сомнений и переоценок... Где бушевало пламя, там низвергались пышные и великолепные фронтоны, рушились своды и купола, и ничего, кроме груды обломков и скелетов, не оставалось на его пути. Но этот пожар не остановился на туманных рубежах истории, — столб пламени взвился, и огненные языки стали лизать небесный свод.

В сознании Шахина-эфенди возникали опасные вопросы. Как не усомниться в правильности закона и в высочайшей силе издающего его, если этот закон всегда употребляется во зло, если служит он лишь целям угнетения, всякого рода преступлений и злодеяний?! Справедлив ли такой закон? И справедлив ли создатель такого закона?

В истории нашей ничто не занимает такого места, как предмет поклонения — божество. И у каждого божества своя собственная религия, свои пророки, свои церемонии и обряды. Сторонники каждой религии претендуют на монополию, уверяя, что только их божество является единственным и истинным, верования же других — ересь и ложь. В таком случае разве нельзя предположить, что все религии выдуманы человеком, — это всего лишь человеческая фантазия, и больше ничего! Раз так, то, наверно, надо отказаться от веры и от религии, а заодно и от надежды на вечную жизнь?!

По мере того как в воспалённом мозгу возникали всё новые вопросы, молодой софта впадал в безумие. Ему казалось, что в него вселился адский дух, и, желая изгнать его, юноша бился головой о холодные камни кельи, каялся перед всевышним, молил о прощении. Сомнение, словно червь, точило душу Шахина, постепенно разрушая его наивные верования. Иногда вдруг разум его цепенел, а сердце наполнялось глубоким спокойствием, и тогда он радовался, думая, что избавился от своей болезни. Но время шло, и софта чувствовал, как червь, которого он считал издохшим, снова оживал,

чтобы с ещё большим остервенением продолжить начатую им разрушительную работу. Кого-либо просить о помощи Шахин не мог. Да и как помочь человеку, который сомневается? Ведь стоит только появиться сомнениям, как они будут вечно терзать душу, сжигая её в адском пламени. Разве признаешься в них кому-либо?..

В тот год в Стамбуле стояла суровая зима. Завернувшись в старое одеяло, софта сидел в нетопленной келье и смотрел в окно, как падает снег.

Как он был похож на Немруда^[33], пустившего стрелы в небо, чтобы убить бога. И казалось, что стрела, в которую он вложил все свои сомнения, весь свой гнев и возмущение, разбила вдребезги небесный свод, и теперь он осыпается тысячами мелких осколков и тает...

Значит, вечной жизни нет! Значит, нет никакой надежды обрести в потустороннем мире то, что любил и потерял в этом, то, чего хотел и не смог получить в жизни земной? Человек так и не сможет приоткрыть на том свете глаза, закрытые после бесконечных мучений, и, подобно упавшему с ветки листку, истлеет в сырой земле и исчезнет навсегда...

Когда Шахин ловил себя на этой мысли, он улыбался и думал: «Теперь-то я понимаю, что моё религиозное усердие не столь уж бескорыстно. Только благодаря безграничной любви к жизни, жажде жизни, страстному желанию продлить её и на том свете я вступил в эту борьбу...»

Но время шло, и душевные терзания стали невыносимы. Шахин чувствовал, что не может больше скрывать свои сомнения, и после мучительных колебаний отправился на исповедь к учителям медресе.

Первый выслушал его с большим вниманием и даже интересом. На все заданные вопросы мюдеррис дал обстоятельные ответы, но ни один из них не мог удовлетворить любознательного юношу.

Второй встретил молодого софту с яростью. Он набросился на Шахина и, потрясая кулаками, словно собираясь его бить, принялся кричать:

— Одумайся, негодяй! Вернись к истинной вере! Гяуром^[34] стал... Чтобы мыслей подобных больше не было!..

Но разве от нас зависит, во что верить, а что из головы выбросить? Попробуй заставь себя думать, о чём не хочешь, или верить в то, в чём разуверился!..

Угрозы мюдерриса не испугали Шахина. Он обращался и к другим учителям медресе Сомунджуоглу, и к знаменитым богословам Стамбула. Он падал к ногам тех, кто соглашался выслушать его, с мольбой хватал за

полы тех, кто глядел на него с лаской и состраданием.

— Я во власти заблуждений,— плакал и жаловался он,— докажите мне, убедите меня, что я ошибаюсь... Заставьте меня поверить, что после того, как умрёт тело, душа наша продолжает жить... Нет, мы не можем исчезнуть навсегда!.. Сомнения, страшные сомнения одолевают меня... За свои грехи я согласен вечно гореть в аду, лишь бы знать и ощущать, что я существую...

Борьба с самим собой давно уже вышла за пределы богословского спора, чисто теоретической проблемы. Для молодого софты это было вопросом жизни и смерти.

Словно загнанное животное, измученное и затравленное, которое бьётся в судорогах, ожидая смерти, он глядел вокруг себя, остановившись где-нибудь на углу оживлённой улицы. Он смотрел на проходивших мимо людей, на шумную толпу, которая смеялась, шутила, кричала, и удивлялся: «Почему их не интересует этот вопрос, главный из главных?..»

Этим людям неизвестно их будущее. И, быть может, подобно стаду животных, которых гонят на бойню, они слепо шагают навстречу бездне небытия. Как же смеют они шутить, смеяться, думать о каких-то пустяках перед лицом неведомой судьбы?..

Несчастный юноша не мог думать ни о чём другом. Стоило ему увидеть двух человек, которые, уединившись, тихо беседовали с грустным или тревожным видом, и он уже полагал, что они толкуют именно об этом...

И когда он потерял надежду получить ответ на свои сомнения, когда перестал верить учителям, он набросился на книги. Оставив все дела и занятия, Шахин усердно стал посещать библиотеки, отказывал себе во всём и свои жалкие гроши тратил на книги.

До того времени для Шахина-эфенди, впрочем, как и для всех учащихся медресе, самым страшным пугалом были материалисты. Конечно, он не мог ни разобраться, ни по-настоящему понять, о чём материалисты говорят, какие истины утверждают; он знал только одно: это — кучка безнравственных еретиков, восставших против бога.

Однако, после того как Шахина одолели сомнения, он хоть и продолжал рассматривать материалистов как своих противников, всё же стал интересоваться их учением.

Но где найти книги, в которых были бы ясно изложены идеи этих самых еретиков? В руки ему попадались какие-то брошюры вроде: «Что я такое?» или «Диспут между наукой и религией». Автор этих произведений, кратко изложив основные положения материализма, тут же опровергал их

самыми что ни на есть логическими и научными доказательствами.

Читая суровые, резкие и убедительные ответы мудрого автора на утверждения материалистов о том, что дух угасает и исчезает вместе с телом, Шахин-эфенди плакал от радости. Он чувствовал, как снова загорается в нём огонь веры, который начинал было потухать. Но, увы, топлива хватало на несколько дней, да и в огне не было прежнего жара.

После долгих колебаний молодой софта решил повидать мудрого автора этих книг. Только этот человек поймёт его страдания и сможет дать долгожданное утешение...

Однажды утром Шахин с первым парохом отправился в пригород Стамбула Бейкоз. На пристани он навёл справки, где живёт создатель брошюры «Что я такое?»

— Дом его далеко. Да, впрочем, вот он сам! Видите, вот стоит человек и наблюдает, как грузят бочки с питьевой водой.— И Шахину показали на рослого, полного мужчину с седой бородой.

Молодой софта некоторое время издали наблюдал за почтенным господином, потом со страхом приблизился к нему.

От волнения он сделал неловкое движение, словно собирался броситься к его ногам.

Автор «Диспута между наукой и религией» принял юношу за странника-ходжу, подошедшего просить подаяние, сурово посмотрел на него, желая поскорее избавиться от нежелательного просителя. Но когда софта объяснил ему, зачем приехал сюда из Стамбула, учёный муж изобразил на лице раскаяние:

— Ах, вот как... Ну что ж, прекрасно... Ступай-ка, мулла, в кофейню, вон она — на берегу, и подожди меня там. Я тут с делами управлюсь и подойду.

Через полчаса, как и было сказано, почтенный господин явился в кофейню. Однако прежде он завёл длинный торг с каким-то рыбаком по поводу скумбрии, потом подозвал человека, с виду похожего на столяра, и начал с ним договариваться о колёсах для арбы, наконец, очередь дошла и до Шахина-эфенди.

Молодой софта с великим волнением начал рассказывать о своих страданиях. Голос его дрожал, на глазах навернулись слёзы. Он ждал, что великий мудрец поможет ему, скажет несколько слов в утешение... Но какое тут!..

К почтенному мужу подошли два старых, весьма пышно одетых бея. Немного спустя к ним присоединились какой-то паша в военной форме и чернобородый дервиш^[35], на котором поверх ночной рубашки был надет

широченный балахон ордена Мевлеви^[36]. Солидная компания уселась вокруг каменного столика на самом берегу, и начался бесконечный разговор о том, о сём. Говорили о погоде, о реке, о буре, разразившейся на прошлой неделе, об огромных стаях рыб, нахлынувших в Босфор после шторма, о музыканте Татиёсе, игравшем в то лето в казино Канлыджа...

Никто не обращал внимания на бедного софту, который терпеливо ждал, сидя под деревом несколько поодаль. Даже почтенный муж как будто совсем забыл, что его ожидают.

Шахин-ходжа утешал себя невесёлыми думами: «Вероятно, среди этих людей находится агент тайной полиции, и великий доктор побаивается его...»

Но подобное предположение быстро рассеялось: почтенный мудрец был беспечно весел, и его развязный хохот больно отдавался в сердце Шахина... «Можно ли притворяться до такой степени довольным и весёлым в обществе людей, которых боишься или которые тебе не по душе?..»

После обмена мнениями о различных кушаньях перешли к более вольным темам. Дервиш читал персидские стихи и рассказывал непристойные анекдоты. Мудрец встречал каждую историю взрывом заразительного смеха, а потом сам принялся рассказывать анекдоты, не стесняясь в выражениях.

Наконец к полудню общество стало расходиться. Поднялся и учёный муж.

— Эге, пора и нам. В животе уже бурчит с голоду.— И тут он вдруг вспомнил о софте, хотя прошло уже несколько часов.— Эх, мулла,— сказал он смущённо,— так и не удалось нам с тобой поговорить!

Они шли — учёный муж впереди, ходжа немного сзади,— смиренно сложив руки на животе.

— Какое же у тебя горе, мулла? Ты говоришь, мои книги читал? Ну что ж, очень хорошо... Прекрасно...

Шахин-ходжа, с трудом сдерживая слёзы, ответил:

— Почтеннейший эфенди, я стораю!.. Огонь сомнений сведёт меня с ума... И никто, кроме вас, не избавит от этой муки... Вы, только вы можете убедить меня. Докажите мне, что душа человеческая вечна...

Учёный муж старательно вытер нос огромным чёрным платком величиной чуть ли не с простыню. Осмотрев юношу с головы до пят, он вдруг начал смеяться, и в добром смехе этого человека слышались и жалость и сочувствие, он понял, какая болезнь гложет молодого софту.

— Сынок мой, неужели у тебя дел других нет? Всё, о чём ты меня спрашиваешь,— это очень серьёзные и сложные проблемы. Сколько

великих мыслителей, не чета нам с тобой, кануло в вечность, утонув в этом бездонном океане... Чтобы все эти вопросы, все эти проблемы не только разрешить, а просто хотя бы понять... и то нужны величайшие и глубочайшие знания... Так что ты пока старайся копить знания, пополняй скудную суму свою... И по возможности не пренебрегай земными благами... Сам понимаешь, если в кармане хоть что-то звенит, тогда и поешь и попьёшь. Тогда и проблемами разными можно заниматься со спокойной душой... Или, ещё лучше, совсем не заниматься. Как бы то ни было... В общем, вот так, сынок...

Увидав, как у ходжи за стёклами очков блеснули слёзы, мудрец отечески похлопал юношу по плечу:

— Не думай, мулла, что я твоего горя не понял. Революция в убеждениях — самая мучительная, самая бурная из всех революций... Да поможет тебе аллах! Впрочем, помощь аллаха в таком деле — вроде как бы в насмешку, но из поговорки слова не выкинешь...

Софта по-прежнему стоял, смиренно склонившись перед ним.

— Неужели вы меня не поддержите, почтеннейший господин-эфенди?..

Великий мудрец опять сочувственно улыбнулся.

— Мысль, устремившуюся вперёд — к знаниям, на полдороге не остановишь! Ты бы, мулла, лучше забыл обо всём, бросил бы это дело. Знай одно: «Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед пророк его!» — помни и всегда повторяй. Вот увидишь, всё пойдёт своим чередом!.. А что я тебе раньше говорил, ты тоже не забывай! Есть возможность — ешь, пей!.. Когда желудок полон — и в голове светло, и оптимизм появится, и на сердце легко станет...

Шахин-ходжа отчаянно замахал руками, словно услышал что-то ужасное, и воскликнул:

— О господи! И вы то же самое! Как материалисты!.. Собеседник засмеялся.

— Ты, однако, мулла, человек проницательный. Хочешь моими же словами меня изобличить?.. Между прочим, единственная мысль, понравившаяся мне у материалистов, — это как раз о связи духа с желудком. Ешь и пей! — как я тебе и говорил. Не отравляй себе жизнь!.. Кругом посмотри! Погода-то какая! Ох-хо-хох!, — Старый мудрец остановился, опёрся на свою палку и, подняв голову, вздохнул полной грудью, словно стараясь наполнить воздухом громадный мех. — Жизнь — это действительно хорошо! Разве ею когда-нибудь насытишься!.. Ну, счастливого пути, мулла... Впрочем, может быть, пойдёшь со мной? Я

угощу пачой^[37] тебя, у нас в Бейкозе её знатно готовят!.. Ты ведь издалека пожаловал, наверно проголодался?..

Почтенный муж был прав. Ничто не может заставить мысль вернуться в старое русло, коль однажды она, заблудившись, сбилась с пути и устремилась совсем в другом направлении...

Болезнь прогрессировала. Порой она протекала очень тяжело, иногда наступало облегчение. Но однажды, после долгой агонии, угасла вера Шахина, как угасает пламя лампы, в которой иссякло масло.

И только горечь осталась в его сердце, как грустное воспоминание о чём-то очень дорогом и далёком....

Да, теперь Шахин-эфенди стал совершенно иным человеком, хотя в душе его, в сердце по-прежнему ныла старая рана...

«Не попади я сюда,— подумал он,— был бы я, наверно, честным крестьянином, трудолюбивым и жизнерадостным, никому бы вреда не чинил, в бога верил бы искренне...»

Шахин поднялся со скамейки, в последний раз посмотрел на многочисленные кельи, тесно обступившие двор, и медленно направился к выходу из медресе.

Утратив веру в бога, Шахин-эфенди почувствовал, что не может больше жить в медресе. Он стал тяготиться занятиями.

Погас волшебный огонь, освещавший когда-то его крохотную келью. Погас ослепительный светильник, перед которым тускнели блестящие паникадила самых больших мечетей Стамбула. Словно осуждённый на казнь, смиренно принял Шахин неизбежный приговор суда и ждал, покорный и усталый, когда же придёт смертный час.

Казалось, оборвались все нити, связывавшие его с медресе. Он перестал заниматься. Во время лекций он ничего не слышал, погружённый в глубокое раздумье. Юноша избегал товарищей, уходил подальше за городские стены и в одиночестве бродил по полям вдоль берега моря.

Даже некогда любимая «История пророков» превратилась теперь в обыкновенную потрепанную книжку, и ветхие страницы её, источенные червями, он не мог уже больше читать.

Учителя и наставники, заметив разительную перемену, произошедшую в юноше, недоумевали:

— Что с тобой, мулла?

— Если будет угодно богу, через два года медресе кончишь...

— Зачем себя губишь?

— Ещё капельку усилий...— твердили они наперебой и спешили дать ещё один бесполезный совет.

Совсем иначе расценивали рассеянность и уныние Шахина его однокашники:

Ты, наверно, полюбил какую-нибудь красотку и сгораешь от тоски по ней?..

В ответ Шахин-эфенди всегда отделялся шуткой: даже в это тяжёлое для него время он не терял чувства юмора.

Однажды кто-то из товарищей заметил:

— Слушай, Шахин, ну что за настроение у тебя? Глядишь на тебя и думаешь: уж не похоронил ли ты возлюбленную, словно с кладбища возвращаешься.

Юный софта сокрушённо вздохнул:

— Ты угадал!.. У меня и правда была возлюбленная, предназначенная мне вечностью... Как я любил её!.. Но случилось, что вот такие же, как ты, наши товарищи и улемы, все мы вместе убили её и предали прах земле... Теперь я, несчастный, в печали брожу вокруг её величественной гробницы...

Однако период отчаяния и апатии продолжался недолго. Диагноз, который он сам поставил своей болезни, оказался верным. Набожность и благочестие его не были уж так бесцельны — всего лишь бескорыстной потребностью ума и души; вечную жизнь он упорно представлял как продолжение скоротечной жизни на этом свете, а медресе считал самым кратким и верным путём в вечность. И стоило ему потерять надежду на эту вторую жизнь, как богословские науки в его глазах утратили всякий смысл.

Одно время Шахин подумывал, уж не вернуться ли ему в деревню и не заняться ли земледелием,— он не мог больше служить делу, в пользу которого не верил.

Шёл рамазан, и софта отправился в странствия. Он решил заглянуть в родной городок, посмотреть, что же там делается, как живут земляки. Ведь может и так случиться, что он снимет чалму, возьмёт в руки мотыгу или пастуший посох. Однако на родине его тоже ждали горе и разочарование.

Мать умерла. Ничего теперь не связывало его с родными местами — ведь у него не было ни кола ни двора. Да и жизнь в медресе сильно изменила юношу. Он уже не мог испытывать радости от прогулок по горам в компании овец. Друзья детства стали отцами семейств, и казались ему людьми недалёкими, слишком простыми.

И хотя всё то, что Шахин узнал и пережил в медресе, разрушило его веру, отняло у него мечту, однако юношеская душа, пылавшая так долго «небесным» огнём, на всю жизнь сохранила удивительную потребность во что бы то ни стало искать и находить себе новые идеалы.

Душа Шахина не могла жить без великой надежды, без цели впереди...

Эту истину по-настоящему Шахин-ходжа понял только в родном краю. Остаться здесь простым пастухом или пахарем он уже не мог. Деревенское солнце не казалось ему таким сияющим, как прежде, родная земля не была больше такой прекрасной....

Если о медресе Шахин говорил: «В этой тьме нельзя больше жить! Здесь царствует вечная зелёная ночь»,— то теперь, побывав в родном городке, он добавлял: «Зелёная ночь окутала мраком не только медресе, она распростёрлась над всей страной, проникла во все уголки. Иначе и быть не может, ведь умом и совестью народа руководят всё те же воспитанники медресе. Что могли принести стране эти люди, кроме темноты?..»

Белоголовые и зелёноголовые ходжи, шагающие с котомками за плечами по дорогам Анатолии, казались Шахину зловещей стаей сов, хищных ночных птиц.

Сколько долгих столетий несчастная страна пребывала в зелёной ночи, и люди видели окружающий мир только сквозь этот мрак... Вот почему в Анатолии народ прозябал в темноте и невежестве, вот почему людям жилось всё хуже и хуже.... Несчастный, забитый народ!..

Странствуя по родному краю, Шахин-ходжа заходил в школы, чтобы посмотреть, как учат в деревнях и местечках. Эти начальные школы ничем не отличались от медресе. И жалко было смотреть на ребятишек, которых взяли прямо с улиц, залитых ярким солнечным светом, с берегов прохладных речек и упрятали в мрачные темницы, называемые школой.

А что будет с ними, когда они получат начальное образование?

Самые бойкие, самые смелые, несмотря на угрозы и побои, сбегут из ненавистных школ и вернутся к земле. А те, кто останется, будут зубрить, как азбуку, никому не нужные тексты, будут запоминать прописные истины, от которых, кроме вреда, нечего ждать. А потом эти дети подрастут, сменят своих отцов и старших братьев. Но разве в умственном отношении между ними будет разница? Ни на волос!..

И люди нового поколения, так же как и те, кого они сменяют, не будут знать, о чём следует думать, что следует делать. Подобно сорным травам, они засохнут на том же поле, где выросли, или же станут послушным орудием в руках великих мира сего, чтобы во имя каких-то подозрительных интриг и чьих-то сомнительных интересов отправиться, словно стадо баранов, на бессмысленную смерть...

Так думал Шахин-ходжа. И с каждым днём великое чувство любви и жалости, которое юноша испытывал к детям, росло, крепло и ширилось, распространяясь уже на всю страну, и, наконец, однажды побеждённый

воин зелёной армии перешёл добровольцем в армию, служащую иной цели, — он стал учителем начальной школы.

Глава третья

Расставшись с медресе, Шахин-эфенди долго шёл по улицам, пока не очутился перед старым зданием учительского института.

Теперь здесь находилось уже другое учреждение, и Шахин не решился войти внутрь. Он остановился на другой стороне улицы, как раз напротив парадной двери, и прислонился к стене, не заботясь о своём новом саржевом костюме...

Второй год в стране существовала конституция. Но было ясно, что, сменив лишь систему управления, спасти государство всё равно не удастся. И вот на страницах газет стали без конца писать об «учительской армии»^[38]. Естественно, что учительский институт, считавшийся генеральным штабом этой армии, пользовался огромной популярностью.

В дни записи и приёма в институт здание гудело, словно пчелиный улей. Среди желающих поступить учиться очень много было чалмоносцев, таких же, как Шахин-эфенди.

Несмотря на мрачное настроение и подавленность, которые мучили юношу в последние годы, Шахин оставался лучшим учеником в медресе Сомунджуоглу. Через год он должен был получить диплом. И когда Шахин заявил, что покидает медресе и поступает в институт, мюдеррисы всполошились. Нет, учителя не желали расставаться со своим способным учеником, который мог принести им славу и почёт.

Одни упрекали его в измене великому делу; другие уговаривали подождать год, получить диплом, а потом стать учителем начальной школы^[39].

Но Шахин не послушался ни своих преподавателей, ни товарищей. В один прекрасный день он робко вошёл через парадную дверь в это здание и смешался с толпой кандидатов, заполнивших коридоры и сад.

Директор встретил бедно одетого софту не очень-то любезно.

— Мы принимаем студентов по конкурсным экзаменам,— сказал он.— Ну как, ходжа? Коль надеешься на свои силы, попробуй. Если хочешь,

попытай ещё раз счастье...

На голову Шахина-ходжи словно обрушилась крыша дома. Держать экзамены вместе с этими шустрými ребятами, которые, наверно, обучались в лицах всем современным наукам?

Шахин всё же пришёл на экзамены, не питая, правда, особых надежд. Как одиноко чувствовал он себя в огромном коридоре, где набилось сотни две кандидатов. Несмело написал он ответы на все заданные вопросы. Возвращался юноша с тяжёлым сердцем.

Через неделю Шахин рискнул обратиться к директору. Он побоялся спросить, приняли ли его, и поэтому попросил лишь вернуть ему документы. Директор осведомился, как зовут его, а когда Шахин назвал себя, то не поверил, переспросил ещё раз, потом в великом удивлении воскликнул:

— Ходжа! Да ведь ты на конкурсе второе место занял!

— Бей-эфенди,— в голосе молодого софты звучаи тоска и уныние,— уж что-что, а себя-то я знаю. Разве мы виноваты, что медресе нас ничему не научили? Зачем же шутить над несчастным софтой? У него и без того хватает горя. Разве это великодушно с вашей стороны?..

Директор долго смеялся, всё пытаясь убедить софту, что он и не думает с ним шутить.

— Ах, зачем же, бей-эфенди! — упорствовал Шахин.— Как может какой-то софты занять второе место среди стольких выпускников лицеев?

— Ну что ж, давай вместе удивляться этому. Вот в арифметике ты оказался не больно сильным, а то, пожалуй, и первое место мог занять.

Вместо того чтобы обрадоваться, Шахин заметил с грустью:

— Значит, никакой разницы между лицеем и нашими медресе нет...

Шахин очень быстро освоился в учительском институте, ведь он так привык жить в нужде, надеяться только на себя.

Если его спрашивали: «Как дела?» — он отвечал: «Кормят, поят, постель всегда готова, бельё стирают, дыры латают. Чего ещё надо? Чувствую себя прямо султанским зятем».

В институте студенты враждовали, разбившись на два лагеря: одни носили фески, а другие пришли из медресе и носили чалму. Софты не хотели ладить со студентами, получившими светское образование. А те в свою очередь обвиняли чалмоносцев в фанатизме, приверженности к контрреволюции и вообще, пользуясь любыми предложениями, придирались к софтам. Дело доходило иногда до драк.

Шахин-эфенди в эти распри не вмешивался. От софты ему порядком доставалось, но и к их противникам он не мог примкнуть, хотя испытывал

к ним расположение. Ведь он ещё носил чалму и поэтому боялся, как бы его не приняли за лицемера.

«Как быть с чалмой?» — этот вопрос больше всего мучил Шахина. После того как он порвал с медресе, после того как перестал верить в бога, в чалме уже не было необходимости. Однако его останавливали всегда два соображения. Ведь отец Шахина хотел, чтобы он стал ходжой! Если он снимет чалму, не будет ли это проявлением неуважения к памяти отца? И, кроме того, у юноши просто не было чистой, приличной одежды.

Народ привык, что ходжи всегда ходят в рваном и нелепом одеянии, а если Шахин снимет чалму, то в своём потрепанном облачении, в старых ботинках он будет больше похож на нищего, чем на студента! По этим причинам бывший софта и проходил в чалме ещё два года.

Шахин, от природы очень робкий и застенчивый, не стремился сблизиться с кем-нибудь в институте. К тому же большинство его однокашников были ещё совсем юнцами, и он по сравнению с ними чувствовал себя человеком взрослым, прямо-таки бородатым дядей. Шахин давно уже жил в мире собственных дум, и в отличие от тех, кто привык жить на людях, он не испытывал потребности в друзьях-приятелях, чтобы делиться с ними своими горестями и печалью.

Вот поэтому-то у него и не было ни с кем разногласий, ни в мыслях, ни в чувствах; ему не с кем было спорить, он не мог обижаться на человеческий эгоизм, страдать от оскорбленного самолюбия. Если к нему плохо относились, он не обращал внимания, на неуместные шутки он отвечал улыбкой. А вот поболтать и побалагурить — это Шахин любил...

Впрочем, он ни с кем не бывал откровенен и искренен. Да и студенты в фесках, по правде сказать, не очень-то ему нравились. Слишком много среди них было бездарных и тупых, которые своим невежеством превосходили даже тех, кто носил чалму.

Если у софт, по крайней мере, была слепая вера в свою школу, в своих учителей, и, обхватив руками голову, зажмурив глаза, они покорно зубрили уроки, то эти корчили из себя умников, а на самом деле были круглыми невеждами. Многие в институт попали совершенно случайно, потому что мода была такая — идти в учителя. Профессию школьного учителя они рассматривали как самый обыкновенный источник дохода, а подвернись им дело более прибыльное, они тут же, без колебания, сменили бы эту благородную профессию. Многие вступили в учительскую армию только для того, чтобы избавиться от военной службы.

Трудно было найти в институте студентов, которые, подобно Шахину, верили в важность учительской профессии. Но именно таких и искал

Шахин, стараясь сплотить их в союз друзей и единомышленников.

С годами в характере этого обходительного, всегда весёлого, любящего шутку софты, этого приветливого, умеющего ладить со всеми человека появились новые черты. Перед людьми предстал новый облик Шахина — пламенного апостола, уверовавшего в великую миссию учительства, как в новую религию. Так новая страсть, новая священная любовь запылала в душе юноши...

И в этой вере была непонятная для многих притягательная сила, которая помогала Шахину собирать вокруг себя товарищей, способных гореть, как и он, тем же священным огнём.

Наконец ему удалось заполнить ту страшную пустоту, которая возникла в его душе после утраты веры в бога.

И новая вера — вера во всемогущество просвещения, в призвание учителя — была такой же фанатичной, как раньше преклонение перед зелёным знаменем.

Порой он так рассуждал сам с собой: «Чем кончится наша жизнь, неизвестно. В минуту смерти мы, наверно, провалимся в мрачную бездну, чтобы исчезнуть навеки. И счастье наше, видимо, ограничено лишь теми немногими годами, которые нам отпущены на этом свете. Поэтому если мы хотим сослужить службу нашим братьям, то обязаны в первую очередь научить их жить, жить с пользой и с радостью, по-человечески... А может ли человек неграмотный, ничего не понимающий и не сознающий, быть счастливым? Нет! Невежда всегда и везде станет жертвой собственных суеверий и предрассудков или жадности и алчной корысти других... И чтобы положить конец этим бедствиям, что веками преследуют род людской, нет и не может быть лучшего средства, чем научить людей истине, открыть им глаза...»

Как всякий новообращенный, Шахин-эфенди испытывал чувство непримиримой вражды и даже отвращения к своим прежним убеждениям.

«Все мои несчастья,— говорил он себе,— происходят от того, что долгие годы я жил надеждой на вечную жизнь, а настоящей, подлинной жизни-то и не замечал. Ведь если бы я не витал в облаках, разве стал бы я расстраиваться от одной только мысли, что человек смертен?! А теперь я что? Вроде тяжело больного или даже смертельно раненного. Так и буду мучиться до конца жизни, словно инвалид, так до самой смерти и будет ныть эта рана... И чтобы уберечь от будущих разочарований молодое поколение, которое поручено нам для воспитания, мы должны следить, по крайней мере, чтобы оно росло без иллюзий, не предаваясь напрасным фантазиям...»

Однако через некоторое время подобная мысль казалась ему уже крайностью...

«...А ведь некоторые люди смогут получить лишь очень небольшое образование. А потом?.. В силу многих причин, зависящих от их характера, умственных способностей, они так и останутся детьми, слепо подчиняющимися обычаям, власти окружающей их среды. И этих несчастных детей, умам которых суждено пребывать в темноте, не следует неволивать. Самое лучшее — это, пожалуй, ограничиться изучением точных наук, дать учащимся твёрдые знания, и тогда у них родятся самые твёрдые убеждения, ясный взгляд на жизнь, а это как раз то, что им нужно...»

Больше всего Шахин теперь боялся истин неточных и неясных — таков был результат многолетних занятий в медресе, где всему надо было верить на слово.

— Сердце у меня, видно, болит так потому, что я до сих пор слепо доверял доказательствам словесным,— шутил он иногда.— Нет, теперь я уже не могу верить тому, чего не потрогал руками, не увидел собственными глазами. Может быть, это слишком, но ничего не поделаешь: кто обжёгся на молоке, дует на воду.

Шахин, кроме того, был ярым противником туманных речей и всяких непонятных слов.

— Уж кто-кто, а я-то знаю, какие истины могут погибнуть, запутавшись в сетях пышных слов и витиеватых фраз,— любил повторять он.— Человек должен ясно мыслить и ясно говорить...

И хотя всё это было, безусловно, верно, сам Шахин-эфенди высказывал собственные суждения о вере и о религии не больно-то откровенно. Ему было хорошо известно, насколько люди в этих вопросах придиричивы и щепетильны,— опять же медресе его этому научило.

Вместе с тем мечта сделать людей счастливыми — как жизнь ни скоротечна! — не смогла ещё полностью захватить душу Шахина, заменить все утраченные идеалы. Порой, когда ему было грустно, когда прежние печали словно возвращались к нему, он думал: «Разве можно наслаждаться жизнью, вкушать радость счастья, если знаешь, что всё в этом мире преходяще? Пусть у меня есть сад, где я гуляю, в саду — дерево, плодами которого можно лакомиться, а в доме есть окно, и я могу открыть его, чтобы посмотреть на улицу, полюбоваться на море... Всё прекрасно, всё хорошо... Но, увы! Пройдут годы, совсем немного, и я умру, исчезну, и всё исчезнет — и счастье и радость... а когда всё это понимаешь, разве будешь по-настоящему счастливым?..»

Перспектива смерти сначала казалась Шахину-эфенди неразрешимой

загадкой, непоправимым несчастьем, но постепенно он успокаивался, ум его искал и находил доводы, которые могли принести утешение: «Если на моём месте останутся люди, похожие чем-то на меня — так же думающие, чувствующие, говорящие, как и я,— разве это не должно меня в какой-то степени утешать?

И через каких-нибудь лет сто на этой улице всё так же будут говорить на моём языке, и это же море, что распростёрлось предо мною, будут бороздить корабли под моим флагом,— разве это не лучшее доказательство того, что я не исчез бесследно?.. И если мои чувства и мысли, мои желания и мечты станут действительностью, все мои планы воплотятся в жизнь,— разве это не будет означать, что я не умер, а остался жить в делах, мыслях, поступках других людей?..»

И хотя все эти доводы поначалу носили скорее характер софистических рассуждений, своеобразной игры ума, постепенно они принимали форму истин, становились убеждениями бывшего софты, жадно стремившегося обрести новую веру.

Обрести себя, собственное я (если даже ты умер!), найти себя в людях, себе подобных, говорящих твоим языком, продолжающих твои дела!.. Одно только сознание подобной перспективы должно было уже оправдать необходимость жертв ради общества, ради будущего, и жертвовать надо было не только собой, но даже интересами других!..

В тот день, когда свершилась эта последняя революция в убеждениях Шахина-эфенди, он стал пламенным патриотом. Теперь ему было уже совершенно безразлично: вечна ли наша жизнь или мимолётна. Теперь он верил, что не умрёт, что будет жить в веках, подобно капле в море, будет существовать, пока существует общество подобных ему людей, говорящих на его родном языке.

Так учитель Шахин обрёл новую веру. Никакие жертвы уже не пугали его, он был готов с великим спокойствием и решимостью посвятить все силы своей новой профессии.

Лишь в одном не изменился Шахин-эфенди, несмотря на все «революции и перевороты»: он по-прежнему безгранично доверял науке и преклонялся перед учёными и книгами.

Не понимая чего-нибудь на лекциях, Шахин, как и прежде в медресе, приписывал это лишь собственной несообразительности. Ему в голову не приходило, что можно усомниться в книгах или в учителях. Конечно, разочарование в мусульманской религии и приобщение к новой вере укрепили в нём способность к критическому анализу, к более глубокому восприятию действительности, но и тут он оставался учеником

ограниченным, больше полагаясь на зубрёжку, чем на понимание.

«Всё это, конечно, так,— утешал он себя,— но я ведь не собираюсь стать учёным и законоведом. Я буду учить детей самым простым и бесспорным, самым точным из современных точных наук. Вот моя основная задача...»

С нежностью, с сыновней любовью смотрел Шахин-эфенди на фасад старого здания. Так, прощаясь, смотрят на дорогого друга, когда не знают, увидят ли его ещё когда-нибудь.

«В медресе на меня обрушилась громада вселенной, всё мироздание с его звёздами, планетами, лунами,— подумал Шахин.— А здесь была создана другая вселенная, построен новый мир, у которого новые цели, новые устремления, новые идеалы. Теперь меня уже ничто не испугает...»

Шахин отошёл от стены, отряхнул пиджак, испачканный извёсткой, и, тяжело ступая, медленно отправился дальше...

Глава четвёртая

Сарыова...

Шахин-эфенди нашёл старый городок именно таким, каким представлял его себе...

Бесконечную голую равнину, унылую и жёлтую, как сама осень, перегородила гора. По её склону карабкаются дома. Это и есть касаба ^[40] Сарыова!.. Узкая неглубокая речка пролегла между городом и плато. С другой стороны, на горе, встала плотная стена кипарисов, а над кипарисами — развалины старой крепости.

Как только Шахин-эфенди начал издали различать очертания городка, чувства радости и страха охватили его. Лицо озарила горделивая улыбка.

— Вот оно — поле битвы — перед нами!..

Приезжий, миновав старый каменный мост через речку, попадал в самые бедные кварталы городка, где нищета видна во всей наготе. Кривые улочки, арыки с грязной водой и нечистотами, и тут же полуголые дети играют с грязными собаками. Вдоль улицы — лачуги без окон, сложенные из самана; они похожи на норы, наполовину вросшие в землю; из открытых дверей валит зловонный дым. Около домов — босые женщины, их головы обмотаны старыми драными тряпками. На истлевших циновках греются на

солнце старики, больше напоминающие скелеты, чем людей.

И везде дети, похожие на маленьких стариков. Рахитичные, золотушные ребятишки, кривоногие, с огромными животами, а на лицах, облепленных роем мух, болячки и струпья...

Подобные картины не могли удивить Шахина-эфенди, они слишком хорошо были знакомы ему: вдоль и поперёк он исходил Анатолию, собирая подаяния, и видел ещё и не такое. Поэтому, хоть Сарыова и назывался городом и уездным центром, он ничего другого не ожидал увидеть...

Он знал, что в Сарыова есть и другие кварталы, где живут состоятельные люди. И там, конечно, нищета и людское горе — эти вечные спутники невежества и фанатизма — не выставлены напоказ. В богатых кварталах всё спрятано, так же как подлость и безнравственность, невежество и испорченность их обитателей. Там болезнь труднее распознать, ибо формы и признаки её куда более сложны. Только на окраинах всё выворочено наружу, ведь окраины города — это не что иное, как кожные покровы гниющего тела, покрытого нарывами и язвами, смердящего зловонием разложения.

Вопреки изменениям в мыслях, вопреки всем переворотам в убеждениях, Шахин был всего лишь учителем начальной школы, довольно ограниченным и малообразованным. И в силу своих природных наклонностей он был обречён оставаться в какой-то степени софтой, то есть пленником абсолютных истин, в которые уверовал, и которые не подлежали сомнению и критике. Поэтому он просто объяснял причину людской нищеты и говорил с завидным мудрствованием:

— Всему виной — неграмотность, отсутствие школ, а главное — господство зелёной ночи,— это она повергла нашу страну во мрак... И помочь нашей беде могут только истинные знания...

Случилось так, что в первый же вечер после прибытия в Сарыова Шахин-эфенди познакомился сразу со всеми наиболее влиятельными людьми городка: с чиновниками разных ведомств и отделов, с членами городской управы, с жандармским и полицейским начальством и, наконец, с улемами и местными богачами. Всего несколько дней назад Хаджи Салим-паша, человек богатый и знатный, был избран председателем городской управы, и по этому поводу устраивали большой приём.

Оставив вещи на постоялом дворе, Шахин-эфенди отправился прямо к заведующему отделом народного образования, чтобы вручить ему приказ о своём назначении.

Заведующий собирался уходить. Он запирает ящики письменного стола, отдавая на ходу какие-то распоряжения чиновнику, стоявшему

рядом. Когда Шахин-эфенди подал ему предписание, он пробежал глазами бумагу, потом оглядел прибывшего с ног до головы.

— Добро пожаловать! Прибыли сегодня? Где остановились? Подорожные, надеюсь, с божьей помощью получили в Стамбуле? Семья есть или ещё холосты?..

Вопросы сыпались один за другим, и, не ожидая ответа на них, заведующий продолжал:

— Приходите завтра пораньше, тогда и потолкуем. Теперь же я вынужден уйти. Может быть, вечером, на приёме, нам удастся поговорить. Вы, конечно, будете там? Не так ли?

Шахин-эфенди не спросил, о каком приёме идёт речь, так как об этом важнейшем событии в истории города он узнал от номерного сразу же, едва переступил порог постоянного двора. Поэтому он только ответил:

— Ваш покорнейший слуга не приглашён.

За спиной Шахина кто-то отрывисто засмеялся. Смех напоминал хриплое блеяние простуженного козла. Шахин повернул голову и увидел в углу крошечную фигурку, затерявшуюся в глубине громадного кресла. Смеялся маленький ходжа с курчавой реденькой бородкой и лицом настолько бледным, что, если бы не блеск его глаз, загорававшихся иногда необычным огнём, можно было подумать, что перед вами умирающий.

— Не приглашён!.. Что за слова, свет души моей! — воскликнул ходжа.— Наш город ещё не озарён в достаточной мере солнцем европейской цивилизации. Все мы в этом краю лишь отшельники, простодушные и наивные,— от самых богатых до самых бедных. И стол у нас накрыт для всякого. Тем более для вас. Вы только что изволили прибыть к нам, и потому — наш самый почётный гость!..

Маленький ходжа обратился к заведующему:

— Если не ошибаюсь, из Стамбула приехал новый старший учитель? О, старший учитель в нашей школе, можно сказать, венчает головы наши. Сегодня вечером вы сможете в этом убедиться... В нашем городке нет различия между богатыми и бедными, великими и малыми.

Не так уж часто вы встретите подобную верность законам братства, столь неукоснительное почитание принципов равенства, завещанных нам исламом... Ваш предшественник, к сожалению, не был человеком высокой нравственности. Он позволил себе усомниться в том, что несомненно, и вынужден был поэтому искать хлеб насущный в другом месте. Нам известно, что вы весьма образованны, старательны и аккуратны. Ну что ж, приветствую вас... Впрочем, не вас, а ваше высокое назначение!..

Шахин-эфенди понял, что невзрачный карлик-софта олицетворяет в городке господство тайных и самых страшных сил. А заведующий отделом образования — настоящий великан, такой представительный и важный, словно министр, отдающий величавым голосом приказания своему секретарю,— всего лишь жалкая игрушка в руках этого человечка. Неравное положение этих людей заметно было и в позе, в которой софта возлежал в громадном кресле — прижав руки и задрав вверх ножки, недостающие до пола, он был очень похож на новорожденного (так они обычно получают на фотокарточках),— и в манере его говорить то чересчур любезно и насмешливо, а то холодно и даже зловеще, со скрытой угрозой.

Всё это, конечно, не могло ускользнуть от внимательного взора Шахина-эфенди, который достаточно хорошо знал самых различных представителей племени софт.

Шахин понял, что все слова, сказанные маленьким ходжой, в первую очередь обращены к заведующему. Но он понял и другое: несмотря на внешнюю вежливость и даже благожелательность, ходжа весьма недвусмысленно дал почувствовать новому учителю, что если тот будет работать с ним в союзе и согласии, то спокойная жизнь ему обеспечена, а если же учитель пойдёт против течения, то его постигнет участь незадачливого предшественника.

В душу Шахина-эфенди закралось подозрение, что этот ходжа уже узнал о нём что-то и даже несколько обеспокоен назначением нового старшего учителя. И, боясь выдать себя, Шахин старался не смотреть в сторону ходжи и прикинуться простачком, человеком глупым и наивным.

Ведь не даром он ел хлеб в медресе. Он знал, какое надо выбирать оружие, чтобы отразить нападение софты. Если бы он не надеялся на себя, то не поехал бы в эти края, а поискал место более подходящее, где легче осуществить свои планы и мечты.

Не прошло и трёх часов, как Шахин прибыл в Сарыова, а он уже смог убедиться в могуществе местного духовенства. Добрая половина населения носила чалму. Всюду кишели толпы учеников медресе, и хотя после стамбульских событий тридцать первого марта софты утратили в стране бывшее значение и силу, здесь они, как раздраженные пчёлы, гудели на площадях, в кофейнях, у ворот медресе, на базарах.

Приём, устроенный новым председателем городской управы, начался торжественным обедом и закончился чтением «Жития Мухаммеда» в мечети.

Собралось так много народу, что большой зал на втором этаже

городской управы не смог вместить всех гостей, и во дворе, вымощенном камнем, были дополнительно накрыты столы.

Шахин-эфенди явился на банкет из чистого любопытства, желая поглядеть на местную знать, поэтому остался во дворе, не осмеливаясь подняться наверх. Но его увидел директор гимназии, с которым он случайно познакомился под вечер на базаре, где делал какие-то мелкие покупки. Подхватив Шахина под руку, тот потащил его на второй этаж.

— Эфенди,— говорил он на ходу,— вы принадлежите к людям, занимающим такую должность, которая в наших краях пользуется достаточным уважением, и ваше присутствие среди нас просто обязательно.

Директор познакомил Шахина-эфенди с несколькими учителями гимназии и посадил его за стол рядом с собой.

Как и на улицах города, в зале было полным-полно чалмоносцев. Справа от председателя управы восседал начальник округа, мутасарриф Азиз-бей, слева — старый мюдеррис, одетый в кашемировую безрукавку. Духовные лица не сидели вместе, а, как обычно, разместились между гостями в фесках.

Директор гимназии, показывая на столь «трогательное» единение, сказал Шахипу-эфенди:

— Вот некоторые скептики уверяют, что чалма с феской не могут ужиться. Но посмотрите на эту картину братства, разве не должна она изменить подобную точку зрения?! Я — воспитанник Галатасарая^[41], вполне понятно, стою за прогресс, и, тем не менее, если говорить откровенно, я всегда считал, что надо ждать самых плодотворных результатов от союза и сотрудничества между чалмой и феской на благо государства и религии. Весьма прискорбно, что между двумя братскими группировками существуют разногласия, и отношения в последнее время испортились.

Шахин-эфенди как-то печально усмехнулся и ничего не нашёл другого, как буркнуть:

— Ну, да,— и замолчал.

Другим соседом Шахина-эфенди по столу оказался старик в зелёной чалме. Он не владел левой рукой и непрерывно обращался к Шахину с просьбами — то налить воду в стакан, то нарезать мясо. Старик когда-то был учителем богословия в средней школе, в прошлом году его по болезни отправили на пенсию.

— Не так уж мы больны! Хватило бы сил и ещё послужить! — твердил он.— Но что поделаешь, судьба!..

Свою болезнь старый ходжа называл недомоганием. На самом же деле его разбил паралич, у него отнялись рука и нога, скривило рот, отчего старик стал косноязычным. Голова у него тряслась, и страшно было смотреть, когда он пытался сунуть в рот кусок,— ну прямо как ребёнок, которого насильно заставляют выпить лекарство. Измучившись от бесплодной борьбы с самим собой, бедняга обращался к соседу и начинал спрашивать:

— Так, значит, вы изволили получить назначение старшим учителем в школу Эмирдэдэ?

— Да.

— Ох-ох-ох!.. Очень рад! И сколько же вам жалованья положили?

— Восемьсот пятьдесят.

— Ох-ох-ох! Даст бог, ещё прибавят... А зовут вас как? — Шахин.

— И что ж, сегодня изволили пожаловать?

— Да.

— Завидую вашей судьбе, сын мой. Какая удача! Не успели приехать — и сразу же на банкет. — Больной ходжа трясся от смеха, и с усов его во все стороны летели крошки еды. Шахин-эфенди слушал его, стараясь прикрыть тарелку рукой. Бедняга постоянно повторял свои вопросы, тут же забывая, о чём говорил минуту назад. Не зная, как от него избавиться, Шахин всё оглядывался по сторонам, задавал вопросы своему соседу — директору гимназии:

— А кто этот человек с чёрной бородой, что сидит около колонны?

— Почтеннейший мюдеррис Зюхтю-эфенди. Насколько велика его эрудиция в богословии, настолько сведущ он и в науках современных. Им написано весьма ценное произведение, в котором он доказывает, что все современные европейские науки целиком заимствованы у арабов. О, ум — достойный удивления! Будь у нас десяток таких людей, как Зюхтю-эфенди, право, дела в нашей стране пошли бы совсем иначе. В последнее время им составлен чрезвычайно важный документ: проект преобразования медресе. Изложение проекта было напечатано в прошлом месяце в газете «Сарыова». Рекомендую прочесть. Зюхтю-эфенди вполне достоин быть министром просвещения.

— Так, эфенди, а рядом с ним?

— Ответственный секретарь нашего отделения партии «Единение и прогресс»^[42] Джабир-бей из Тиквеша. Образованием он, правда, не блещет, однако это человек недюжинного ума и пламенный патриот. После провозглашения конституции он продал свои владения в Тиквеше и обосновался в нашем городке, здесь купил участок земли. С Зюхтю-эфенди

они неразлучные друзья. Представьте себе, какие результаты может дать такой союз, если соединить отвагу и страстность речей Джабир-бея с научным талантом и религиозным усердием Зюхтю-эфенди. После событий тридцать первого марта к медресе и богословам стали относиться с недоверием... По-моему, это не только несправедливо, но и ошибочно. Сколь благие последствия могут быть от сотрудничества патриотического правительства с богословами, показывает блистательный пример такого союза, как дружба между господином ответственным секретарем и высокопочтенным ходжой-эфенди. А напротив, видите, сидят старцы, вот эти ходжи. Они уже одной ногой в могиле и, сами понимаете, сообразно возрасту отсталы, до последней степени невежественны и фанатичны. Это всё скрытые противники и Джабир-бея, и Зюхтю-эфенди. Представляете, некоторые из них доходят до того, что обвиняют уважаемого мюдерриса в ереси! Слава богу, власть их невелика, и другого оружия в их руках нет.

Шахин-эфенди даже приподнимался с места несколько раз, чтобы получше разглядеть старых ходжей, о которых рассказывал директор.

— Не знаю почему,— с улыбкой вдруг сказал он,— но вашему ничтожному рабу союз господина ответственного секретаря с достопочтенным мюдеррисом кажется куда более страшным, чем собрание всех этих старых ходжей.

Слова эти Шахин произнёс как пароль, чтобы дать понять своему собеседнику, что он за человек.

Директор подозрительно посмотрел на соседа, внешний вид которого чем-то напоминал софту.

— До поступления в учительский институт вы, если не ошибаюсь, обучались в медресе?

— Да.

— И такая нежная любовь к духовным лицам, как я понимаю, есть результат воспитания в медресе? Но ваше пребывание в институте смогло, конечно, убедить вас и в полезности конституционной монархии, и в том, что власть при этом режиме не противоречит законам шариата?

Оказывается, директор понял Шахина-эфенди совсем не так, как тот хотел, и принял его за фанатика, ханжу, противника конституционного правления. И тогда этот «свободомыслящий» воспитанник Галатасарая решил дать своему коллеге несколько советов, полагая, что перед ним человек отсталый, придерживающийся старых взглядов, и не желая при этом обидеть его.

— Большинство моих учеников,— начал он очень осторожно,— это дети, пришедшие из вашей школы. Вот поэтому я придаю большое

значение тем наставлениям и внушениям, которые вы им сделаете... Дети из квартальных и вакуфных школ, к сожалению, надо сказать, подготовлены плохо. Ведь, кроме заученных отрывков из священного Корана, молитв и сведений о религиозных обязанностях мусульманина, они ничего не знают. Несомненно, всё это очень важно знать, но, сами понимаете, детям нужно привить хотя бы элементарное чувство патриотизма, дать представление о передовых идеях современности. Не так ли?..

Директор гимназии прочёл Шахину длинную и нудную лекцию о пользе конституционной монархии, о необходимости современного воспитания. Шахин-эфенди выслушал его очень внимательно и даже с интересом, потом улыбнулся и сказал:

— Не извольте беспокоиться, я буду учить детей только тому, что необходимо и полезно. Науки религиозные я постараюсь преподавать по возможности упрощённо, не вникая глубоко, чтобы они не причинили вреда детскому сознанию. Я буду бороться всеми силами с предрассудками и суеверием, бороться против всяких библейских небылиц и басен. Я буду ничтожным помощником в великом деле вашем. Я понимаю, что сейчас многие обстоятельства мешают вам, и время не то, да и места тут особые, поэтому вы ставите перед собой цель весьма ограниченную — воспитать османцев-патриотов, преданных конституции и монархии, верных религии и государству. Но ваш покорный слуга хочет сделать ещё один шаг вперёд, он надеется воспитать турок-республиканцев, верных и преданных своему народу...

Директор ошеломлён.

— Брат мой, опомнитесь! Да понимаете ли вы, что говорите! — испуганно прошептал он.

Видя, что его слова произвели столь неожиданный эффект, Шахин-эфенди счёл нужным применить некоторый обходный маневр.

— Не извольте ложно истолковать мои слова,— поспешил он ответить своему собеседнику.— Я не собираюсь вести революционную пропаганду... Избави бог. Просто я считаю, что мы должны воспитывать наших детей так, чтобы они сами могли выбирать путь, по которому им следует идти, не подчиняясь ничьему влиянию...

Надо было заканчивать разговор, и Шахин-эфенди старался говорить осторожно, избегая более конкретных и ясных слов. К счастью, на помощь подоспел сосед-ходжа, разбитый параличом. Старик попросил Шахина нарезать ему фаршированные баклажаны, а потом опять начал задавать вопросы:

— Как вас зовут?.. Когда вы прибыли?.. Какое вам жалованье положили?..

Открывая свои заветные мысли директору гимназии, Шахин-эфенди преследовал определённые цели. Он понимал, что не может в одиночку подготовить великую революцию, которую собирался совершить в Сарыова. Ему нужны были союзники. Он рассчитывал встретить в городке людей свободомыслящих, интеллигентных — инженеров, врачей, чиновников и, наконец, молодых учителей, понимающих интересы нации и народа. Чтобы осуществить намеченную программу, надо было найти в Сарыога людей просвещённых, собрать их, сплотить вокруг единой цели и тогда уже действовать...

Шахина не пугало, что число его соратников будет невелико. Пусть всего восемь — десять человек, но зато людей образованных, которые знают, чего они хотят, что нужно делать. Они смогут повести за собой толпу, даже самую многочисленную, тёмный, невежественный и слепой народ...

Ещё до приезда в Сарыова Шахин считал директора гимназии естественным и самым важным своим союзником. Однако высказывания его о роли богословов и значении религии не только расстроили Шахина, но и поколебали его уверенность...

Неужто директор действительно так думает? Или же он боится раскрыть душу перед бывшим учеником медресе? Ведь встретились они впервые, и ему неизвестно, что собою представляет новый учитель...

Хотя Шахин-эфенди и решил действовать как можно осторожней и до поры скрывать свои истинные намерения, однако он видел перед собой человека, окончившего Галатасарай, признанного главу молодежи, которая через несколько лет после окончания гимназии вступит в жизнь, возьмёт в свои руки управление государством. Не доверять такому человеку, скрывать от него свои мысли было бы излишней предосторожностью! Для того, кто хочет совершить революцию, и чрезмерная осторожность, и ненужная расчётливость только вредны...

Вот почему Шахин-эфенди и решил открыться, надеясь узнать, что же за человек этот директор. Но, увидав, как тот пришёл в ужас от подобных высказываний, не стал упорствовать и поспешил прекратить разговор. Для первого знакомства и этого было достаточно.

Начались речи. Сперва старый мулла, сидевший рядом с начальником округа, прочёл по-арабски молитву. Потом встал Мюфит-бей и произнёс краткую вступительную речь. Он говорил так тихо, что его слышали только несколько человек, находившихся рядом с ним. Затем последовала речь

вновь избранного председателя городской управы. Это было скорее оглашение программы мероприятий, которые Салим-паша намеревался осуществить в Сарыова.

Виновник торжества читал с трудом, то и дело запинаясь и путаясь. Было совершенно ясно, что речь написана чужой рукой.

Как только чтение было закончено, Шахин-эфенди нагнулся к директору и, посмеиваясь, произнёс:

Если уважаемый председатель полностью осуществит свою программу, начальнику вакуфного управления^[43] нечего будет делать... Почтенный паша только и толковал, что о ремонте могил и усыпальниц, украшении мечетей, о теккэ^[44] и благотворительных учреждениях.

Директор опять настороженно посмотрел на Шахина-эфенди. Он хотел было что-то ответить, но, видимо, раздумал.

После выступления председателя настала очередь Джабир-бея. Это был грузный мужчина, высокого роста, лет сорока. Одет он был так, словно собрался в длительное и трудное путешествие по горам: он облачился в охотничий костюм с меховым воротником, на ногах красовались блестящие сапоги, а в руках — нагайка с серебряным набалдашником. Багровое лицо дышало здоровьем, небесно-голубые глаза казались фарфоровыми, длинные светло-каштановые усы воинственно торчали почти до самых ушей. Шея его была повязана шёлковым платком, чтобы скрыть карбункулы на затылке. Повязка сковывала движения оратора, поэтому он вынужден был поворачивать голову вместе с туловищем. Голос Джабир-бея звучал отрывисто и резко, как выстрелы из маузера. Своё выступление он начал громкими возгласами, яростно размахивая руками, словно обращался к огромной толпе.

Джабир-бей говорил о трагических событиях времён балканских войн^[45].

— Жестокий враг превратил нашу родину в бойню. Он бесчеловечно убивал наших соотечественников: седобородым старикам отрубал руки и ноги, калёными прутьями выжигал им глаза, вливал расплавленный свинец в рот улемам... Отрезал женщинам груди, вспарывал животы и извлекал на свет божий несозревший плод. Младенцев, кротких мусульманских малюток, насаживал на штык и жарил на костре, словно шашлык. Подобно тучам, смрадный чад и запах горелого человеческого мяса застилал небеса. По земле нельзя было пройти,— всюду валялись трупы, отрубленные головы, человеческие внутренности. Враг сжигал деревни и усадьбы, вешал на деревьях наших юношей, хватал наших чистых, как вода,

девушек.

Враг с наслаждением любовался картинами разрушения, насилия, спокойно потягивая трубку... Стали красными реки, пенясь от мусульманской крови...

Шахин-эфенди внимательно слушал и никак не мог понять связь между балканской трагедией и торжеством сегодняшнего вечера. Тем временем Джабир-бей нарисовал ещё несколько картин в том же духе и, наконец, перешёл к главной теме:

— Довольно спать! Откройте глаза, пробудитесь от беспечного сна! Идёт война,— это не война двух наций. Нет, это война креста и полумесяца, христианства и мусульманства. И если мы будем думать, что война кончилась, и неверные оставили нас в покое, просчитаемся мы жестоко!.. Наши враги тайно готовятся... Посылают на Балканы всё больше и больше пушек, винтовок, штыков... Но мы не стадо баранов. Мы не дадим себя связать по рукам и ногам, не позволим, чтобы нас задушили... Так пусть зажжётся священный патриотический огонь в наших сердцах и спалит Европу, как архимедовы зеркала сожгли римские корабли^[46]... Наша великая нация уже открыла глаза. И поняла, кто друг нам, а кто враг. И если христианская Европа собрала армию крестоносцев, то мы составим мусульманскую армию полумесяца... Развернём зелёное знамя!.. Призовём под великое знамя ислама весь мусульманский мир...

Джабир-бей начал называть баснословные цифры, подсчитывая, сколько миллионов с оружием в руках готово явиться на помощь из стран Азии и Африки, в случае если будет объявлена священная война. В заключение Джабир-бей произнёс:

— Люди просвещённые уже поняли, в чём наше спасение, где наша победа. Поняли и поклялись трудиться вместе, рука об руку!..

Тут Джабир-бей принялся отчаянно вертеть в воздухе нагайкой, крепко пожимая в то же время руку почтенного Зюхтю-эфенди. Этим рукопожатием он хотел символизировать крепость и силу союза, ибо в отношении христианской Европы может осуществляться, как он понимал, только одна политика — объединение мусульман под знаменем ислама.

Краткое выступление Зюхтю-эфенди дополнило речь предыдущего оратора.

Почтенный богослов сообщил, что слова уважаемого ответственного секретаря невольно вызвали у него слёзы. Он заверял, что если будет объявлена священная война, то улемы не пожалеют ни души своей, ни головы ради отчизны... Его ученики готовы не только руководить духовной жизнью нации. Нет! Чалмоносцы готовы сформировать армию

добровольцев и отправиться на фронт.

Зюхтю-эфенди поклялся, что он сам лично вместе с Джабир-беем составит добровольческий отряд и пойдёт впереди него с зелёным знаменем в одной руке и красным в другой^[47]... Зюхтю-эфенди говорил красноречиво, и слова его многих довели до слёз...

На этом банкет закончился. Народ разошёлся, чтобы после вечернего эзана вновь собраться в соседней мечети на чтение «Жития Мухаммеда».

Первая ночь в Сарыова была мучительной. Шахин-эфенди никак не мог заснуть: мысли путались, его охватывал смутный страх, непонятное волнение. Наконец он забылся тяжёлым сном. Ему снились кошмары, и несколько раз он, дрожа, просыпался весь в поту. Сердце в груди отчаянно колотилось, и Шахину слышались то далёкие и трогательные напевы молитв, словно доносившиеся из другого мира, то вдруг зычный голос Джабир-бея.

«Господи, уж не вернулась ли прежняя болезнь?» — испуганно подумал он.

Но с восходом солнца кошмары исчезли, будто растворились в утреннем свете.

«Я не учёный и, конечно, не политик,— рассуждал утром Шахин.— Я обыкновенный учитель начальной школы. Я знаю теперь, чего хочу и что нужно делать... И если здесь я найду пятерых, пусть даже троих единомышленников, если я сумею воспитать хотя бы одно поколение учеников именно так, как я хочу, как подсказывает мне моя совесть, то всё остальное наладится само собой... Правда, потребуется более или менее длительное время, но что поделаешь, будем ждать! Ибо, как известно, не изменив состояния умов, нечего и думать об изменении государственного режима, всей системы управления страной... Сколько трудов мы затрачиваем, чтобы получить хоть какой-нибудь урожай с плохого огорода. А чтобы вырастить и воспитать новое поколение, нужно ждать лет десять.

Не так уж много! Да, я знаю, что должен делать: суметь защитить мою школу от всякой скверны и подготовить достойных товарищей и помощников, свободомыслящих, способных работать и думать так же, как я сам. А ну, вперёд, мулла Шахин! Хоть твой отец и не хотел, чтобы ты вырос врагом зелёной армии, но мать родила тебя именно для этого...»

Весь день Шахин был занят в школе. По вечерам, иногда до поздней ночи, он сидел в кофейне или в учительском клубе, потом шёл спать. Так же, как в институте, он не скучал в Сарыова, не тосковал по прежнему житью-бытью, нет, он быстро привык к окружавшим его людям, ко всему... И за неделю он так освоился, что чувствовал себя уже старожилом, словно лет сорок прожил в этом городке.

Первое время Шахин, чтобы не наделать второпях ошибок, вёл себя весьма осмотрительно: с людьми говорил как можно проще, понятнее, старался всем понравиться.

Городские ходжи, узнав, что бывший питомец медресе променял чалму на феску, отнеслись поначалу к Шахину с недоверием, а некоторые встретили его даже в штыки. Но Шахин слишком хорошо понимал психологию софты, и ему легко удалось сломать стену недоверия. Вчерашние недоброжелатели почувствовали к нему невольное уважение, когда увидели, как умело он употребляет их же собственное оружие. Больше того, они готовы были принять его в свои ряды. И общительный, скромный на вид Шахин, который знал своё место и не лез вперёд старших, очень быстро укрепил свои позиции. Вскоре учитель начальной школы стал в городке лицом уважаемым и даже известным.

К моменту прибытия Шахина-эфенди в Сарыова общественное мнение разделилось, и в городе образовалось два враждующих лагеря. На одной стороне приверженцы всего нового — реформы и революции — во главе с Зюхтю-эфенди, на другой — последователи старины, которые обвиняли своих противников в вероотступничестве, были всем недовольны, ворчали и брюзжали, не осмеливаясь, правда, выступить открыто, ибо не оправились ещё после разгрома тридцать первого марта. Численный перевес сил был, конечно, за ними, но зато их враги имели власть и поддержку партии.

Начиная от начальника округа и председателя городской управы, все правительственные чиновники, жандармерия и полиция, все видные богословы-мюдеррисы, шейхи и учителя, купцы и ремесленники являлись сторонниками преобразований и ратовали за обновление.

Самой злободневной проблемой в Сарыова был вопрос о реформе медресе. Почти в каждом номере газеты «Сарыова», выходившей два раза в неделю, печатались передовые, написанные Зюхтю-эфенди на эту тему. Уважаемый мюдеррис обвинял в измене государству, нации и религии всех, кто ратовал за сохранение в медресе старых порядков. Он считал, что

совершенно недостаточно ввести в медресе лишь преподавание современных наук, необходима полная реорганизация по принципам светских школ,— таково было его основное предложение.

В свой первый вечер в Сарыова Шахин-эфенди сказал директору гимназии, что союз между мюдеррисом-эфенди и господином ответственным секретарем страшит его ещё больше, чем единство старых реакционных ходжей. Эту мысль, в несколько иной форме, он повторил однажды в разговоре со своим коллегой, с молодым учителем Расимом-эфенди.

— Идеи обновленчества и вся эта любовь к новшествам, которые проповедует достопочтенный Зюхтю-эфенди, пугают меня гораздо более, чем слепой фанатизм его противников. Когда я слышу о реформах в медресе, меня охватывает страх.

Расим был юношей умным и горячим. Во время Балканской войны он пошёл добровольцем на фронт, получил ранение в ногу и стал хромать, после этого пришлось уйти из армии и вернуться к профессии учителя. Он успел горячо привязаться к Шахин-эфенди, всегда прислушивался к его словам. Но на этот раз высказывание старшего учителя вызвало страстный протест Расима:

— Я считал вас верным, преданным сторонником нового... А вы?... Просто удивляюсь, в таком важном вопросе, как реорганизация медресе, вы оказываетесь единомышленником реакционеров.

Шахин-эфенди взял молодого товарища за руку и внимательно посмотрел на него. За стёклами очков светились умные глаза, их добрый и ласковый взгляд делал рябое лицо Шахина даже красивым.

Если мы оставим в покое медресе,— сказал он, улыбаясь,— они в самом ближайшем будущем развалятся сами собой. А вот если мы начнём их ремонтировать, то они ещё долго будут приносить бедствия нашему несчастному народу.

Старший учитель давно уже присматривался к Расиму. Он понял, что перед ним не только самый умный, самый способный и преданный учитель школы, но в то же время самый честный и достойный доверия человек в Сарыова. Поэтому он счёл излишней всякую осторожность и стал открыто излагать Расиму свои взгляды:

— Весь этот спор между новым и старым — не что иное, как сплошное пустословие. Больше того, говорить о реформе медресе — значит укреплять позиции софт, которые уже не могут существовать по-старому, это значит вооружать их более новым оружием! Не так ли? Я вижу, что софты в Сарыова действительно всем заправляют... Когда я был

жалким чемезом, я мечтал о так называемой зелёной армии, которая под сенью своего знамени соберёт весь мир... Есть ли какая-нибудь разница между зелёной армией моей мечты и армией добровольцев полумесяца, которую хочет сформировать обновленец и националист господин ответственный секретарь. Он собирается создавать новую армию, уповая на божью помощь и на поддержку воинов ислама, которые должны сбежаться из Азии, Африки, Океании и бог весть из каких ещё мест... Ты ведь сам видел, как люди вопили и рыдали, когда Джабир-бей и Зюхтю-эфенди разглагольствовали об единения всех приверженцев ислама. Я недостаточно хорошо знаком со всеми теориями и идеями этого движения, но как можно деятелей, разделяющих мир на мусульман и немусульман, называть обновленцами и националистами? Когда ответственный секретарь бьёт себя в грудь и уверяет, что он, видите ли, националист, он обманывает либо других, либо самого себя, так как всё, в конечном счёте, даёт один результат... Какая разница между мюдеррисом Зюхтю-эфенди и так называемым националистом — ответственным секретарём, который от имени своей партии заявляет, что цель их — объединение на основе ислама... Боюсь, что все, кто имеет хоть какое-нибудь влияние в Сарыова — крупные и мелкие чиновники, люди образованные, — в общем, все только так и понимают обновление и национализм. И все они лишь марионетки, которые слепо следуют указаниям Зюхтю-эфенди и служат орудием для достижения его целей...

Ведь в действительности городом управляет именно он, он и софты... Ты сам, Расим, два дня назад, был тому свидетелем. Только за то, что программу занятий по родному языку я назвал программой «турецкого языка», заведующий отделом народного образования чуть не вышвырнул меня из школы. Если в этом краю самый высокий чиновник, ведающий просвещением, запрещает наш родной язык называть так, как он называется, и считает преступлением, когда мы говорим «турецкий язык» вместо «османского», как можем мы называть власть, правящую в этом городе, национальной и патриотической? Вот почему бессильных, выживших из ума стариков софт я считаю безвредными и так боюсь обновленцев. А если мы станем подпирать готовые рухнуть от собственной ветхости медресе подпорками модернизации и ремонтировать их, они ещё долгие годы будут висеть камнем на нашей шее...

Молодые люди очень быстро подружились. И Расим и Шахин были холосты. С разрешения заведующего отделом народного образования они поселились на верхнем этаже школы, в одной комнате. Здание было старым и ветхим; в бурные ветреные ночи дом трещал и даже качался. Ветер

беспрепятственно разгуливал по школе, забираясь в неё со всех четырёх сторон.

Ещё жизнь в медресе научила Шахина самостоятельности и практичности. Он заклеил щели в стенах и окнах комнаты старыми газетами. Когда школа пустела, он принимался за домашние дела и справлялся с ними не хуже женщины: варил обед, стирал бельё, латал дыры.

На аукционе товарищи купили две кровати и поставили их в комнате друг против друга. Прежде чем отойти ко сну, Шахин и Расим забирались на свои кровати, ложились на спину и часами читали или готовились к урокам. Иногда, облокотившись о подушку и подперев голову ладонями, они подолгу беседовали, поверяя друг другу свои горести и печали...

Перед уходом на фронт Расим пережил любовную трагедию. Как-то вечером он стыдливо признался Шахину, что причиной, заставившей его вступить в ряды добровольцев, в какой-то степени была утрата любимой девушки. Теперь рана эта зажила, но в часы одиночества, когда в гнетущей тишине к нему возвращались мысли о прошлом, он снова ощущал тупую боль потери, словно ныла его раненая нога. И юноша начинал рассказывать товарищу о былой любви.

Шахин ещё не знал, что такое любовь, однако понимал своего друга, сочувствовал его желанию высказаться. Поэтому он с вниманием слушал Расима, старательно делая вид, что разделяет его горе.

Но порою Шахина охватывало беспокойство: а вдруг эта тоска по женщине отвлечёт юного товарища от заветной цели, сломит его решимость... И если жалобы и воспоминания слишком затягивались, Шахин-эфенди ловко менял тему разговора и неизменно возвращался к идее, которая навечно завладела его умом.

Напротив школы, на холме возвышалась гробница какого-то святого. Она всегда была видна из окна комнаты, даже когда друзья лежали в постели. И стоило перед сном погасить свечу, зелёный свет лампадок, зажжённых над гробницей, начинал издали поблескивать в ночной темноте. Иногда этот свет вызывал у Шахина-эфенди легкую грусть, напоминая ему и о бывшей «возлюбленной», казалось, уже умершей.

«Все мы люди одинаковые...— лежа в постели, рассуждал Шахин сам с собой.— То ли предрассудки и суеверия живут испокон веков внутри нас, то ли они прочно впитались в кровь и плоть нашу, или ещё по другим причинам, но с каким трудом мы избавляемся от них, как тяжело вырвать их из нашего сердца. И вот мы уже считаем, что они умерли, их нет, но стоит устать, поддаться минутной слабости, глядь, и они опять лезут в

душу...»

Чтобы прогнать эти мысли, Шахин начинал отчаянно ворочаться с боку на бок, потом заводил новый разговор с уже засыпавшим товарищем.

— Посмотри, Расим, на эти зелёные огоньки. То, что в медресе называют учением и светом, как раз похоже на их неясное мерцание... И мерцание-то это освещает всего лишь могилы, от которых в душе человека просыпается только тоска и отчаяние. Куда бы ни упали отблески этого мерцающего света, они меняют цвет и форму окружающих предметов, придавая им очертания страшные и фантастические. Да, всего лишь мерцание!.. Настолько слабое, что в нескольких шагах уже опять ночь... Веками мы жили во мраке зелёной ночи, называя его светом. А я назову светом только тот, который, подобно солнцу, что взойдёт через несколько часов, зальёт вселенную ослепительным, драгоценным сиянием,— всюду, везде, каждый уголок...

И день, рождённый с восходом солнца, положит конец зелёной ночи. Этот день принесём мы... Из грязных, мрачных развалин здания, что называем мы новой школой...

Молодой учитель, улыбаясь сквозь сладкую дрему, пробормотал в ответ на страстные речи друга:

— Всё очень хорошо, но если мы будем бодрствовать всю ночь, завтра, я думаю, эти развалины не в состоянии будут как следует исполнить обязанности новой школы.

Шахин-эфенди ничего не ответил. Он улыбался ослепительному сиянию, о котором только что говорил, и медленно погружался в сон...

Глава шестая

Школа Эмирдэдэ была самой большой казённой школой в округе — около трёхсот учеников и восемь учителей.

Прошло уже месяца полтора, как Шахин-эфенди приступил к работе. Новый старший учитель долго присматривался к порядкам в школе, к своим коллегам, наконец, у него сложилось определённое мнение о них.

«Из восьми учителей,— решил Шахин про себя,— один заслуживает полного доверия, на него можно положиться. У двоих в голове путаница, но это честные и способные ребята; их легко привлечь на свою сторону, и

если я постараюсь, очень скоро они станут превосходными учителями начальной школы. Один, кажется, бездарен, не поймёшь, плох он или хорош? Пока от него больше вреда, ибо находится он под влиянием софт. Впрочем, судя по его характеру, куда его потянут, туда он и пойдёт. Это уже сейчас видно. Порядочного человека из него сделать трудно, но если направлять и держать в узде, то он будет служить нашим целям. Остальные четверо, судя по всему, личности вредные и беспокойные. Значит, четыре союзника на четыре противника... Если же считать и меня, то большинство на нашей стороне... Во всяком случае, такая расстановка сил обнадеживает... Ну, а что касается учеников, то если из трёхсот детей каждый год воспитывать человек десять в том духе, как я себе мыслю, то за восемь - десять лет мы вырастим целое поколение. Эти люди, надеюсь, сумеют сказать своё слово в Сарыова, по праву и по справедливости они заставят отступить Зюхтю-эфенди...»

Шахина-эфенди больше всего волновал и беспокоил вопрос о школьном здании. И правда, дом пришёл в полную негодность. Чинили крышу с одной стороны, на следующий день она протекала с другой. Лестницы и стены еле держались на подпорках. В течение двух лет на ремонт истратили столько денег, что на них, наверно, можно было построить новое здание. Тем более что вакуфное управление отвело для отдела народного образования вполне подходящий участок земли.

Считая своей главной задачей постройку нового школьного здания, Шахин-эфенди развернул бурную деятельность. С утра до вечера он бегал по разным инстанциям: сегодня бил челом начальнику округа, завтра обращался к ответственному секретарю местного отделения партии «Единение и прогресс», послезавтра шёл с ходатайством к Зюхтю-эфенди. Шахин прекрасно понимал, что силой доброго дела не сделаешь, и к каждому замку старался подобрать свой ключ.

«Ходжи умели действовать скрыто,— рассуждал Шахин,— знали силу уговоров и просьб, поэтому они вершили судьбами людей и чувствовали себя хозяевами даже тогда, когда терпели поражение и сила, казалось, ускользала из их рук. Значит, в борьбе, которую я начал против них, я должен действовать тем же оружием. И коль я, к примеру, немного польщу Зюхтю-эфенди, в этом нет ничего предосудительного. А если нам удастся уговорить Зюхтю-эфенди и построить его руками новую крепость, из которой мы потом откроем огонь по его же позициям,— о, это уже будет настоящее достижение...»

В первые месяцы своего пребывания в Сарыова Шахин-эфенди сделал ещё одно важное открытие. Он понял, что за птица тот самый невзрачный и

тщедушный софта, с которым познакомился в кабинете заведующего отделом народного образования в первый день приезда. Этого софту, именуемого Хафызом Эйюбом, можно было часто видеть то в коляске начальника округа, то рядом с ответственным секретарем, то в городской управе. Он был вхож во все теккэ, во все медресе, в дома местных богачей, и везде его встречали с одинаковым уважением.

Ещё в кабинете заведующего отделом народного образования, по тому, как Хафыз Эйюб вёл себя, как он сидел, разговаривал, Шахин почувствовал, что перед ним человек влиятельный.

Конечно, он не мог сразу предположить, насколько велико влияние этого софты, но стал приглядываться к нему, изучать... Он сопоставил всё то, что узнал, услышал и увидел, и, в конце концов, пришёл к выводу: вот он — злой дух, тайный правитель города. Именно он руководит словесными битвами между богословами и ходжами, приверженцами нового и защитниками старого. И если недовольство консерваторов и реакционеров никогда не выливается в открытое восстание, а время от времени переходит в смутный, однако достаточно грозный ропот — это его заслуга. И то, что на горячую голову ответственного секретаря иногда вдруг обрушиваются неизвестно откуда взявшиеся неприятности и ему начинают мерещиться кошмары, и то, что власти и городская управа неустанно трудятся на благо Сарыова, но только, подобно пароходному колесу на холостом ходу, ничего не могут провернуть,— всё дела его рук... Это он открыл и теперь всячески поддерживает дервиша Урфи-дэдэ, который обитает отшельником в жалкой лачуге на главном кладбище, пребывая на положении святого, ещё не успевшего помереть... Упорно говорят, что этого пустынного посетают видения, и рассказы о них наводят теперь ужас на жителей городка...

А совсем недавно в Сарыова случилось очередное происшествие: сын одного горожанина, человека влиятельного и зубастого, и воспитанник медресе поссорились из-за какого-то пустяка, и молодой человек ударил софту нагайкой по голове. Учащиеся медресе и богословы сочли такой поступок величайшим оскорблением носителей чалмы и устроили шумную демонстрацию перед резиденцией мутасаррифа. Они требовали самого сурового наказания для виновника, чтобы этот акт послужил уроком для сверстников злоумышленника.

Начальник округа выслушал представителей софт и заявил им, что никакого специального процесса он, конечно, устраивать не будет, но молодого человека накажут по существующим законам. Такой ответ совершенно не удовлетворил учащихся медресе. Оглашая улицы громкими

воплями: «Аллах велик!» — и распевая религиозные гимны, они направились к зданию партийного центра.

Мюдеррис Зюхтю-эфенди патетически произнёс с балкона проповедь. Волнение демонстрантов как будто несколько улеглось, но тут, как на грех, выступил ответственный секретарь, и его речь испортила всё дело.

Джабир-бей как всегда начал говорить о жестокостях, которые творят жители Балкан над правоверными. Он опять рассказывал, как отрезали руки, ноги, носы и губы у мужчин, груди у женщин, потрошили животы беременным и жарили на огне младенцев. Потом он стал кричать, что всему виной неурядицы и раздоры, царящие среда мусульман.

— Тот, кто напал на нашего брата — софту, тоже наш единоведец, и, хотя он носит феску, а не чалму, у него тоже мусульманская голова... Мусульманство — не только в чалме! Почему вы не гневаетесь, когда бьют голову по голове? Почему вы сердитесь, когда софту ударили по чалме?..

Мюдеррис Зюхтю-эфенди сильно дёрнул Джабир-бея за рукав, да тот и сам понял, что допустил ошибку. Но, увы, стрела уже вылетела из лука...

В толпе опять началось волнение. Несколько самых горячих софт что-то закричали в знак протеста, но главари демонстрации заставили их замолчать. Они побоялись, что насилие, совершённое в запальчивости над ответственным секретарём партии, может вызвать повторение грозы тридцать первого марта.

На площади воцарилось тревожное молчание... Всегда багровое лицо Джабир-бея стало белым. Секретарь пытался исправить допущенную ошибку, но всё было напрасно. Он совсем запутался и только бессвязно бормотал глухим голосом:

— Молодёжь... свет... религия.... патриотизм... сила... Когда ответственный секретарь покидал балкон, безмолвие казалось ему более страшным, чем грохот боя. Толпа беззвучно рассеялась по боковым переулкам.

Но гнев богословов не улёгся, они не желали мириться с оскорблением, нанесённым чалме. В медресе продолжались шумные дискуссии, софты толпами шатались по базарам, собирались в кофейнях, на площадях, задирали тех, кто носил фески.

Было ясно, что богословы и софты не отважатся выступить против властей и партии, но любое столкновение, даже самое незначительное, между недовольными и населением могло, подобно пожару в ветреную погоду, разрастись в настоящее побоище.

Сарыова переживало тревожные дни. Напрасно наиболее благонамеренные преподаватели медресе и ходжи пытались успокоить

софт...

Однажды вечером, в разгар этих событий, жители городка увидели Хафыза Эйюба-эфенди, когда он направлялся в обитель дервишей ордена Кадири^[48], находившуюся в окрестностях Сарыова.

Шейх^[49] Накы-эфенди, настоятель обители, считался влиятельным человеком. Вокруг обители ему принадлежали обширные владения. Свою дочь он года два назад выдал замуж за начальника окружной жандармерии Убейд-бея.

Этот Убейд-бей, жестокий и грубый солдафон, многие годы служил в Македонии, участвуя в карательных операциях против сербских и болгарских комитетов^[50]. В Сарыова он, конечно, скучал и, когда ему было делать нечего, «для развлечения» отправлялся в горы на поиски бандитов.

Как раз за неделю до волнений в городке Убейд-бей выехал в одну из окрестных деревень, но через двадцать четыре часа после визита Хафыза Эйюба в обитель к шейху, его отряд вернулся в Сарыова. На площади, возле нижнего кладбища, Убейд-бей провёл учебные стрельбы, после чего устроил небольшой парад: солдаты промаршировали по улицам городка.

Этого оказалось достаточно, через несколько часов в Сарыова всё было спокойно — софты потихоньку убрались по своим углам.

В том, как развивались события за эти несколько дней, Шахин-эфенди усмотрел тайное руководство Хафыза Эйюба. Когда власти слишком увлекались иллюзорными идеями «обновления» и начинали смотреть свысока на софт, а надменное величие господина ответственного секретаря становилось нетерпимым, Хафыз Эйюб спешил нагнать на правителей страху. Затем, чтобы припугнуть софт и отбить у них желание устраивать демонстрации, использовались силы, находящиеся в распоряжении властей...

Шахин-эфенди частенько говорил Расиму о Хафызе Эйюбе:

— И впрямь опасный человек. Я изменил своё прежнее мнение о мюдеррисе Зюхтю-эфенди. Что он? Всего лишь марионетка в руках Хафыза Эйюба. Судя по теперешней политике, рядом с ответственным секретарём должен стоять такой человек, как Зюхтю-эфенди.

Но если завтра курс изменится, Хафыз Эйюб первым бросит в него камень... И как только события свалят Зюхтю-эфенди, тот же Хафыз Эйюб опять найдёт и выдвинет взамен какую-нибудь новую фигуру, отвечающую духу времени. Сам же он всегда будет в тени, вне всякой ответственности. Таких зюхтю-эфенди я много видел в Стамбуле. Все они придурковаты,

алчны, набиты спесью и жаждут благополучия... А хафызы эйюбы по мере необходимости прибирают их к рукам, накачивают, превращая в дутые фигуры, эдаких неукротимых львов и выпускают на арену... Когда же марионетки сделают своё дело, то они лопаются, как воздушные шары, и их отправляют на свалку...

Шахин-эфенди продолжал хлопотать о постройке нового здания. Он уже обращался к властям, к партийным руководителям, в управу, ко всем местным богачам. Сначала никто не хотел слушать старшего учителя школы Эмирдэдэ, но Шахин был настойчив и хитёр: кому говорил о боге, кому — о науке, кому — о нации и патриотизме. В конце концов, почти все согласились помогать и поддерживать проект постройки.

В особенности загорелся председатель городской управы. Салим-паша не мог перенести, чтобы кто-либо из его соперников, местных богачей, дал на школу больше, чем он, и обещал поставить для строительства весь камень.

Как ни странно, но идею строительства благосклоннее всех встретил Хафыз Эйюб, он тотчас же предложил свою помощь.

Старший учитель усомнился в искренности его слов.

— Запомни мои слова, Расим,— сказал он своему товарищу,— потом увидишь, этот тип непременно устроит нам какую-нибудь пакость... Ещё много хлопот доставит... Уж он, конечно, не потерпит, чтобы новый в этих краях человек, да ещё неизвестно чего добивающийся, по собственной инициативе осуществил такое большое дело и завоевал себе популярность.

Очень скоро, как и предполагал Шахин-эфенди, стали возникать различные трудности, большие и малые. Сложнее всего оказалось с проектом «новой школы». Городская управа никак не могла утвердить его, и дело всё больше затягивалось.

Если Шахнну-эфенди нравился какой-нибудь вариант, то со всех сторон сыпались возражения: «Нет, нет! Ни один из этих проектов не соответствует мусульманской и турецкой архитектуре...» Но нельзя же строить здание для новой школы в старом стиле. Нужно было в проекте найти такое решение, чтобы сочетались современные требования к школьным зданиям со стилем старой архитектуры.

Шахин-эфенди уже понял, что утверждение будет откладываться из месяца в месяц, и такая проволочка грозит со временем похоронить всё дело. Он бегал из одной инстанции в другую, хлопотал, суетился, нервничал, не зная, кому бы рассказать о своём горе.

В Сарыова жил инженер, служивший в городское управе, звали его Неджиб. Был он человеком отважным, горячим и невоздержанным,

поэтому получил прозвище «Сумасшедший». Шахин-эфенди быстро понял, что славой Сумасшедшего инженер обязан своим взглядам на жизнь, трезвым и ясным, а также хорошему вкусу, которые никак не сходились с общепринятыми в этом городе.

Как-то ночью, когда Шахин-эфенди и Расим давно уже спали, Неджиб Сумасшедший явился в школу. Долго он звонил, но никто ему не открывал, тогда он стал дубасить в дверь камнем.

Шахин-эфенди вскочил с кровати, не понимая спросонья, что творится. Здание сотрясилось от ударов, с улицы неслись крики:

— Доган-бей, восстань от непробудного сна! Я пришёл!..

Неджиб звал Шахина доганом [\[51\]](#). Однажды, когда они сидели вместе в кофейне, Неджибу понравились некоторые высказывания нового учителя.

— Знаешь,— вдруг сказал он,— имя Шахин тебе никак не подходит. Кто это придумал называть тебя таким пышным именем, словно знатного господина... Право, когда при мне говорят «Шахин», меня тошнить начинает. Не могу тебя даже слушать с должным вниманием. Уж если ты настаиваешь, чтобы тебя обязательно птичьим именем звали, изволь, буду величать тебя по-нашему — доганом.

Шахин-эфенди зажёл лампу и, накинув поверх байковой ночной сорочки плащ, спустился вниз.

Неджиб Сумасшедший ворвался в школу. Размахивая огромным портфелем, он устремился наверх, покрикивая на Шахина, который с трудом поспевал за ним:

— Эй! Послушай, свети как следует!.. Хочешь, чтобы я в темноте упал с лестницы и разбил себе башку или глаз выколол?..

Расим также проснулся.

Неджиб открыл портфель и торжественно выложил на стол чертежи.

— Требую награды за добрую весть! — провозгласил он.— Вот проект, который всем понравится и тут же будет принят..

Шахин придвинул лампу и стал рассматривать чертежи, выполненные в красках.

— О-о!.. Вот это проект!..— Голос его дрожал от удивления.— Ну, ты, дружище, создал шедевр!..

Неджиб жал ему руки и радостно смеялся.

— Не спи, Доган-бей! Смотри, тут сочетаются архитектура медресе с новым стилем. Да, получилось здорово! Согласен с тобой, настоящий шедевр. Говоришь, нравится?.. Ошеломляет?.. Вот увидишь, пройдёт единогласно! Утвердят немедленно... Погляди на купола, арки, окна... Разве можно устоять перед такой красотой?..— Неджиб говорил захлёбываясь.

Он то смеялся, то хлопал в ладоши и кричал:

— Хей, джаным^[52], хей!..

Шахин-эфенди решил, что инженер пьян, и хотел даже пошутить по этому поводу, но тот внезапно заговорил совершенно спокойно и даже серьёзно:

— Доган-бей, это как раз тот проект, который мы с тобой третьего дня одобрили...— Шахин недоумённо смотрел на инженера.— Но, сам понимаешь, честным путем его провести не удастся, вот и будем действовать хитростью. Сыграем с этими субъектами шутку. Чертежи всем понравятся, и их, не раздумывая, примут. Разве только инженер Керим будет возражать. Но я ему всё объясню, ведь мы с ним давно дружим. В крайнем случае можно будет пригрозить: «Если ты, приятель, вздумаешь нам перечить, то, клянусь, в одну прекрасную ночь, когда ты, старый развратник, отправишься блудить в дом к торговцу маслом, я пойду по твоим следам, устрою скандал и натравлю на тебя софт. Уж они-то тебя разукрасят!..»

Шахин-эфенди по-прежнему не мог понять, к чему клонит инженер, и смеялся в ответ, считая, что всё это очередная выходка Неджиба. Но тот продолжал говорить очень серьёзно и, подняв лампу, стал водить карандашом по чертежу:

— Повторяю, это как раз тот проект, на котором мы остановились. Теперь смотри, в чём хитрость. Видишь два этажа, они показаны очень низкими, маленькие окна как у келий. Как раз то, что нужно! Я спланировал так, чтобы при постройке эти два этажа получились ещё ниже и совсем были непригодны для жилья... Вот тогда-то мы и скажем: «Ошибка в расчёте! Не ломать же из-за этого. Выход прост — из двух этажей сделать один». И мы соединим два этажа, поднимем пол; вот эту дверь оставим для подвала, а тут пробьём новую, для парадного входа, с высоким крыльцом и лестницей. Когда же мы соединим окна двух этажей, то вместо келий у нас получатся просторные классы, с высокими потолками, и в них будет много воздуха и света. Ну, а потом мы убедим всех, что купол по техническим соображениям не может быть возведён, так как стены его не выдержат, и сделаем простую крышу. Таким же образом вот эта арка будет превращена в обыкновенный балкон. Что поделаешь?! При составлении проекта ошиблись! Рабу аллаха свойственно ошибаться... Вот так всё и объясним. Эх, Доган-бей, сколько трудов мне стоило скрыть наш проект под обманчивыми линиями этого чертежа! Даже краски не пожалел. Хитрость, конечно, раскусят, но будет поздно, дело-то будет сделано. Наши господа, надеюсь, постесняются признаться в том, что их

так ловко надули. Ведь даже у дураков своя гордость есть. А если получится иначе, что взять с бедняка? Прогонят из города,— только и всего-то... Они от нас избавятся, а мы — от них... За какие только грехи, Доган-бей, мы попали в одну шайку с этими болванами?..

Шахин-эфенди и Расим внимательно слушали Неджиба, сон как рукой сняло. Они вместе обсудили ещё кое-какие детали проекта. Потом разговором завладел Шахин. Он начал открывать Неджибу свои собственные планы.

Слушая его, молодой инженер становился всё более и более серьёзным. Неджиб, который ежедневно придумывал всякие шутки и готов был вытворять бог весть какие фокусы, вдруг стал похож на солидного, положительного человека; взгляд его даже стал каким-то грустным.

Шли часы, ночь кончилась, а беседа всё ещё продолжалась... Когда Шахин-эфенди пошёл провожать Неджиба и открыл наружную дверь, оба увидели, что уже начало светать.

Всего несколько часов прошло с тех пор, как в школу ворвался Неджиб, действительно похожий на сбежавшего из сумасшедшего дома. Теперь он был спокоен и, прощаясь, с улыбкой говорил:

— Я вас лишил сна, доставил столько беспокойства... Шахин-эфенди улыбался в ответ и жал руку молодому человеку.

— Мы потеряли всего лишь ночь, но зато нашли союзника.

Учитель поднялся наверх. Спать не хотелось. Он зажёл керосинку, чтобы вскипятить утренний чай. В груди kloкотала радость, тело не чувствовало усталости. Ещё одно предположение оправдалось: среди людей техники и науки он легко найдёт себе союзников, в которых так нуждается для выполнения своего великого дела, найдёт настоящих помощников, твёрдых и убеждённых.

Глава седьмая

Спустя неделю на заседании комиссии городской управы был принят проект Неджиба. Но когда надо было приступить к строительству, то возникла непредвиденная трудность, куда более сложная, чем первая.

Участок, предоставленный вакуфным управлением отделу народного образования, вплотную примыкал к зданию медресе, такому старому и

ветхому, что в нём была опасно жить. Софты, ютившиеся там в тесноте, грязи и темноте, буквально гибли от болезней. И кроме всего прочего, медресе преградило дорогу новому проспекту, который начали прокладывать местные власти. По этим двум причинам ещё полгода назад решили сломать это здание, а учащихся распределить по другим учебным заведениям. Но когда однажды утром перед медресе появились рабочие с лопатами и кирками, поднялся настоящий бунт. Софты вопили, что они не позволят ломать это историческое строение, что из-за таких пустяков, как постройка дороги и школы, они не разрешат осквернять святыню... И если власти настаивают, пусть рушат медресе прямо им на головы, но они не сдвинутся с места и готовы умереть под развалинами. Страшными голосами софты выкрикивали священные слова и читали молитвы.

Не успела весть об этом событии разнестись по городу, как всё население, забыв о своих делах, сбежалось к месту происшествия. Через полчаса на площади перед медресе было настоящее столпотворение. Разъяренные софты опять собирались вместе и шумной толпой бродили по улицам. Старики, женщины и дети плакали со страху.

Как всегда, неизвестно откуда поползли страшные слухи. Уже рассказывали, что в медресе покоятся останки не просто святого, а чуть-ли не самого... — да будет он защитой нашей! И с некоторых пор по утрам софты стали слышать чудесные голоса, восклицавшие: «Бог велик!» — и звуки священных гимнов, а в тёмных каменных двориках они видели, как вспыхивают и гаснут зелёные огоньки...

И ещё рассказывали, что всю неделю великий святой — пусть не падёт гнев его на наши головы! — каждой ночью является во сне отшельнику Урфи-дэдэ и кричит грозным голосом: «Не попирайте кости мои нечистыми ногами!.. Я обрушу на ваши головы город, разорю ваши поганые гнёзда!..»

Впрочем, не только Урфи-дэдэ посещал великий святой, — да не оставит он нас своей заботой! — и ещё кое-кому он являлся. Вот, например, председатель городской управы Салим-паша, восстав как-то утром с больной головой — накануне он вернулся поздно ночью с очередного банкета, — долго вспоминал страшный сон, который ему приснился, наверно, из-за переполненного желудка, и, содрогаясь от ужаса, припомнил, что ему вроде мерещился длиннородый призрак в зелёной чалме...

Тем временем на площадь прибыл в экипаже начальник округа Мюфит-бей и произнёс перед софтами длиннейшую речь, полную нравоучений и наставлений. Он уговаривал, обещал, что в тех медресе,

куда их направят, им будет очень хорошо, но софты и слышать не хотели ни о чём.

— Перед властью мы склоняем головы... Ломайте медресе,— кричали они,— но отсюда мы не уйдем!.. Погибнем мучениками под развалинами... Мы готовы предстать перед господом богом... с окровавленным челом!..

Вскоре после начальника округа к месту происшествия пожаловал ответственный секретарь партии. Джабир-бей был в своей неизменной охотничьей куртке с меховым воротником, в высоких сапогах, в руках он вертел нагайку. Перед тем как отправиться к зданию медресе, Джабир-бей имел беседу с начальником жандармерии и просил сопровождать его. Но Убейд-бей наотрез отказался.

— Не взывайте,— заявил он.— Вам прекрасно известно, что в трусости меня нельзя упрекнуть. Если потребуется, я готов один выступить против батальона неприятеля... Но сила святых... этого я боюсь. Тем более речь идёт не о каком-нибудь сопротивлении властям. Бедные люди, даже не препятствуют разрушению здания... «Обрушьте развалины на наши головы,— говорят они,— мы хотим умереть мучениками». Разве за этими словами скрывается преступление?

Джабир-бей появился в прескверном настроении, он был зол не на шутку. Помахивая нагайкой, он направился к воротам медресе и, остановившись у самой двери, громовым голосом произнёс грозную речь, обращаясь и к софтам, засевшим в своей школе, и к софтам, толпившимся на улице.

— Разве неизвестно, — как всегда говорил Джабир-бей,— что балканцы отрезают носы, уши, ноги несчастным мусульманам, вытаскивают крошечных младенцев из материнского чрева и насаживают их на вертел?.. До каких пор будет продолжаться это упрямство и реакционность? Если правительство когда-то расстреливало из пушек янычар, то теперь, если понадобится, пушки разнесут это здание в один миг...

Джабир-бей неистовствовал, распаляя свой гнев, надеясь устрасшить непокорных софт. Щёлкая нагайкой в воздухе, он вызывал противника на бой. Ах, если бы нашёлся хоть один, кто осмелился бы принять вызов! Но все головы склонились в лицемерном смирении и почтении. Только в первых рядах плакали старухи да древние ходжи.

Джабир-бей снова отправился в резиденцию начальника округа и долго совещался с Мюфит-беем.

Был вызван начальник жандармерии. Мутасарриф неуверенным голосом начал отдавать Убейд-бею распоряжения, которые больше

походили на просьбу. Джабир-бей уселся в углу комнаты и с равнодушным видом читал газету, давая понять, что он ни во что больше не вмешивается.

Но начальник жандармерии был по-прежнему твёрд в своём решении.

— Моя приверженность правительству и партии известна всем. Подобно орлу, я распростёр крылья над городом... И вы, ваше превосходительство, надеюсь, не станете отрицать, что ради покоя страны я тружусь в поте лица, без усталости... Но я только что докладывал бею-эфенди, что данный вопрос — это, так сказать, вопрос морали. Прикажите, я пошлю жандармов. Однако если вы, вопреки моему заявлению, всё же станете настаивать на том, чтобы я лично отправился к месту происшествия, соизвольте принять мою отставку.

Оказавшись между двух огней, Мюфит-бей попал в совершенно безвыходное положение. Не зная, что предпринять, бедняга растерялся. Ни одна из сторон не желала прийти ему на помощь. Председатель городской управы заявил, что он нездоров, сел в коляску и улизнул из Сарыова. Мюдерриса Зюхтю-эфенди нигде не могли найти, он будто в воду канул. Начальник округа, ломая руки, метался по кабинету, жалобно смотрел на Джабир-бея, словно хотел спросить: «Ну, что же делать?» Лицо ответственного секретаря было чернее тучи, глаза тусклы. Газета, которую он только что с таким вниманием разглядывал, делая вид, будто читает её, разорванная валялась на полу.

Наконец мутасарриф не выдержал и повторил вслух вопрос, который раньше задавал только глазами. Джабир-бей с лёгким презрением пожал плечами.

— Брат мой, ведь это вы здесь представляете наше конституционное правительство. И вы не знаете, как справиться с жалкой кучкой долгополых чурбанов?... Сила и власть в ваших руках... Принятое решение должно быть приведено в исполнение.

Губы у Мюфит-бея дрожали, во рту пересохло, колени подкашивались... Что делать?

Должность начальника округа Сарыова была, прямо сказать, на редкость удачным постом. Когда руководящие силы округа договаривались и действовали в полном согласии, то и дела у мутасаррифа шли прекрасно. Чтобы управлять сложной государственной машиной, достаточно было лишь изредка подписывать кое-какие бумажки,— занятие, конечно, нехитрое, вроде как у ходжей, которым достаточно побормотать над больным, чтобы тот выздоровел.

Но как только между государственными мужами возникали разногласия, всё менялось. Тогда каждый стремился перетянуть начальника

округа на свою сторону, и несчастный Мюфит-бей лишался покоя, терял несколько килограммов драгоценного веса, который он так успешно нагуливал благодаря прекрасному воздуху, обильной пище и двенадцатичасовому сну.

Как радовался Мюфит-бей, когда видел, что по какому-нибудь вопросу все едины и согласны,— значит, не надо расстраиваться, значит, его мягкосердечная душа может не волноваться. Поскольку все согласны, значит, всё правильно.

Но стоило вдруг возникнуть разногласиям или же конфликтам между отдельными личностями, как сразу же у начальника округа появлялась непереносимая забота: надо было думать, самостоятельно принимать решение... Это было так же трудно, как вытащить из ножен саблю, которую никогда не применяли в деле...

И, кроме того, при подобных разногласиях частенько приходилось поддерживать не ту сторону, которая права, а ту, у которой сила. Необходимость действовать именно таким образом больно задевала чиновничью совесть и человеческое достоинство доброго мутасаррифа, и бедняга только попусту мучился и страдал.

Поэтому, наверно, никто в этом крае не ценил согласие и союз так высоко, как Мюфит-бей. Едва отцы города на официальном или даже частном собрании начинали говорить между собой в резких тонах, как Мюфит-бей тут же бросался улаживать конфликт и мирить противников. Именно по этой причине начальника округа величали не иначе как добродетельным, справедливым, высоконравственным, ангелоподобным... и другими соответствующими словами...

Не найдя поддержки у ответственного секретаря, господин мутасарриф был в отчаянии. Пришлось действовать самостоятельно, и Мюфит-бей приказал начальнику полиции, старому Хаджи Рашиду-эфенди, следовать за ним с отрядом полицейских, сел в коляску и снова отправился к месту происшествия.

Перед медресе по-прежнему толпился народ. Правда, волнение уже улеглось. От усталости многие уселись прямо на земле, примостились вдоль стен домов или на пороге. В толпе сновали разносчики воды, продавцы шербета и фруктов.

Окна домов, выходящих на площадь, были облеплены женщинами, которые сбежались, наверно, со всех концов городка. Такое обилие зрительниц вызвало самое праздничное настроение у софт, и они под руку расхаживали вдоль домов, изредка останавливаясь и украдкой поглядывая на окна, или же громко беседовали, стараясь привлечь внимание

представительниц прекрасного пола.

Как только к месту действия прибыла коляска начальника округа, толпа снова заволновалась, площадь огласилась криками,— начался второй акт спектакля.

Разносчики прекратили торговлю и спешили на всякий случай убраться со своими лотками в укромное место. Из окон истошно кричали женщины,— это матери созывали своих детей, боясь, как бы их не раздавили на улице.

Вновь прибывшие чувствовали себя прескверно. У мутасаррифа, несмотря на его внушительный вид, цепенели руки и ноги, а старый начальник полиции прямо места себе не находил. Старик уже многие годы страдал воспалением мочевого пузыря, и когда он получил приказ мутасаррифа следовать к месту происшествия, у бедняги начались такие позывы, что ему срочно пришлось бежать во двор, к фонтану, чтобы не осквернить недавно совершённое ритуальное омовение...

Подобает ли такому набожному, богобоязненному человеку, как Хаджи Рашид-эфенди, всю жизнь проводшему в посте и молитвах, действовать заодно с людьми, которые собираются разрушить гробницу угодника божьего? Нет, не подобает! Но что поделаешь, служба — дело подневольное. Если беднягу вышвырнут на улицу, над его семьёй, несчастными детьми даже собаки станут смеяться. Будь хаджи зятем шейха ордена Кадири, как Убейд-бей, он знал бы, что делать...

Старик стоял рядом с экипажем мутасаррифа и шёпотом читал одну молитву за другой, умоляя бога принять его душу в тот момент, когда волею судьбы ему придётся применить оружие против обитателей медресе, поклявшихся испить чашу мученичества, защищая священные кости угодника от поругания.

На этот раз Мюфит-бей даже не встал из коляски, своё приказание он передал софтам через начальника полиции. Хаджи Раншд-эфенди оставался в медресе минут десять, затем поспешно вышел и, расталкивая толпу, стоявшую перед дверями, направился прямо к коляске. Бледное лицо несчастного выражало сильнейшее беспокойство. Мутасарриф всё понял, хотя начальник полиции не успел даже раскрыть рта. И тут, несмотря на спокойный, мягкий характер, Мюфит-бей не выдержал и дал волю своему гневу: будь что будет, но позорищу этому надо положить конец! Он приказал рабочим немедленно приступить к делу, а полиции — оцепить здание медресе и арестовывать каждого, кто осмелится помешать рабочим...

Как только софты услышали приказ, они забаррикадировали двери и начали замогильными голосами взывать к аллаху.

Толпа на площади замерла, в тревожной тишине лишь изредка слышались звуки, похожие на сдержанное рыдание или стоны.

Впереди рабочих шагал здоровенный бородач в зелёном ватном минтане^[53]. Он почему-то суетился больше всех, торопясь начать работу первым. Почти бегом он подскочил к одному из окон медресе и взмахнул заступом, но в тот момент, когда лопата должна была вонзиться в землю, бородач пронзительно закричал: «Спаси аллах!..» — и свалился без чувств. Рабочие побросали свои лопаты и кирки и с громкими воплями кинулись врассыпную.

Бородатый человек лежал на земле, закатив глаза, и стонал, причитая: «Спаси аллах!..» Никто не решался к нему приблизиться. Мутасарриф приказал отнести его в аптеку. Делать больше было нечего, второй акт кончился, и начальник округа вынужден был отправиться восвояси.

Через минуту толпа, запрудившая площадь, бурлила от волнения. Из уст в уста переходила страшная новость. Особенно старались женщины: высовываясь из окон, тараща глаза от страха, они рассказывали друг другу о необычайном происшествии. Оказывается, как раз в тот момент, когда этот человек, которого наняли за несколько курушей ломать гробницу святого угодника, опускал заступ, перед ним явился лучезарный, ясноликий старец в зелёной чалме; святой угодник в одной руке держал зелёное знамя, в другой — громадный посох; он проклял рабочего, взмахнул посохом и ударом по голове уложил несчастного на месте.

Рабочий всё ещё не приходил в себя, глаза его были закрыты, волосы и борода спутались, изо рта вырывались страшные, хриплые звуки. Полицейские с трудом пытались поднять и увести его, а он всей тяжестью своего тела словно прирос к земле.

Эту сцену Шахин-эфенди наблюдал, стоя на куче строительного камня, присланного председателем городской управы для новой школы. Рядом с ним стояли Неджиб Сумасшедший и Расим.

На площади шло горячее обсуждение происшествия.

Какой-то софта передавал подробности двум крестьянам, и те слушали, широко раскрыв глаза и поминутно качая головой от изумления.

Шахин-эфенди не выдержал и обратился к рассказчику:

— Слушай, братец, ведь рабочий-то после благословения святого ещё не очнулся. Когда же он успел сообщить такие подробности?

Вместо ответа софта ограничился лишь долгим презрительным взглядом, повернулся спиной и важно удалился.

— Ну, как тебе понравилось это представление, Доган-бей? — спросил Неджиб. — Такая комедия даже европейским артистам не под силу... Убеждён, что автор и режиссер спектакля — Хафыз Эйюб.

Шахин-эфенди всегда легко мирился с неудачами и невзгодами, но тут словно утратил свой обычный оптимизм и молча, с удручённым видом, кивнул головой в знак согласия.

— Да, с ними трудно справиться, — вздохнул Расим. — Боюсь, что страна ещё многие сотни лет не сможет избавиться от шайки этих длиннополых, — проворчал он.

Уныние товарища придало бодрость Шахину.

— Не падай духом, — сказал он Расиму. — Если мы в новой школе вырастим поколение, которое будет способно думать или хотя бы задавать такие простые вопросы, как задал я: «Когда это успели узнать такие подробности, если человек валяется без чувств? И почему он вдруг свалился в обморок?» если мы воспитаем подобных людей, уже будет хорошо...

Смотреть больше было не на что — представление окончилось, и друзья, смешавшись с толпой, направились к базарной площади.

По дороге инженер. Неджиб без умолку тараторил, не обращая внимания на окружающих, которые могли его услышать.

— Право, если бы мы поехали в Европу, то вряд ли увидели там комедию, забавнее этой. Ну и хитры наши молодчики... Как устроили! Всё гладко. Мятеж? — Нет, Соппротивление? — Никакого... Ни скандала, ни драки... Всего-навсего просьба к властям. Отказывают? — Прекрасно! Давай разрушай: никто ведь за руки не держит. У нас нет ни пушек, ни пулемётов — мы безоружны... У нас в медресе всего-навсего дед, волшебный дед, у которого в одной руке зелёное знамя, в другой — дубинка. Вот он стоит за стеной и ждёт. Ах, ты замахнулся лопатой на медресе? На, получай дубинкой по голове... Трах!.. Готово!.. После такого представления разве сыщешь во всей стране хоть одного рабочего для этого дела, заплати ему целый миллион. Так, глядишь, через некоторое время дед не только медресе, но и всю улицу станет охранять. А нам ещё ходжи не нравятся... Ведь до чего додумались эти хитрецы: вместо того чтобы нанимать целый отряд сторожей, который всё равно ни за чем не уследит, они поручили всё дело деду, и он на них работает за пяток свечей да несколько кусков холста... Я, признаться, даже испугался, когда увидел, с каким спокойствием они выжидают... Оказалось всё очень просто: подкупили или подговорили этого бородатого... И он блестяще разыграл обморок... Нет, вы обратили внимание? Когда полицейские тащили его на

руках, один поскользнулся,— тут уж не дубинка деда ему угрожала, этот битюг мог просто башкой об камни трахнуться... Видели, как он вскочил на ноги. А то всё комедию ломал...

Шахин-эфенди мрачно слушал болтовню товарища, надежда на новую школу становилась всё призрачней...

— Выходит, невозможно разрушить медресе,- высказал он наконец мысль, которая одолевала его. Придётся нам проститься с мечтой о новой школе... У медресе есть защитник ?— какой-то святой, у которого даже имени нет,— и к нему никто не может подступить. А завтра или послезавтра, глядишь, ему имя дадут, а там и усыпальницу построят, и зелёный светильник повесят... Вдруг Неджиб остановился посреди улицы, словно его осенила какая-то идея. Уперев руки в бока, он начал отчаянно хохотать.

— Ах ты, разнесчастный мой Доган-бей,— потешался он над Шахином,— всё хвалился, что погасишь зелёные светильники по всей стране, а тут тебе скоро самому, на твою же школу, на самый кончик твоего носа ещё один новый нацепят... Вот ведь какое счастье...— Он кулаком ударил Шахина по спине, который всегда горбился и был похож поэтому на мерзнувшего человека, и добавил: — Не горюй, Доган-бей! Пускай софты хитрят, в ответ мы тоже хитрость устроим. Через неделю ты получишь свой участок совершенно чистеньким... Ни о чём не спрашивай! Мне надо ещё кое-что обдумать...

Между тем разговоры о таинственном старце с удивительной быстротой распространялись по городу.

Вся эта история с дедом напоминала страшные сказки о призраках, которые являются одиноким путникам по ночам где-нибудь около кладбища: сначала призрак похож на крошечного карлика, потом — у страха глаза велики — он уже выше самого высокого кипариса...

Какой-то человек, судя по одежде, носильщик, рассказывал двум парням-новобранцам:

— Иду недавно мимо медресе, поздно ночью, на плечах — здоровенный ящик. Темно, хоть глаз выколи, не вижу, куда нога ступает. Вдруг — камень что ли — я спотыкаюсь, лечу на землю... Ну, думаю, сейчас ящик меня — в лепёшку... И что же? Подхватывает меня седобородый старец... Если соврал, пусть глаза мои лопнут...

— О господи! Что за народ! Как бараны,— воскликнул Неджиб Сумасшедший, когда новобранцы и хамал прошли мимо и скрылись.— Бедные, несчастные люди! — продолжал он, показывая на толпу.— Ведь сегодняшнее происшествие — это и есть самая настоящая борьба между

Хафызом Эйюбом и вами... Как легко вас превратили в послушных, даровых сообщников. Собрались... покричали... А если б вам приказали, вы так же задарма, так же покорно передружили бы друг друга... Страшно!.. Страшно потому, что так было всегда... И мы умирали, умирали, не понимая за что, зачем... Мужайся, Доган-бей... Вся надежда только на твою школу!

Глава восьмая

Прокладка нового проспекта дошла до злополучного медресе и приостановилась.

Теперь софты, поручив охрану своего здания святому деду с дубинкой, никого и ничего не боялись. Пожалуйста, приглашаются все желающие. Если кому охота отведать дубинки, а потом валяться без чувств посреди улицы и мычать, как телёнок: «Спася аллах!» — милости просим! Берите лопаты и приходите!

Около медресе по-прежнему толпились муллы. Они гордо расхаживали, выпятив грудь, облачённую в ватный жилет, засунув руки в шаровары, и с самодовольным видом и даже ехидством наблюдали за строительством дороги.

Перед лицом рассерженного общественного мнения городская управа решила отступить и воздержаться от разрушения медресе. В конце концов если и сузить немного в этом месте проспект — светопреставления не будет.

Через неделю после происшествия на строительство прибыл сам инженер городской управы, чтобы лично наблюдать за прокладкой дороги. Надо сказать, что Неджиб был мастером на все руки, он всё умел: и класть стены, и штукатурить, и плотничать, и малярничать. Если инженер видел, что делают не так, как нужно,— а был он человеком очень требовательным, — он тотчас лез на крышу, на леса и, выхватив инструмент из рук рабочего, начинал учить его, показывать то, чего люди не умели. И любо-дорого было смотреть, как инженер работает...

В этот день Неджиб оделся по-рабочему. Он взгромоздился на каток, недавно приобретённый управой, и, пустив лошадей, принялся укатывать дорогу...

Катастрофа произошла как раз в то время, когда муэдзины пропели эзан, призывающий к полуденной молитве. Инженер неудачно вывернул, и каток всей своей тяжестью налетел на ветхую, еле державшуюся на подпорках стену медресе. Здание угрожающе затрещало, часть стены обрушилась, полопались стёкла, и с покосившейся крыши посыпалась черепица. К счастью, большинство софт отправилось в соседнюю мечеть для совершения намаза. Из густых облаков пыли, окутавших здание, выскочило несколько человек. С криками: «Аман! Спаси, о аллах!» — они кинулись врассыпную, размахивая полами своих джуббе, словно подбитыми крыльями. Со всех сторон на грохот обвала сбегались люди.

В этот момент появился комиссар с несколькими полицейскими. Неджиб Сумасшедший, увидев его, замахал окровавленным платком — бедняга во время катастрофы расшиб себе подбородок.

— Осторожно, здесь опасно! — кричал он комиссару. — Здание сейчас обвалится. Не подпускайте народ...

Полицейские сразу же оцепили медресе. Из мечети прибежали перепуганные софты и, кинувшись к медресе, пытались прорваться через кордон, отчаянно вопя: «О боже! Там наши вещи... книги... деньги...» Но полицейские, толкая софт в грудь, сумели оттеснить их назад.

Инженер городской управы спешно составил рапорт: «В результате несчастного случая здание медресе сильно повреждено, частично обрушилось. В таком состоянии оставлять нельзя: возможны обвал, человеческие жертвы. Здание необходимо срочно снести». Покончив с формальностями и отправив рапорт по назначению, он отдал распоряжение тотчас же приступить к делу. Ещё до наступления вечера двери и рамы в медресе были сняты.

В ту же ночь Шахин-эфенди устроил для своего товарища роскошное угощение. Неджиб Сумасшедший, несмотря на боль и повязку, мешавшую ему раскрывать рот, большущей деревянной ложкой уплетал халву и, посмеиваясь, говорил:

— Несчастный дед с дубинкой остался на ночь без крова. Как бы не пошёл дождь, а то бедняга промокнет... Из-за пыли я толком не разглядел, кто меня ударил. Уж не он ли? Во всяком случае, мы дёшево отделались... Ну как тебе, Доган-бей, моя политика понравилась? Ай да мы! Три человека весь город перехитрили... А каково Ходже Эйюбу, опять на мель сел!.. Да здравствуем мы!..

— Ты забыл комиссара Кязыма-эфенди, — напомнил Шахин. — Нельзя отрицать его заслуг. Он так нам помог.

— Что ж, будем считать его союзником наполовину, — согласился

Неджиб. — Он, конечно, не такой человек, чтобы действовать с нами заодно, во все тайны не станем его посвящать, но иногда он может нам пригодиться.

У комиссара Кязыма-эфенди сын учился в классе Шахина. Намык, так звали мальчика, был большим озорником. Это был живой и смышлённый ученик, его пытливый ум упорно стремился к знаниям. Бурлившая в нём энергия была через край, словно родник, вызывая вспышки беспричинной радости. Прежний учитель ни побоями, ни угрозами не смог запугать ребёнка и погасить в нём любознательность: он не сумел приучить Намыка к тупой покорности и бессмысленной зубрежке, поэтому без конца жаловался на него отцу. Для комиссара Кязыма-эфенди, человека простого, с трудом одолевшего премудрости грамоты, слова учителя были законом. Он легко поверил, что «из этого ребёнка ничего путного не выйдет», и колотил сына самым нещадным образом.

Как-то раз комиссар приволок к Шахину-эфенди своего сына, мальчик плакал навзрыд.

— Этот негодяй и бездельник притворяется больным и удирает из школы,— кричал комиссар,— а дома только балуется да гоняет лодыря... Даю тебе полную волю, ходжа-эфенди! Делай с ним, что хочешь: бей, кости ломай, пусть либо человеком станет, либо подохнет.

Лицо мальчика было пунцово-красным, под опухшими глазами синяки. Но больше всего учителя встревожило прерывистое дыхание ребёнка, и, пощупав у него пульс, Шахин сказал:

— Э-э... брат-эфенди, мальчонка и вправду болен. Комиссар нахмурился.

Какая там болезнь, упрямо возразил он. — Я негодника кнутом отдул, вот и вся болезнь...

При первом знакомстве с комиссаром Шахин решил, что перед ним грубый, бесчувственный и глупый служака, однако, поговорив с ним, он изменил своё мнение. В особенности поразило учителя, с каким упорством комиссар твердил: «Пусть мальчишка болен, но он должен учиться, а не бездельничать. Не могу же я, как женщина, согласиться, чтобы дитя росло неучем и лоботрясом, лишь бы здоровым было...»

Шахин умел разговаривать с простым народом, недаром он в юности странствовал, собирая подаяния и проповедуя слово божие. Он долго объяснял комиссару, что мальчик ничего не потеряет, если несколько дней посидит дома,— чего больной не успеет за год, то здоровый сделает за неделю... Правда, Кязым-эфенди в тот день так и не поддался на уговоры

Шахина, но эти слова пробудили в нём бессознательное уважение и доверие к новому учителю.

Со временем учитель и отец Намыка познакомились поближе. Комиссар частенько заходил в школу проведать сына. И каждый раз учитель беседовал с Кязымом-эфенди, втолковывая ему, что тот плохо знает своего Намыка, что мальчик за короткий срок сделал поразительные успехи и таким сыном должно только гордиться, а не бить его. И Кязыму-эфенди становилось стыдно, бедняга понимал, что он несправедливо наказывал мальчика, веря словам прежнего учителя...

Новое знакомство подсказало Шахину, что рамки его деятельности в Сарыова следует расширить: учитель начальной школы должен заниматься не только детьми малыми, но и большими, то есть родителями своих учеников.

Кязым-эфенди оказался человеком умным и честным, может быть, немного ограниченным и чересчур доверчивым — уж слишком он верил людям, которых звали богословами, и принимал за истину всё, что они изрекали. Но эта вера не исковеркала его здоровую натуру, не испортила простой нрав. Несколько слов правды оказалось достаточно, чтобы рассеять туман, царивший в голове Кязыма.

Время шло, и дружба между этими людьми крепла. С каждой встречей они находили всё новые темы для разговоров: сначала о воспитании детей, потом о тех проблемах, которые волновали страну и народ. Стоило Шахину-эфенди сделать какое-нибудь замечание в адрес ходжей или поделиться своими мыслями о духовенстве, как комиссар сразу веселел, хлопал в ладоши и восклицал:

— Смотри, брат, ведь и я такое замечал, ей-богу. Вот только не мог так складно это высказать, да и боялся...

Знакомство с комиссаром Кязымом окрылило Шахина. Он теперь увереннее смотрел в будущее.

Он говорил себе: «Наши душевные сомнения делают нас порой несправедливыми в оценках, заставляют смотреть на жизнь слишком мрачно. Мы твердим: софты разложили нацию, погубили наш народ. Однако болезнь проникла не так уж глубоко. Софты успели отравить сознание только тех, кого они учили грамоте, кого завербовали в свою армию. Но остальных, большинство нашего народа, у которого своих дел по горло, хлопот да бед всяких хватает, который живёт своим домом, своим миром, ведь на него-то глубокого влияния они не оказали. И врут те, кто упорно твердит, будто для того, чтобы разрушить старую идеологию, созданную веками, и утвердить новое мировоззрение, нужны столетия;

Ничего подобного! Наш народ, он ведь скорее похож на таких людей, как комиссар Кязым. И чтобы разбудить этих людей, чтобы спасти от страшных кошмаров, что снятся им и мучают, заставляя несчастных корчиться в холодном поту, достаточно только нежно коснуться рукой, слегка потрясти... И когда свет наступившего дня, свет нашей вселенной прорвётся сквозь закрытые веки, он разбудит сердца и озарит умы.

Нет, народ нашей страны никогда не страдал таким фанатизмом, как нам казалось,— мы всегда как-то преувеличивали его, поддаваясь беглым и поверхностным впечатлениям...

Избавиться от влияния софт, вырваться из их цепких когтей, конечно, трудно, но ведь народ всегда недоверчиво относился и к ним и ко всем их деяниям. Говорят, если светильники на гробницах угаснут, то дух народа погрузится навеки во мрак. Хорошо, пусть наступит тьма, но мрак не может быть бесконечным. Он рассеется, как только наступит рассвет, и вместе с утренним солнцем сердца людей озарятся новым светом, глаза их радостно заблестят, а кошмары прошлого станут всего лишь смутными воспоминаниями...

Если сравнить Кязыма и меня... Кязым — человек простой, из народа, так сказать — от земли; в отличие от меня он, наверно, никогда не яхшался с софтами... А вот когда надо, среди любой лжи, даже самой большой, Кязым сумеет отличить правду, пусть самую маленькую. Он сразу узнает её и протянет ей руку, как старому другу.

Значит, для того чтобы дети народа, самые способные, самые талантливые, умели искать и находить правду, не обязательно вести их по трудному пути — через вершины знаний, сквозь заросли софистики. Нет, всё гораздо проще. Настоящий руководитель и наставник может даже школьника научить различать истину и справедливость, достаточно курса начального обучения, чтобы воспитать детей полноправными гражданами своей эпохи.

В конце концов, вот такой Кязым-эфенди совсем не суеверен и не так уж набит религиозными предрассудками.

Мой откровенный разговор с ним совсем не испугал его, он всё понял, очень здраво рассудил и даже в самых важных вопросах оказался моим единомышленником... А я!.. То, что этот человек принял как самое естественное, я постигал ценой мучительных размышлений... Для меня это был настоящий бунт, и только потом наступало прозрение. Как же подобная революция могла столь быстро свершиться в голове простого человека? Как мог он так легко освободиться от глупейших фантазий, суеверий и

вековых традиций, так просто усвоить идеи современности?..

Всё дело, наверно, в людских головах,— только так можно объяснить подобную загадку. Одни от природы здоровы, и суеверия для них что болезни — заразятся, а потом вылечатся... У других же, как у меня, всё иначе... Свои лучшие годы я сгноил в тёмных, сырых кельях медресе... Во имя чего?.. А всё потому, что глупая мечта о вечной жизни заставила меня забыть о жизни настоящей, казавшейся мне слишком краткой и быстротечной...»

Кязым всё чаще заходил к Махину-эфенди и всё сильнее загорался идеей «новой школы». Последние события взволновали его, как и всех друзей. В неповиновении софту он тоже усмотрел интриги Эйюба-ходжи. Когда Шахин посвятил его в тайные планы Неджиба, Кязым обрадовался.

— Всей душой я готов помочь вам... Кстати, в эти дни я как раз буду обучать новобранцев. Мы договоримся, и я, будто невзначай, окажусь около медресе в сопровождении десятка полицейских. Мы быстро окружим здание и, не дав софтам даже пикнуть, разрушим его. Если со мной после этого и случится что-либо,— в обиде не буду. Больше помочь ничем не могу... Пусть и от нас для новой школы будет хоть маленькая польза.....

— А всё-таки надо было сегодня на вечер пригласить нашего нового союзника! — вдруг сказал Неджиб Сумасшедший, но тут же спохватился: — Аман, аман! Вот угодили бы. Уж тогда наверняка обратили бы на нас внимание. А ведь мы самый настоящий заговор устроили: и революционная организация, и революционные действия. Полиция у нас своя, учителя свои, технический персонал свой — всё готово! Как бы не пронюхали...

Глава девятая

Дня через два Шахин на базаре встретил Хафыза Эйюба. Сухие длинные пальцы софты крепко пожали руку учителя.

«— Участок-то освободили, да поможет вам аллах... Неджиб Сумасшедший хоть раз в сто лет умное дело сделал... Я так боялся, чтобы из-за упрямства учащихся, упаси господь, несчастья какого-нибудь не случилось...

Шахин-эфенди поблагодарил хафыза, стараясь держаться как можно

непринуждённое. «Плохой признак! — подумал учитель, когда они расстались.— Как этот тип умело притворяется. Уж больно он весело своё поражение признал, не иначе, во мне настоящего противника увидел... До сих пор он пытался только отстранить меня от учительства, теперь будем ждать объявления открытой войны...»

Собственно говоря, Шахин сразу не понравился Хафызу Эйюбу. Как он мог доверять бывшему софте, который неизвестно по какой причине оставил медресе рада учительского института, да ещё чалму сбросил.

В особенности Хафызу пришлось не по вкусу то, что с Шахином начали считаться многие богословы-улемы. Поэтому он резко изменил своё отношение к новому учителю, которого встретил так высокомерно в первый день в кабинете начальника отдела народного образования. Теперь Хафыз Эйюб всячески старался подчеркнуть своё расположение к Шахину.

Как-то, встретив Шахина, он вдруг сказал ему: — Свет очей моих, я, право, поражён твоей учёностью и талантами. Не можешь же ты всю жизнь быть учителем начальной школы — не бери греха на душу,— это просто преступление и перед собой, и перед государством. В медресе Сипахизаде есть дряхлый старец по имени Зихни-эфенди, толку от него уже никакого... Сипахизаде — одно из самых богатых медресе в Сарыова. Я постараюсь сделать тебя там мюдеррисом. И ты от этого выгадаешь, и стране польза. Если желаешь, могу о тебе поговорить с кем нужно. Сделать доброе дело — для меня одно удовольствие.

Шахин выразил благодарность Хафызу Эйюбу за столь великую любезность и неожиданное покровительство, потом, смиренно склонив голову, сказал:

— Судьбе не было угодно, чтобы я получил диплом медресе. И, кроме того, ваш покорный раб принадлежит к числу тех, кто знает свой предел. Я достаточно хорошо представляю себе степень собственных знаний и своих возможностей и о таких высоких постах не смею мечтать. Быть учителем начальной школы для скромного бедняка, как я,— великая честь. Недаром говорится: «Всяк сверчок знай свой шесток».

После этого разговора Шахин-эфенди понял, что Эйюб-ходжа что-то затевает. Но всю хитрость этой ловушки он раскрыл лишь тогда, когда узнал, что на место старого, выжившего из ума мюдерриса в Сипахизаде претендует некий ходжа по имени Ариф-эфенди. Разницы между старым мюдеррисом и Арифом-эфенди не было никакой; разве что последний был моложе на несколько лет. Но этот человек оказался уроженцем Тиквеша, то есть земляком Джабир-бея, а по некоторым слухам, приходился ему даже дальним родственником.

Эйюб-ходжа, наверно, рассчитывал, что шансов на удачу у Шахина почти никаких, но, поскольку он станет конкурентом ходжи из Тиквеша, Джабир-бей обозлится и отношения между ним и старшим учителем школы Эмир-дздэ окончательно испортятся. После неизбежного конфликта учитель вряд ли сможет удержаться в Сарыова, если только не станет искать покровительства у ходжей, а это значит погубить себя навсегда. Если же Шахин всё-таки выиграет партию (а шансов у него один из ста), он вынужден будет вернуться в сословие улемов, и тогда уже рта не посмеет раскрыть. Больше того, возвращение учителя в лагерь богословов будет означать подрыв авторитета ответственного секретаря.

Когда первая попытка не увенчалась успехом, Хафыз Эйюб предпринял новую: он решил женить Шахина на дочери одного имама, владельца сада и виноградника.

— Свет очей моих,— говорил он вкрадчивым голосом Шахину,— сердце болит, господь тому свидетель, когда смотрю, как ты, неприкаянный, маешься. Человек ты талантливый, истинная обитель высоких познаний, а ютишься в школе, в жалком углу. Разреши, я буду тебе названным отцом. Женю тебя. У меня на примете есть кое-кто. Тесть у тебя будет весьма зажиточный, честный и скромный. От житейских забот избавишься. Право, останешься доволен. Ещё молиться за меня будешь...

Эйюб-ходжа хорошо разбирался в психологии людей: раз человек погряз в семейных делах, обзавёлся детьми, то, каким бы он самоотверженным и решительным ни был, он связан по рукам и ногам и, подобно волку, попавшему в капкан, не в состоянии будет шевельнуться.

Эту хитрость Шахин разгадал сразу и предложение Хафыза Эйюба отклонил с великой любезностью.

— Слабый я человек, ничтожный... Ведь говорят: лиса и так в дыру пролезть не может, а тут ей ещё на хвост тыкву нацепили. Как можем мы жениться... Вы для меня и вправду что отец родной. А если вы признательности моей ждёте за благодеяния, которые хотите для меня сделать, я готов их хоть сейчас вам выразить...— Шахин простёр к небесам руки, моля аллаха ниспослать Эйюбу-ходже долгие годы счастливой жизни.

Когда и вторая попытка провалилась, Хафыз Эйюб решил действовать через посредника, чтобы не вызывать подозрения у Шахина. На этот раз учителю предложили купить сад по очень дешёвой цене, а в случае отсутствия денег обещали дать в долг за ничтожный процент.

Шахин расхохотался в лицо тому, кто пришёл к нему с этим предложением.

Да, Хафыз Эйюб-эфенди был страшным человеком! Как умело он

играл на человеческих слабостях. Сначала он хотел соблазнить властью, служебным положением. Когда это не удалось, он обратился к притягательной силе женщины. Видя, что и это средство не помогает, он расставил новую западню — деньги, имущество... Ведь для Шахина-эфенди влезть в долги, которых он никогда не сможет выплатить, значило попасть в плен к муллам, сдаться на милость победителей. «Слава аллаху, я рос и воспитывался в медресе,— думал Шахин,— уж софт-то я изучил как следует. Будь я наивным юношей, я бы, конечно, сразу попался, и они меня быстро бы окрутили». После событий в медресе Хафыз Эйюб понял, что Шахин является достойным противником. Теперь надо было ожидать, что ходжа мобилизует все средства лицемерия и хитрости, на какие он только способен, чтобы начать новое наступление на учителя школы Эмирдэдэ.

Шахин-эфенди решил действовать ещё осторожнее. Но всякой осторожности есть свой предел. Революционер должен всё время продвигаться к намеченной цели, всеми силами добиваться осуществления поставленной задачи, и, как бы он ни был осторожен, цели и задачи его с каждым днём становятся всё более отчётливыми и явными. И когда то великое дело, которому он посвятил себя, начинает претворяться в жизнь, скрыть его уже никак нельзя...

Глава десятая

В газете «Сарыова» появилась очередная передовая статья, написанная мюдеррисом Зюхтю-эфенди. Она была озаглавлена: «Долг уважения к чалме». В заключение учёный мюдеррис писал: «Если флаг — символ государства, то чалма является символом религии. Подобно тому, как уважение, оказываемое государственному флагу, надо считать нашим долгом, таким же долгом должно быть и почтительное отношение к чалме. К сожалению, некоторые легкомысленные глупцы не оказывают должного уважения чалме. Но нельзя винить во всём только этих людей. И если чалма подвергается оскорблениям, то за это несут ответственность в такой же степени и уважаемые, почтенные улемы. Получается так, что каждый, у кого только есть несколько аршин батиста, наматывает себе на феску чалму и, не утруждая себя приобретением необходимых добродетелей и совершенств, вступает в ряды улемов. Так продолжаться больше не может.

По всей вероятности, было бы неразумным производить в настоящее время очищение рядов чалмоносцев от недостойных, но подвергать испытаниям, пусть даже небольшим, тех, кто собирается надеть чалму, совершенно необходимо».

Когда утром Шахин прочёл эту статью, он пришёл в восторг:

— Да здравствует Зюхтю-эфенди! Вот он, тот долгожданный повод, и мне его преподносят собственными руками богословы.

Зюхтю-эфенди можно было часто встретить в учительском собрании, где он обычно присутствовал на лекциях и на докладах. «Я счастлив,— любил говорить господин мюдеррис,— что могу общаться с просвещённой молодежью — опорой и надеждой родины и государства...»

В действительности же главной целью его посещений было желание держать учительское общество под своим контролем, чтобы воспрепятствовать проникновению новых идей в среду передовых учителей начальных школ и гимназий. До известной степени Зюхтю-эфенди удавалось достичь желаемого: даже тогда, когда почтенный мюдеррис собственной персоной не присутствовал в собрании, его величественный призрак царил над всеми, и если среди учителей и возникали горячие споры, дискуссии патриотического или националистического характера, они тут же гасли, ибо в такой атмосфере никакая искра не могла вспыхнуть пламенем.

Шахин-эфенди возлагал большие надежды на учительское общество, полагая, что именно в нём он найдёт своих союзников. Однако, продолжая регулярно посещать собрание, от решительных выступлений он пока воздерживался, чтобы исподволь подготовить для себя сильные позиции. Дня через два после появления статьи в защиту чалмы, Шахин, встретив Зюхтю-эфенди в учительском собрании, стал превозносить до небес и статью, и её автора.

— Жалкая кучка клеветников и лицемеров, — говорил Шахин, обращаясь к достопочтенному мюдеррису, — уже давно испортила отношения между богословами-улемами и молодой интеллигенцией, подготавливаемой в государственных школах. Ваша мудрость самым блестящим образом доказывает в статье, что все люди братья, все они путники, идущие одной дорогой,— и те, кто носит чалму, и те, кто носит феску,— все должны по-братски, рука об руку идти к общей цели.

Мюдеррис Зюхтю-эфенди сидел, как всегда, в своём кресле в углу. Внимая словам старшего учителя, он улыбался, от удовольствия растянув рот до ушей, и был похож па павлина, распутившего перья.

После столь удачного предисловия Шахин продолжал: —

Досточтимый учитель, вы — наш благодетель, светоч знаний наших... Мы всегда черпаем силу и знания в ваших советах и наставлениях, зовущих нас на путь истинный... Но, право же, совершенно недостаточно, чтобы ваши мысли оставались запечатлёнными только на страницах газеты или в душе и головах ваших признательных почитателей. Высокие идеи ваши должны немедленно же воплощаться в действительность, а это может быть произведено только скромными усилиями ваших покорных слуг. Вашей просвещённой милости, конечно, известно, что не могут быть все люди в стране учёными и богословами. Но если в своих мыслях и поступках все люди будут следовать по стопам и под руководством наших уважаемых улемов, то такая страна, состоящая, я бы сказал, из одних улемов, будет шагать по пути благоденствия и спасения... Ещё некоторое время Шахин-эфенди разглагольствовал в таком же духе, чтобы отвести глаза некоторым учителям-чалмоносцам, глупости и вздорности которых он боялся гораздо больше, чем самого Зюхтю-эфенди, потом вдруг сделал следующий вывод:

— Считаю совершенно неправильным, что на голову ученика начальной школы наматывают чалму. Прежде всего, ребёнок — существо неразумное, само не ведает, что творит. У него на голове чалма, а он по земле катается, в грязи возится или же дерётся с товарищами. Таким образом, в глазах детей чалма теряет своё значение и достоинство... Чалма — это символ привилегии, а любую привилегию надо заслужить, в данном случае успешными занятиями и прилежанием... Повязывать чалмой мальчика, только что начавшего учиться,— всё равно, что выдавать ему диплом в день поступления в школу.

Тут Шахин-эфенди заметил, что несколько учителей, носивших чалму, взволнованно перешёптываются, и поторопился закончить свою речь:

— Я не говорю, что ученик начальной школы не может носить чалму. Совсем не так. Я хочу сказать, что мы, учителя, должны разрешать носить чалму лишь самым прилежным и благовоспитанным ученикам, и только после испытаний и экзаменов — как признание их заслуг. Таким путём, во-первых, в школах будет создана категория учеников избранных, имеющих право носить чалму, во-вторых, это явится каким-то стимулом для других детей.

Если вначале Зюхтю-эфенди слушал Шахина с видимым удовольствием, то теперь от столь неожиданного вывода он растерялся и, не зная, что сказать, попытался закончить разговор, отделившись несколькими туманными фразами. Но Шахин опять очень удачно истолковал неопределённость ответов уважаемого мюдерриса в свою пользу и вторично похвалил Зюхтю-эфенди.

Старший учитель школы Эмирдэдэ рвался в бой: немедленно, прямо со следующего дня он уже хотел приступить к делу. Но первый пыл прошёл, и им овладело раздумье. «Нет, торопиться не следует,— подумал он,— Денька два надо подождать, послушать, что вокруг говорят. Бессмысленной поспешностью можно погубить великое дело — этого я не прощу себе до конца жизни...»

Только потом Шахин понял, насколько он был прав, вспомнив об осторожности. Оказалось, многие только и ждали, когда учитель Эмирдэдэ начнёт осуществлять свои идеи. Ему стало известно, что в его же школе один из учителей сказал: «Боюсь, как бы чалма, которую Шахин-эфенди хочет снять с учеников, не связала его самого по рукам и ногам».

Теперь Шахин стал лучше различать своих противников. Прежде всего, это были те учителя-ходжи, которые не могли примириться с тем, что он когда-то сбросил чалму. Потом, конечно, софты; несмотря на величайшую осторожность Шахина, они находили подозрительными и его самого и образ его мыслей. Наконец, учителя квартальных школ. Среди них особенно враждебно был настроен некий Долмаджи-ходжа.

В такой обстановке достаточно было какого-нибудь недоразумения, и пустяковое разногласие с родителями или опекунами учеников из-за чалмы превратилось бы в настоящую катастрофу.

Но ничто уже не могло остановить Шахина-эфенди, он был полон решимости спасти детей от ноши вредной и опасной. Проявляя чудеса хитрости, он медленно и упорно продвигался к намеченной цели.

Как-то старший учитель собрал своих учеников, на головах у которых красовались грязные и старые чалмы, и сказал им:

— Дети, в такой чалме ходить нельзя. Это кощунство, самое настоящее оскорбление нашей веры... Неужто в сердцах родителей ваших иссякло благочестие? Бога они не боятся, что ли? А ну, отправляйтесь по домам, живо. Пусть вам сменяют чалму! — С этими словами он отослал детей по домам.

Когда на следующий день ученики явились в школу в более или менее чистых чалмах, Шахин-эфенди нашёл другой предлог:

— Дети мои... Кто носит чалму, должен также обращать внимание и на свою одежду. Старое и рваное платье позорит священную честь чалмы! Так и скажите вашим отцам. Пусть не посылают вас в школу в таком виде...

Старший учитель был, конечно, прав. Как и военная форма, платье чалмоносцев должно быть чистым и аккуратным. Против столь очевидной истины трудно что-нибудь возразить. И поэтому в семьях более или менее состоятельных предписания Шахина-эфенди выполнялись, но многим

родителям бесконечные придирки старшего учителя быстро надоели, и они попросту сняли с детей чалму.

Шахин-эфенди не ограничился только этими мерами. Теперь дети, которые носили чалму, уже не могли играть и шалить, как раньше. Учитель был строг и не прощал им самой пустяковой провинности.

На головах у вас, дети, чалма, и вы считаетесь как бы улемами-богословами...— говорил Шахин строгим голосом. — А вы что делаете? Разве прилично духовным лицам играть в бабки да бегать наперегонки, валяться в грязи и пыли? Вот садитесь-ка здесь в уголке сада и сидите спокойно,— и усаживал детей рядышком вдоль стены...

Принятые меры вскоре дали свои результаты: число детей, носящих чалму, сократилось вдвое. И Шахин испытывал глубокую радость, видя, как ещё один ученик приходил без чалмы, и втайне праздновал победу, когда вместо смешной и жалкой карикатуры на старика вдруг появлялся смышлённый и милый мальчонка, — всё это напоминало удивительное превращение унылого кокона в весёлую яркую бабочку.

Глава одиннадцатая

Джабир-бей, как и Зюхтю-эфенди, занимал в учительском обществе весьма важное положение. Ответственный секретарь иногда любил заглянуть туда под вечер и, как он говорил, по-дружески побеседовать с братьями учителями. В противоположность Зюхтю-эфенди, который откровенно стремился завоевать авторитет и льстиво твердил, что он всегда извлекает пользу из этих встреч и с радостью учится у молодых учителей — надежды матери-родины, Джабир-бей громогласно и высокомерно повторял, что хочет «сам просветить солдат армии просвещения и готов быть для них фельдфебелем». У Джабир-бея в обществе была своя партия, состоявшая, главным образом, из переселенцев с Балкан. Все они очень походили на своего вождя, изображая, так сказать, Джабир-бея в миниатюре: одевались, как и он, так же громко и отрывисто разговаривали, повторяли в школах те же басни о зверствах, какими их пичкал на всех собраниях и во всех своих выступлениях Джабир-бей во имя «пробуждения нации».

Эта партия была шумной, ужасно крикливой, даже буйной.

Приверженцы Джабир-бея без конца разглагольствовали о любви к нации, о жестоком враге, священной мести и непримиримости к фанатизму. Желая внушить кому-нибудь свои идеи и намерения, они так отчаянно кричали, сердились, багровели, скрежетали зубами, стискивали кулаки, словно собирались учинить драку. Если попадались противники, не желавшие сразу же соглашаться и принимать на веру изрекаемые истины, они кидались на них чуть ли не с кулаками.

— Выбросим на свалку протухшую философию прошлого, все прогнившие мыслишки!, — кричали молодцы Джабир-бея.— Если мы не опомнимся и не переделаем пустые головы наших соотечественников, беспощадная Европа пообрыгает их нам, словно груши!..

И тут они делали угрожающие движения, будто действительно намеревались оторвать у собеседников их отсталые головы и заменить новыми.

Между пылкими сторонниками партии «насильственного пробуждения» и учителями-софтами иногда происходили словесные стычки. Однако всё заканчивалось благополучно, ибо у лидеров партии Зюхтю-эфенди не было оснований бояться своих крикливых противников.

Ведь расхождения были чисто внешние, в каких-то незначительных деталях. Разве мнимые противники не сошлись в главном? Разве не были они путниками одного пути? Пусть юные просвещенцы кричат о свете и культуре, но главное — Европа для них самый жестокий враг. Поэтому они клянутся быть вместе с мусульманами всего мира, поэтому они готовы умирать на фронтах священной войны полумесяца против креста! Так чего же бояться пантюркизма этих юношей, которые, собственно говоря, всегда в руках исламистов^[54].

Такого же мнения придерживался и Шахин: охотничьи куртки и обмотки этих учителей ему нравились не больше, чем шаровары и чалмы софт. Но старшему учителю Эмирдэдэ также не по душе были и принципы их воспитания: если ходжи забыли о человеческом существе, то есть о теле, называя его «сосудом скудельным», то эти только и кричали: «Мускулы, руки, ноги, лёгкие!» — и старались превратить детей в живые механизмы, приводимые в движение двумя поршнями: верой и местью. Шахин считал, что все рассказы пантюркистов о зверствах христиан: как у мусульман выкалывают глаза, в рот заливают свинец, жарят на огне... и тому подобное — столь же вредны и бессмысленны, как и рассказы софт об аде и адских мучениях.

Как-то на одном из вечеров в собрании у Шахина-эфенди завязался спор с молодым учителем, преподавателем гимнастики. Всё началось с

шутки. Этот учитель, уроженец Ускюба, заявил:

— Я панисламист и нантюркист: для меня религия неотделима от нации.

В ответ Шахин-эфенди шутливо заметил:

— Логика, принятая в наших медресе, утверждает: предмет может быть или хаджер, или ляхаджер, что означает: каждая вещь является либо камнем, либо его противоположностью. Если эта вещь хаджер, то она никак не может быть ляхаджер, и наоборот. Среднего не дано.

Учитель гимнастики рассердился и обрушился на все законы логики, изучаемые в медресе.

Шахин-эфенди спокойно и внимательно выслушал его.

— Вы знаете, в этом пункте я с вами полностью согласен,— сказал он улыбаясь.— Но, отвергнув логику медресе, вы ещё не опровергли мои возражения. Прошу вас ответить мне на один вопрос. Поверьте, я спрашиваю вас совсем не потому, что сомневаюсь в вашей искренности, а просто из любознательности. Представим себе, что сошлись в бою две армии, одна состоит из людей нетурецкой национальности, но наших братьев по религии, скажем, индусов, китайцев, яванцев; другая же — из наших братьев турок, но не мусульман. Теперь допустим, вам нужно оказать помощь одной из этих армий. К какой стороне вы бы присоединились?

Молодой учитель, не зная, что ответить, сердито воскликнул:

— Да такого и быть не может!..

— Если вы окажете помощь туркам-немусульманам,— в том же шутливом тоне продолжал Шахин-эфенди,— значит, вы всего лишь националист. Если же примкнёте к мусульманам-нетуркам, значит, вы исламист. Или то, или другое... А ведь если бы я спросил кого-нибудь из наших друзей ходжей, знаю, он бы без колебания ответил: «Конечно, к мусульманам!» Значит, их цели более ясны...

Учитель из Ускюба и его товарищи так и не нашли подходящего ответа и ужасно рассвирепели.

Однако Шахин-эфенди, не желая рисковать, счёл за благо прекратить спор.

— Я хотел только пошутить,— сказал он.— Впрочем, надо признать, что все эти проблемы не так уж просты, как может показаться на первый взгляд...

В учительском собрании Шахин-эфенди, пожалуй, особенно внимательно приглядывался к учителям гимназии. Ведь большинство

детей, которых он сейчас воспитывает у себя в школе, должны перейти к этим учителям. Именно в руках этих людей находятся судьбы тех, кто должен составить класс избранных, будущих хозяев Сарыова, кто рано или поздно получит право управлять городом. И если гимназия окажется не в состоянии воспитать новое поколение достойным этих высоких задач, значит, и его собственные усилия, в конечном счёте, пойдут прахом. Такие мысли возникали невольно, когда Шахин разговаривал с учителями гимназии. А доклад, сделанный однажды директором гимназии Талиб-беем в обществе учителей, привёл Шахина просто в ужас. Доклад был посвящён теме «Современное состояние науки о душе». Бывший воспитанник Галатасарая, как и следовало ожидать, начал с пространных рассуждений о Европе, о Франции.

— Во Франции существует знаменитое общество Аллана Кардека^[55]... В результате многочисленных научных опытов, проведённых учёными этого общества, точно установлено наличие в человеке души... Это открытие полностью совпадает с теми бесспорными истинами, которые были утверждены нашими богословами ещё много веков назад. Так, вместо научного доклада Талиб-бей стал рассказывать басни о спиритизме, о загробной жизни, о духах и душе, уснащая свою речь именами каких-то европейцев. — Кто сомневается в наличии души, кто считает людей существами бездушными — болванами, того нужно с божьей помощью хорошенько стукнуть кулаком, а если он спросит: «Чего дерёшься?» — заткнуть ему глотку ответом: «Коль я бездушный чурбан, так чего же на меня обижаться?»

Директор гимназии продолжал вещать в том же духе, пересыпая свой доклад грубыми словечками, плоскими остротами.

Шахин-эфенди тихонько шепнул сидевшему рядом с ним Расиму:

— Ведь такую лекцию я должен был бы услышать, ещё когда в медресе учился. — Потом, помолчав, добавил с горькой усмешкой: — Впрочем, наши муллы говорят куда убедительнее... Да и знают они больше и в логике сильнее. Но что толку, если сами принципы никуда не годные. А ведь подумай-ка, Расим, этот человек начинал свой доклад с заявления: «В Галатасарае мы получили почти европейское образование».

После того как старые философы ислама и современные европейские учёные были приведены к одному знаменателю и как следует перетасованы, Талиб-бей коснулся движения за обновление и реформы, упомянув, что страна уже пробудилась ото сна. Затем он заявил, что последняя война была войной креста и полумесяца, и стал рассказывать о

зверствах балканцев. Тут он остановился, не зная, как свести концы с концами.

— Странно, у меня такое впечатление,— заметил Шахин,— будто взяли Зюхтю-эфенди и Джабир-бея, сначала разложили на составные элементы, потом смешали вместе и получили какое-то новое вещество, называемое Талиб-беем. По своим знаниям и по общему развитию ему далеко до Зюхтю-эфенди. И в своём националистском рвении он просто щенок перед Джабир-беем. Тот хоть, по крайней мере, говорит то, что чувствует, а этот только бледно копирует его...

Не лучше обстояло в гимназии и с учителями. Многие были всего лишь жалкими карикатурами на софт. Ещё как-то выделялись бывшие воспитанники учительских институтов; хоть и они получили довольно поверхностное образование, но всё-таки преподавали географию, математику, естествознание — науки точные и полезные. Среди них попадались способные, даже талантливые молодые люди. Только некоторые придерживались чересчур крайних взглядов, и поскольку они действовали открыто, не скрывая своих убеждений, то в глазах народа слыли сумасшедшими и безумцами, безнравственными безбожниками. Поэтому в трудном, серьёзном деле положиться на них было просто невозможно. Одним словом, в этой громадной школе оказалось всего лишь двое-трое учителей, на которых можно было рассчитывать.

Впрочем, на этот счёт Шахин придерживался особого мнения и от столь печального вывода в отчаяние не впал. В подобных делах, полагал он, количество не играет первостепенной роли,— один разумный, сознательный человек, черпающий силу в собственной правоте, верящий в справедливость, способен подчинить своему влиянию целую толпу и повести её за собой.

Глава двенадцатая

Уже полгода Шахин-эфенди трудился конспиративно. Он намеревался действовать таким образом и впредь, пока не укрепит хорошенько свои позиции в Сарыова.

Никто не видел его в истинном свете, никто не мог составить определённого мнения ни о его принципах, ни о целях. Ему всегда

удавалось, и всегда с успехом, держаться в стороне, в тени. Без надобности он никогда не выступал в открытую, не рисковал и не позволял себе увлекаться.

Даже Эйюб-ходжа не мог высказать о нём законченного суждения. Если Шахин замечал, что какой-либо поступок его вызывает подозрение, он тотчас же делал крутой поворот, совершал обходный манёвр и представал перед своими противниками совсем не таким, каким его считали...

В разговорах со своими друзьями Шахин-эфенди часто замечал:

— Чтобы одолеть Эйюба-ходжу, у нас нет другого средства, вот и приходится прибегать к его же тактике. Что поделаешь?

Даже Неджиб Сумасшедший, глядя на него, стал вести себя гораздо осторожней и предусмотрительней.

Но неожиданно произошли события, которые вынудили Шахина с открытым забралом ринуться в бой,— он не мог больше прятаться, надо было сражаться в открытом поле. К счастью, за это время Шахин сумел подготовить резервы и найти себе достойных помощников.

Однажды вечером Шахина-эфенди пригласили на праздничное собрание хафызов; ученик, только что окончивший обучение, приобщился к славному ремеслу чтецов Корана. Счастливец оказался старший сын одного бедного старого квартального имама. Юный хафыз когда-то учился в школе Эмирдэдэ; года полтора назад мальчика взяли из школы и отдали к почтенному Рахиму-эфенди, человеку весьма раздражительному и вспыльчивому, которого боялись не только его ученики, но даже пожилые бородатые соседи. Когда учитель опускал свою увесистую палку на голову ученика, уличённого в лености или шалости, он забывал, что перед ним тоже создание аллаха. Короче говоря, Рахим-эфенди слыл великим мастером своего дела.

Маленький Ремзи был одним из лучших учеников: даже Хафыз Рахим говорил, что он способен всё запомнить. И когда старательность ребёнка соединилась с чудодейственной силой, заключённой в палке учителя, из озорного и упрямого ученика начальной школы получился покорный, благовоспитанный хафыз. Однако последнее время здоровье мальчика почему-то стало ухудшаться; он худел, часто падал в обморок, у него носом шла кровь.

Собрание хафызов напоминало пышную свадьбу. Жители квартала помогли своему старому имаму, кто чем мог,— справили мальчику новое платье, приготовили изысканные кушанья для приглашённых...

Так как дом имама был слишком мал, то один из местных богачей

разрешил обществу собраться в его особняке.

На этом именитом собрании Шахин-эфенди встретил многих знатных людей городка, крупных чиновников и, конечно, всех сладкоголосых хафызов и улемов Сарыова.

Среди гостей расхаживал виновник торжества в белой чалме, шитой золотом. Мальчик выглядел больным. Шахин-эфенди заметил, как иногда маленький хафыз, откинув голову, прислоняется к стене, глаза его закатываются, лицо бледнеет. Наверно, он волнуется от радости и гордости...

Вдруг, совершенно неожиданно, переступая через порог одной из комнат, мальчик пошатнулся, словно споткнулся обо что-то, преклонил колено и стал падать. Со всех сторон сбежались гости, подняли юного хафыза на руки. Он был без сознания, лицо смертельно бледное, ни крошки, прозрачное и восковое. Мальчик улыбался, словно во сне...

Брызнули водой в лицо,— он как будто ожил, разжал губы, и тоненькая струйка крови поползла на подбородок.

— Ничего! — проговорил кто-то.— Ударился о дверь, когда падал, наверно, зубы разбил...

Мальчика уложили на диван, омыли лицо, вытерли рот, дали понюхать лимон, растёрли ему виски и кисти рук одеколоном. Но маленький хафыз не приходил в себя. Иногда он глухо кашлял, и кровотечение усиливалось. Наконец решили мальчика отправить домой. Какой-то здоровяк взял его на руки и осторожно понёс, как маленького ребёнка... Старого имама обступили гости, ходжи и улемы Сарыова жали руки, гладили ласково по плечу. У бедняги со страху отнялся язык.

— Всё будет хорошо, пусть немного отдохнёт,— утешали его,— По милости бога, всевышнего и всемогущего, придёт в себя...

Бог дал, бог и взял...

Через три дня маленький хафыз скончался. С помощью прихожан и местных богачей были устроены торжественные похороны. Вся знать, все улемы и крупные чиновники города собрались к ветхому домику старого имама. Такой чести могли удостоиться, наверно, не многие родители... И старый имам, вместо того чтобы в уединении оплакивать смерть своего сына, должен был падать ниц, простирать руки к небесам, благодарить и благословлять аллаха за великую честь, оказанную ему...

Маленький хафыз стал райской птичкой! В тот вечер, когда он должен был впервые читать Коран, вступив в ряды славных хафызов, господь бог рассудил по-своему: простил ему все грехи и возвёл в ангелы. Всемогущий аллах не хотел, чтобы мальчик осквернил душу свою и погряз в грехах

этого низменного мира, поэтому призвал его к подножью своего трона... И плакать по райской птичке — величайший грех...

Маленький хафыз ушёл. Он ушёл, чтобы приготовить отцу, матери и брату дворцы в райских садах. И его покровительство распространяется не только на родителей и родных, но и на всех правоверных, которые заполнили тесные улочки квартала.

Маленький хафыз — мученик-герой, павший за веру, старый имам — отец героя. Да разве многих рабов своих аллах удостоил столь превеликим счастьем и высокой честью?..

Между тем не только старый имам не способен был оценить беспримерное счастье, которое выпало на его долю. В доме находилось ещё одно существо, ещё более непонятливое и неразумное, — мать ребёнка.

Тело покойного вынесли из дома. Община простилась с маленьким хафызом и дала ему отпущение грехов. Когда траурная процессия, сопровождавшая гроб, убранный дорогими коврами, шёлковыми, тканными золотом покрывалами и увенчанный шитой серебром чалмой, стала величественно удаляться по направлению к кладбищу, раздался звон разбитого стекла. Со второго этажа неслись душераздирающие вопли женщины, заглушая величественные слова торжественной молитвы; кулаки, разбившие стекло, были в крови, одежда на женщине разодрана. Несчастная, судорожно извиваясь всем телом, порывалась выброситься из окна. Несколько женщин — их не было видно, мелькали только руки — старались удержать несчастную мать, пытались за руки, шею, даже за волосы оттащить её от окна. Звуки молитвы внезапно оборвались! Женщина, обезумев от горя, кричала:

— Дитя моё убили... дитя моё!.. Убийцы!..

Толпа заволновалась, остановилась в замешательстве. Раздались возмущённые голоса:

— Держите её!..

— Заставьте замолчать!..

— Уведите!..

И снова грянул хор: «Аллах экбер! Бог велик!..» — всё громче и громче, как будто эти слова могли заглушить крик потерявшей рассудок матери, её гневный протест против бессмысленной смерти, обращённый к престолу аллаха.

Женщинам наконец удалось справиться с матерью маленького хафыза. Куском материи закрыли от постороннего взгляда её растрёпанные волосы, заткнули рот, произносивший богохульные слова, с трудом отодрали окровавленные пальцы от рамы разбитого окна.

Похоронная процессия медленно двигалась вперёд. В толпе ещё возмущались недостойным поведением женщины, однако большинство людей уже сочувствовало ей:

— Да простит господь бог её прегрешения... — Что с неё взять, ведь женщина... — Всё-таки мать... Сердце болит...

— Помутился разум у несчастной, сама не понимает, что говорит...

Похоронная процессия свернула за угол, и голоса, славившие аллаха, стали удаляться.

Шахин-эфенди шёл вместе с Расимом в самом конце процессии. На углу он невольно остановился и долго смотрел на дом имама. Лицо учителя побледнело, осунулось, губы кривила горькая улыбка.

— Знаешь, Расим, несчастная женщина права,— сказал он неожиданно,— мальчика убили мы все... Да! да!., Я, ты, вот он тоже, все мы... все вместе.

Оторопевший Расим удивлённо смотрел ему в глаза. Старший учитель тихо продолжал:

— Да, Расим, бедная женщина права. Мы все убили — и я, и ты, и он... Все эти люди, шагающие за гробом. Кое-кто принял непосредственное участие в этом убийстве, кто-то действовал в силу своего фанатизма, невежества, тупости, а кто-то смолчал из трусости... Мы убили дитя! Раздавили его, возложив на слабые детские плечи непосильную тяжесть. А в этом возрасте мальчику расти бы и расти, набираться сил, и раскрылся бы он, расцвёл, как цветок, на свежем воздухе, под лучами солнца. Будь он покрепче, может быть, и не умер бы. Но всё равно погиб бы духовно. Угас бы его разум, и жил бы он, ничего не видя вокруг, ничего не ведая и не понимая, учёным дураком. Вот так, Расим, это мы убили несчастного мальчика... А сколько ещё таких же, похожих на него, погибли. И всё по нашей вине...

Маленького хафыза похоронили на городском кладбище. В главной мечети состоялось торжественное чтение Корана. А потом ходжи разошлись по домам, чтобы на сороковой день снова собраться на поминки.

Шахин-эфенди вернулся к себе в комнату, на верхний этаж школы. Он молча разделся, лёг в постель, но уснуть никак не мог.

В ушах его всё ещё раздавались крики убитой горем матери. И голос этой женщины разорвал в сознании Шахина-эфенди плотную завесу облаков и открыл перед ним новый горизонт. Женщина!.. С удивлением спрашивал он себя самого: «Почему до сих пор я не замечал значительную часть вселенной? Я забыл о созданиях порабощённых и безвестных, составляющих, быть может, добрую половину населения страны».

В целом свете Шахин знал и любил лишь одну женщину — свою мать. Впрочем, он даже сомневался, можно ли назвать его чувство любовью. Он понимал только, что ему всегда было жалко старую женщину, которую он видел вечно за работой,— несчастную женщину, не изведавшую в жизни ничего, кроме лишений и страданий.

Теперь легко вспоминать обо всём... А ведь когда-то было иначе: только уйдя из дому в горы, где он пас овец, Шахин мог вздохнуть полной грудью. Такое же чувство облегчения он испытывал, странствуя по деревням... А потом, уже в медресе, ему принесли однажды пожелтевший от времени конверт, весь истрёпанный и замусоленный — так долго он путешествовал из рук в руки. И когда Шахин вскрыл его, оттуда выпало письмо, край листа был закопчён. Увидев чёрную каёмку, Шахин не проявил особого волнения. Он даже не огорчился, лишь сокрушённо вздохнул.

— Царство ей небесное... Умерла несчастная мама... Вот и всё... И снова принялся за книгу, которая лежала у него на коленях,— прямо с того места, на котором только что остановился.

Да, горе как будто не отразилось на поведении Шахина, разве что дня два он чувствовал какое-то недомогание, как при лёгкой простуде, пропали обычные весёлость и аппетит, а затем и это прошло.

Но всё это было только внешне. Когда наступило время рамазана и молодой софта отправился странствовать по деревням, он вдруг почувствовал, что не испытывает больше радости, как раньше, и всё ему безразлично — и необходимость трудиться, зарабатывать деньги, и его проповеди,— ничто уже не доставляло прежнего удовольствия. В душе царствовала пустота, волю сковала какая-то необъяснимая апатия. И сколько Шахин ни думал, как ни пытался найти причины такого странного своего состояния, так ничего и не понял он тогда...

Сколько времени прошло с тех пор! Только теперь, этой ночью, Шахин-эфенди разгадал старую загадку: оказывается, единственной целью для него в этой жизни было желание помочь матери. И это было даже не желание, а обязанность, долг. Он всегда помнил, что, странствуя из одной деревни в другую, собирает подаяния не только для себя, но и для старой, больной женщины. Однако пришла смерть, не стало матери, и в целом свете не осталось близкого человека, которому надо было помогать. Отныне содержимое сумы и несколько меджидие^[56], что звенели за пазухой,— всё казалось ему бесполезным и ненужным грузом...

Несмотря на усталость, Шахин-эфенди никак не мог уснуть. Он ворочался в постели с боку на бок и всё думал:

«Женщина — великая сила... А вот, оказывается, есть человек, который не признавал женщин, даже не думал о них. Этот человек — я... Как же так могло случиться? Ведь для меня так много значила мать... Быть может, все наши сегодняшние несчастья в какой-то степени происходят оттого, что мы забыли о женщине, относились всегда к ней с пренебрежением, угнетали её, разрешали ей жить в невежестве, и так — на протяжении многих веков... И мать маленького хафыза, пусть существо неразумное, не столь образованна, не так умна и развита, как те несколько сотен мужчин, что присутствовали сегодня на похоронах, однако именно она поняла то, чего мы со всей своей сомнительной учёностью, своим мутным разумом никак не могли понять. Эта женщина познала истину, почувствовала правду сердцем, несчастным материнским сердцем, раздираемым от горя. Она кричала нам вслед: «Убийцы!» Как она права! Мы все вместе убили её бедного мальчика,— кто по невежеству, кто по тупости или преступному равнодушию, а кто трусливым молчанием...»

Медленно приходил сон, и мысли начинали кружиться и путаться: только что такие отчётливые и ясные, они превращались в страшные видения, и перед взором Шахина проходили трагические призраки — нескончаемая похоронная процессия невинных младенцев, павших жертвой бесчеловечной жестокости.

Глава тринадцатая

В школе Эмирдэдэ учился брат маленького хафыза — Бедри. Отчаянный шалун, но очень смыслёный и способный мальчуган лет тринадцати, Бедри был одним из самых любимых учеников Шахин-эфенди. После смерти Ремзи старший учитель привязался к его брату ещё сильнее.

Бедри частенько удирает из школы и в компании таких же, как он, сорванцов, своих товарищей, живших с ним в одном квартале и учившихся в других школах, отправлялся на прогулку за город.

И вдруг Бедри пропал надолго. Шахин-эфенди был настолько поглощён заботами о новом здании, что не собрался как-то узнать, что случилось с мальчиком.

Однажды утром, когда учитель сидел в своей комнате, исправляя

расписание уроков, отворилась дверь, и вошёл Бедри в сопровождении своего отца. На голове мальчика красовалась новая чалма.

Старый имам сказал:

— Бедри должен отныне покинуть школу, Рахим-эфенди будет готовить его в хафызы. Я привёл Бедри проститься с учителями.

Шахин так и застыл на месте. Он удивлённо переводил взгляд то на имама, то на Бедри, личико у которого сразу как-то состарилось, а сам он съёжился оттого, что голову ему повязали чалмой. Шахин смотрел, не находя слов, чтобы выразить своё удивление.

Впрочем, на личике Бедри было написано радостное и довольное выражение. Ласково улыбаясь, он подошёл к учителю и поцеловал ему руку. Шахин-эфенди усадил имама в кресло. Не выпуская маленькой детской ручки из своей, он спросил:

— Что случилось, имам-эфенди? Чем вызвано такое решение?

После смерти старшего сына имам стал чрезмерно слезливым и начинал плакать по любому поводу,

— Вам известно, какое несчастье постигло нас,- сказал он, вытирая платком нос и глаза. — Господь отнял у меня старшего... А ведь на его поддержку я надеялся в старости. Господи, страшусь плакать, дабы не прогневить всемогущего аллаха, но внутри всё жжёт, будто горящий уголь в грудь мне вложили...

Это, конечно, не было ответом на вопрос, заданный Шахином, однако учитель поспешил сказать несколько слов в утешение:

— Что поделаешь... Таков уж мир... Все под богом ходим. Да продлит господь жизнь тем, кто жив остался. — Потом, указывая на мальчика, добавил: — Счастье, что у вас есть сынок. Если угодно аллаху, он будет утешением для своих родителей... Вот только никак не могу понять, зачем вам отдавать его к Рахиму-эфенди?.. Уж больно он мал... Посмотрите, ведь Бедри такой слабенький, как птенчик.

Шахин-эфенди волновался и нервничал, однако старался не показывать этого и говорить как можно спокойнее.

Старый имам глубоко вздохнул.

— Что верно, то верно, Бедри слабенький мальчик. И я хотел бы, чтобы он несколько подрос и окреп. Но что делать, другого выхода нет. Обязанности имама я смогу исполнять ещё год-два, не больше. Будь жив старший сын, он бы занял моё место. Уж он, конечно, не допустил бы, чтоб родители его на старости лет нуждались... С его смертью лишились мы последней опоры. Вот почему спешим, чтобы Бедри за год, за два на хафыза выучился,— да будет на то воля аллаха! — а то ведь имамат к

другому перейдёт. Даст бог, Бедри станет достойным преемником своего старого отца. Не так ли, дитя моё? Только вот шалостям теперь конец пришёл. Коль хотите знать правду, я вовсе не был сторонником воспитания его в светской школе. Не в обиду вам будь сказано, но дети в ваших школах просто бродягами растут, настоящими авара... Да, Бедри теперь бросит свои шалости, будет прилежно заниматься... А ведь прежде он никак не желал быть хафызом. Но всемогущий аллах вселил в сердце моего мальчика любовь... Ему теперь больше чем мне не терпится приступить к занятиям у Рахима-ходжи. Бог даст, года через два вы будете пить шербет, когда Бедри станет хафызом.

— Два года много, отец, одного хватит! И одного года не пройдёт, вот увидишь.— В голосе Бедри звучал весёлый, радостный смех.

Старый имам снова принялся утирать нос и глаза, потом обнял сына и расцеловал его.

— Господь бог никогда не откажет в милости рабу своему, что предан ему всем сердцем и ждёт его помощи. Ну кто бы сказал, что в этом мальчике, в этом шалопае и бездельнике, который два месяца назад наматывал кошкам на шею чалму своего брата, вдруг вспыхнет столь пламенная страсть, такое влечение к знаниям хафыза. Будь счастлив, дитя моё, на долгие годы! Если сегодня твой старый отец радуется, то только ты тому причиной.

Шахин-эфенди уже не в силах был совладать с собой. Он сел на стул против имама и, продолжая держать в своих руках тоненькие кисти детских ручек, начал тихо говорить:

— Имам-эфенди... Я не знал вашего покойного сына, но, право, мне было очень жалко его. Сказать, что я переживал эту потерю так же, как и вы, будет преувеличением. Однако поверьте, мне очень и очень трудно пришлось. Вы помните, вы ведь слышали, как кричала несчастная мать... Не повторяйте за всеми: «Невежественная женщина... Не её ума дело...» Она права, в какой-то степени очень даже права. Ведь ваш старший сын был болезненным мальчиком, я узнал об этом от людей, которым можно верить. А что с ним сделал Рахим-ходжа? Заставлял мальчика работать с таким напряжением, которого даже взрослый человек, крепкий, как железо, не выдержал бы. Вот дитя и погибло, подобно нежному жеребёночку, павшему под тяжкой ношей. Вы видите, Бедри тоже слабенький. Если вы его отдадите ходже Рахиму, не пройдёт и двух лет, как всевышний призовет и его к себе. Вы же отец... Одного сына вы уже принесли в жертву! Если из ваших рук вырвут другого, разве не разобьет отцовское сердце такая потеря?..

Старый имам внимательно слушал Шахина-эфенди. Он то сердился, то вдруг совсем терялся и впадал в глубокое уныние. Последние слова учителя окончательно добили его, дрожащими руками он вытер пот со лба и взмолился:

— Бога ради, не говорите таких вещей. Вот и старуха моя решила, видно, напоследок вогнать меня в гроб. Всё она бунтует, кричит: «Одно дитя у меня теперь! Если отдадите его в хафызы, последнего сына лишимся, тогда я совсем одна-одинёшенька останусь. Умру, костями лягу, а мальчика не пущу!..» Мало мне от неё разве печали, так ещё вы слова, горше яда, говорите... Что мне делать?

— Истина всегда горька, имам-эфенди.— В голосе Шахина звучали любовь и жалость.— Если вы не желаете смотреть правде в глаза, вас ждут ещё более тяжкие испытания, а может, даже ужасные страдания...

— Я же вам рассказал положение моих дел. Самое большее продержусь ещё год-два. Если за это время не смогу подготовить Бедри, имамат перейдёт к другому, мы помрём с голоду.

— Так вы, значит, хотите увидеть, как Бедри, подобно брату, отдаст богу душу под палкой Рахима-ходжи?

— Будьте милосердны!.. Какой отец желает зла своему ребёнку... Господь свидетель, никто Бедри силком не заставляет идти в хафызы. Он сам хочет, вы только что слышали, как он говорил.

— Бедри ещё неразумный ребёнок. В таком возрасте не знают, чего хотят. Внушите ему, что лучше всего быть рыбаком или охотником, он мигом согласится... Бедри польстился на блеск чалмы да показную пышность торжественных сборищ. Он ведь не знает, сколько страданий придётся перенести, пока он достигнет желаемого. Бедри легко откажется завтра от того, что сказал сегодня. Поверьте, ребёнок не осилит такую ношу. Разве можно допустить, чтобы наш мальчик с пальчик умер под палкой хафыза Рахима, даже господь бог не согласится на такую жертву.

— Помилуйте, муаллим-эфенди^[57]... Учить ребёнка слову божьему,— что же тут противно воле аллаха?

— Аллах ни от кого не требует трудов, что превышают силы его.

— Аллах велик. Уж моему мальчику в помощи не откажет.

Шахин-эфенди погладил свою редкую бородку и чуть улыбнулся, задумчиво и грустно.

— Вот этого-то я и боюсь. Вдруг господь бог, увидав незаслуженные муки мальчика, сжалится над ним и призовет душу раба своего в рай раньше времени, чтобы спасти от палки Хафыза Рахима.

Старый имам, казалось, опять рассердился.

— Странные вещи вы говорите, муаллим-эфенди... Учитель придвинул свой стул к креслу имама и успокаивающе погладил дрожащее колено старика.

— Имам-эфенди, я считаю Бедри своим сыном, и вы считайте меня — своим. Что бы я ни говорил, что бы ни делал, поверьте, всё это для благополучия и вашего и нашего мальчика. Уж если так необходимо, чтобы Бедри стал хафызом и занял в будущем ваше место,— очень хорошо, пусть будет так. Но только не сейчас! Оставьте его мне ещё года на два... Я буду заботиться о нём, как о собственном сыне, как о брате родном... Я буду воспитывать его, растить, учить самым нужным, самым полезным наукам, я не разрешу ему уставать и скучать. Пусть мальчик кончит Эмирдэдэ, окрепнет, поздоровеет. И то, что сейчас он мог бы с большим трудом одолеть лишь за два-три года, он сумеет потом с божьей помощью постичь в один год. Больше получаса, наверно, уговаривал Шахин-эфенди имама, он старался говорить с ним как можно убедительнее, задушевнее.

Ни в коем случае не допустить, чтобы Бедри взяли из школы! — вот чего добивался Шахин. Выиграть время. Если этот способный, смышлёный мальчуган ещё немного подрастёт, окончит начальную школу, получит образование, тогда ему ничего не страшно,— без посторонней помощи он сумеет постоять за себя.

В конце концов старый имам поддался на уговоры учителя и согласился оставить мальчика в школе. Он надеялся таким образом умиловить свою супругу.

Опасаясь, как бы имам не передумал и не изменил своего решения, Шахин-эфенди тотчас же снял чалму с Бедри и, сложив её с великой почтительностью, спрятал в коробку и запер в письменный стол.

— Бог даст, года через два я собственной рукой повяжу чалмой голову Бедри,— сказал учитель, затем взял мальчика за руку и повёл в класс.

Сердце Шахина ликовало, словно он спас человека, тонущего в море.

Глава четырнадцатая

Наконец-то для Эйюба-ходжи представился удачный случай, которого он так долго ждал,— против старшего учителя школы Эмирдэдэ была поднята злобная кампания.

Началось с того, что в школу прибыла делегация, состоявшая из именитых граждан и родственников учеников.

Первым в атаку бросился некий Хаджи Эмин-эфенди.

— В мусульманской стране устрицами не торгуют! — кричал он. — Детей мы посылаем в школу, чтобы их воспитывали в вере и богобоязни. А что получается? Мы не можем допустить, чтобы какие-то проходимцы превратили наших детей в безбожников...

Хаджи Эмин-эфенди был когда-то разбойником — эшкия. Тридцать лет назад он сдался властям, поступил в жандармы и, предав своих бывших товарищей, участвовал в кровавой расправе над ними. Ему были известны убежища эшкия в горах, места их тайных сходов, и уж он постарался прочесать горы снизу доверху, вдоль и поперёк. В деревнях уничтожали всех, кто был связан хоть каким-либо образом с эшкия, людей подвергали нечеловеческим пыткам, истребляли, не щадя ни женщин, ни детей.

И когда душа Эмина-эфенди насытилась кровью загубленных им жертв, а карман свой он набил золотом, тогда бывший разбойник вспомнил о грехах и отправился в Хиджаз^[58] на покаяние.

Теперь это был семидесятилетний старец, смиренный и набожный, он шагу не ступал, не совершив ритуального омовения, — такой, казалось, и муравья обидеть боится... Однако, когда дело касалось нарушений религиозных обрядов или других грехов, пусть даже совсем пустяковых, в сердце Хаджи Эмина снова вспыхивал огонь кровожадности и всё вокруг представлялось ему в красном цвете. В молодости он проливал кровь, чтобы удовлетворить мирские страсти низменной души, в зрелом возрасте — «на благо государства», а теперь, на старости лет, он считал своим долгом вести священную войну во имя аллаха.

И хотя старец давно уже был немощен и дряхл, самые важные, самые знатные люди Сарыова дрожали перед ним, когда он, рассердившись, начинал в неистовстве кричать...

Хаджи Эмин не желал никого слушать и орал, наступая на Шахина-эфенди:

— Только развратный безбожник мог сбить с пути истинного благочестивого ребёнка, который хотел стать хафызом. Мало того! Он позволил себе оскорбительные действия — сорвал с головы мальчика чалму! Наглеца, осмелившегося совершить столь безнравственные поступки, надо разодрать на куски!.. Это наша священная обязанность!..

Если бы Хаджи Эмин появился в школе один, он непременно полез бы с кулаками на Шахина-эфенди.

Конечно, такой поступок в создавшихся условиях оказался бы не

только неуместным, но даже чреватым опасными последствиями. Нападение на старшего учителя казённой школы, находящегося, так сказать, при исполнении служебных обязанностей, могло не только встревожить, но и вызвать недовольство властей, и в особенности представителей партии. И тогда нападающие, нарушив законность, сами бы потерпели поражение и, вместо того чтобы свалить Шахина-эфенди, как они намеревались, укрепили бы его позиции. Поэтому, когда Хаджи Эмин-эфенди кинулся было на учителя, другие члены делегации схватили разбушевавшегося старца за руки и стали его успокаивать.

Шахин-эфенди уже понял, кем был направлен удар. Он и раньше думал о том, что придётся отражать подобные атаки, ведь он сам выбрал свой путь, поэтому не растерялся, не испугался и не рассердился. Как все люди, принимающие жизнь с энтузиазмом, рождённым верой и стойкостью убеждений, он склонен был находить удовлетворение в неприятностях, в трудностях, на которые так щедра жизнь.

В храбрости Шахина не было ни дерзкой надменности, ни спесивой гордости или упрямства. Нет, это была подлинная смелость человека, преданного идее, верящего в неё и убеждённого, что жить без неё нельзя. Шахин понимал, что нельзя отвечать дерзостью на дерзость, поэтому, грустно улыбаясь, спокойно, даже покорно ждал, когда утихнет буря.

После весьма шумной сцены знатные граждане объявили, что у них нет больше доверия к школе Эмирдэдэ и они забирают своих детей. Сделав такое заявление, делегация удалилась.

На следующий день Шахин-эфенди официальным уведомлением был приглашён в отдел народного образования.

Заложив руки в карманы, заведующий отделом расхаживал по комнате. Увидев входящего учителя, он грозно насупил брови и сразу начал кричать:

— Что вы сделали? Объясните, пожалуйста, что за глупую бестактность вы допустили, Шахин-эфенди?

Заведующий отделом народного образования принадлежал к тому разряду чиновников, что и начальник округа Мюфит-бей: он со всеми старался ладить, к подчинённым относился не только вежливо, но как-то чересчур деликатно. Такое обращение обычно балует людей. Во всяком случае, только очень важная причина могла рассердить его до такой степени, чтобы он начал кричать.

— Эфенди, я мог допустить ошибку по незнанию, так сказать, бессознательно,— не теряя спокойствия, ответил старший учитель Эмирдэдэ,— но ничего такого, что моё благородное и милостивое начальство могло бы назвать бестактностью, я не делал.

Заведующий несколько смутился, но всё с той же пылкостью и гневом продолжал:

— Только это и делаете!.. Мы не знаем, что предпринять, чтобы добиться доверия, завоевать симпатии невежественного населения, заставить народ полюбить светские школы. Вы же недопустимой бестактностью губите наше дело:

— Будьте любезны, скажите, что же я всё-таки совершил?

— Вот, читайте! — Заведующий взял со стола бумагу и гневно швырнул её к ногам Шахин-эфенди.

Это было прошение, под которым стояло около ста подписей и печаток.

В комнате было темно, и Шахин-эфенди подошёл к окну.

«Учитель Шахин-эфенди совсем загубил школу Эмирдэдэ,— прочёл он.— В сердцах детей не осталось ни веры, ни совести, ни морали. Они плохо учатся, невоспитанны, растут грубиянами. Учитель оказывает на детей самое пагубное влияние. Несчастные родители плачут кровавыми слезами, даже многие учителя школы жалуются на этого человека. Но что они могут сделать, ведь они рта открыть не смеют, чтобы кому-нибудь пожаловаться. Наконец, пустив в ход всевозможные дьявольские ухищрения, этот безбожник хитростью и коварством заставил своего ученика, пожелавшего оставить школу, дабы готовиться в хафызы, отказаться от своей мечты. Мало того, он сорвал с головы мальчика чалму и выбросил её вон. Так далее продолжаться не может. Пора обратить внимание на поведение человека, который сделал своим постоянным развлечением оскорбление религиозных чувств народа. Население Сарыова с превеликой мольбой и искренней горечью просит правоверное правительство, стоящее, как известно, на страже законности, о наказании виновного...»

Не успел Шахин-эфенди дочитать прошение, как заведующий снова начал кричать:

— Всего час назад начальника округа посетила делегация видных граждан города и жаловалась на вас. Мой дорогой Шахин-эфенди, неужто вам делать нечего? Ну что вы суете всюду свой нос, даже куда не следует? Допустим, человек решил взять своего мальчика из школы и сделать хафызом. Пусть!.. Ведь он же отец. Вам-то что до этого? С какой стати вы вмешиваетесь в дело, которое вас не касается, и ещё нас вмешиваете?.. К светским общеобразовательным школам народ относится подозрительно. Количество квартальных духовных и вакуфных школ не сокращается, а растёт с каждым днём. Вчера некоторые весьма почтенные родители взяли

своих детей из вашей школы. Если мы не успокоим общественное мнение, многие последуют их примеру. Подумайте, какое это несчастье для нас! Какое поражение!.. А мы так на вас надеялись, так рассчитывали. Вот, думали, пришёл молодой старательный педагог, воспитанник учительского института, уж он-то сумеет привлечь учеников в свою школу. Если б вы видели, как негодовали члены делегации, посетившие утром начальника округа! Мутасарриф-бей очень рассердился. Он даже подумывал, не уволить ли вас... Но, будучи человеком тактичным, предусмотрительным, а главное, уважающим законы, он предоставил мне уладить этот конфликт. Я уже говорил вам несколько раз, как вы, вероятно, изволили заметить, что весьма ценю ваши старания. Ничего плохого я вам не желаю. Но... вы видите, в каком затруднительном положении я нахожусь по вашей милости... Что же мне теперь делать?

И опять Шахин-эфенди, сохраняя полное спокойствие, до конца выслушал речь своего начальника с таким вниманием, словно опасался упустить хотя бы слово.

Старший учитель Эмирдэдэ хорошо узнал этого человека; он давно уже определил ему цену. Если бы надо было сортировать людей по их природным качествам — характеру, нраву,— делить на группы, классы и категории, то Шахин без колебания отнёс бы своего заведующего к разновидности чиновников типа Мюфит-бея.

Этот человек, так же как и Мюфит-бей, являл собой классический образец сословного чиновничества, получившего первое воспитание ещё во времена Бабыали ^[59] и достигшего расцвета в эпоху конституционной монархии. Такие люди привыкли жить в постоянном страхе перед некими таинственными и злыми силами, которые по совершенно неведомым причинам и в самое неожиданное время могут вызвать ужасные толчки, подобные землетрясениям, приводящие к катастрофическим разрушениям. Поэтому они считают, что чиновник, насколько вообще это возможно, должен пребывать в полной неподвижности и только в случае крайней необходимости может шевелиться, соблюдая чрезвычайную осторожность, ибо любой ложный шаг способен нарушить скрытое и непонятное равновесие и повлечь за собой катастрофу.

И Шахин-эфенди прекрасно понял, что бурное негодование заведующего так же, как и гнев мутасаррифа, вызваны всего-навсего обыкновенным страхом. Недаром, начав свою речь так запальчиво, начальник под умным, пристальным взглядом своего подчиненного быстро сник, а последние слова: «Что же мне теперь делать?» — явились жалким признанием собственной слабости.

— То, что подскажут вам совесть и здравый смысл, бей-эфенди,— ответил Шахин.— Вы были очень и очень любезны, сказав, что моя работа вам нравится. А ваши слова о том, что мы являемся товарищами в борьбе за общие цели, подарили вашему покорному слуге весь мир...

Заведующий был явно растерян.

— А что я говорил?

— Разве вы не говорили, что наша цель — разрушить квартальные и вакуфные школы, ведь духовная школа является главным очагом невежества и нищеты? Разве вы не говорили, что надо перевести учеников в общеобразовательные школы, где обучение поставлено несравненно лучше. Значит, мы союзники по всем основным вопросам. Я являюсь чиновником вашего ведомства; я душой и телом предан вам и вашим идеалам. Что же касается моего последнего поступка... Вы знаете, у несчастного больного старика было два сына; одного убили и захотели также убить и другого... Моя совесть не могла согласиться с тем, чтобы на наших глазах и этот ребёнок пал жертвой невежества и тупоумия софты. Поэтому я убедил отца мальчика отказаться от своего намерения. Если это преступление, я готов понести любое наказание. Поэтому я повторяю: поступайте так, как вам подскажут ваши совесть и разум.

— Дорогой мой Шахин-эфенди, вы рассуждаете как ребёнок.— Заведующий опять начал нервничать. — И мутасарриф и я,— неужели мы такие отсталые люди, что не можем ничего понять?! Но вы должны знать, что существует общественное мнение. Да, да! И это общественное мнение словно бочка динамита,— иногда достаточно маленькой искорки, чтобы произошёл страшный взрыв.

Шахин-эфенди чуть заметно улыбнулся.

Он, конечно, знал, что и заведующий отделом и начальник округа не так уж невежественны и глупы, чтобы не понимать простых вещей. Но они были трусливы, они всего боялись и никогда не могли решиться на дело, которое не сулило бы верной удачи. О, они никогда не пошли бы на риск...

Старший учитель школы Эмирдэдэ рассудил так: «Гражданского мужества в этих людях искать нечего. Кто их больше напугает, с тем они и соглашаются, того слушаются. Почему не воспользоваться этим? Сколько трусов лишь из боязни, что на них нападут сзади, бросаются вперёд и попадают в великие герои. Кроме того, у этих людей есть всё-таки и человеческое достоинство, и гордость, и какие-то познания...»

Прикинув всё это в уме, Шахин-эфенди тут же принял решение и перешёл в открытое наступление:

— Мюдюр-бей-эфенди^[60], я воспитан в медресе и поэтому знаю, что

такое софты. Софта подобен тени: испугаешься её и побежишь, она будет гнаться за тобой по пятам, но если смело пойдёшь в наступление на неё, она сама станет убегать от тебя без оглядки. События тридцать первого марта тому лучшее подтверждение. Разве правящая партия поступила несправедливо, когда жестоко покарала реакционных софт? Я не говорю, что с софтами надо всегда поступать несправедливо или жестоко. Нет, совсем не так. Но я полагаю, что в соответствии с политикой нашего времени не следует отступать перед причудами и капризами этих господ. Я уже говорил вам, поступайте так, как вам подсказывают сознание и совесть ваши. Однако, уж коль речь зашла об этом, скажу откровенно: и мутасарриф и ваша милость, вы должны поддерживать меня в этой истории, вас обязывают к этому не только ваша совесть и самолюбие, но и долг, ваши обязанности перед государством. Все знают, кто подстрекатель, кто уговаривал этих людей, явившихся с протестом к мутасаррифу, известно также, и с какой целью это делалось. А если вам известны эти факты, вы не имеете права жертвовать мною...

— Ну, хорошо, а если общественное мнение потребует?..

— Что ж, и тут всё просто... Шахин-эфенди усмехнулся и пожал плечами. — Если вы решите, что я допустил ошибку и поэтому виновен, то принесёте меня в жертву. Но если вы поймёте, что желание толпы всего лишь недостойный каприз, вы не станете с ним считаться, вот и всё! Вы не можете уподобляться монархам-тиранам, которые рубили своим визирям головы и бросали их на улицу, чтобы успокоить разбушевавшуюся толпу. Да, ваш покорный слуга предан вам душой и телом, и поэтому я уверен, что вы как человек просвещённый и справедливый, как достойный служитель конституционной монархии, вы будете защищать меня до конца... Впрочем, не подумайте, ради аллаха, что я говорю всё это лишь потому, что боюсь быть уволенным. О нет! Я испытал, кажется, все превратности судьбы, и её обманчивую ласку, и жестокие удары; я привык и даже всегда благодарю её: «Эйваллах^[61]!..» Но если ходжи всё-таки добьются своего и меня выставят, я буду бороться за свои права, я выступлю против них в открытую.

Учитель и заведующий отделом спорили ещё около получаса. Шахин-эфенди избрал необычную тактику нападения на собственное начальство. Он повёл лобовую атаку, но очень умело: с самым смиренным видом Шахин бросал в лицо оскорбительные упрёки, говорил вещи просто недопустимые, в то же время он находил какие-то подкупающие слова, которые ласкали ухо начальства, и заведующий растерянно молчал, не зная, сердиться ли ему или же соглашаться со справедливыми замечаниями.

Потом Шахин опять делал выпад, стараясь нанести удар в больное место и разбудить уснувшее чиновничье достоинство, задеть честь начальника. Когда старший учитель наконец удалился из кабинета, заведующий чувствовал себя совершенно разбитым, как после бани.

Шагая по улице, Шахин-эфенди рассуждал: «Можно считать, что начальство на некоторое время нейтрализовано... Во всяком случае, софты не смогут его использовать против меня как слепое оружие. Ну что ж, пока и на этом спасибо...»

Глава пятнадцатая

Вечером Шахин возвращался домой из учительского общества. На углу он столкнулся с женщиной, закутанной в старый чёрный чаршаф. Лицо было закрыто. И хотя на улице было настолько темно, что Шахин никак не мог разглядеть лица незнакомки, он смущённо склонил голову и спросил:

— Вам что-нибудь нужно, хемшире-ханым^[62]? Женщина молчала, не зная, видимо, с чего начать, потом заговорила дрожащим голосом:

— Муаллим-эфенди, я мать Бедри... Да благословит вас аллах. Вы так много сделали, чтобы убедить господина отказаться от своего решения... Я бедная женщина и ничем, кроме как молитвой, не могу вас отблагодарить. Что мне вам пожелать? Да поможет вам господь бог во всех делах ваших, чтоб исполнил он все ваши желания. Благодарю вас.

— Ну что вы, совсем не за что, хемшире-ханым. Ребёнок спасён, а это для нас главное.

Женщина глубоко вздохнула:

— Ах, муаллим-эфенди... Разве можно считать, что маленький Бедри спасён... Вот я слышала, и о вас начали говорить... Как бы вам в беду из-за нас не попасть.

— Ну, об этом думать не стоит, хемшире-ханым...

— Я теперь другого боюсь. Уж больно жители нашего квартала наседают на отца мальчика. Сказать, что мне не жалко его, будет неправда. Он, бедняга, совсем растерялся, не знает, что делать. Очень боится, что от должности имама отстранят его...

— Помилуй господь, хемшире-ханым... Теперь дело только за вами.

Будьте настойчивой. Он не сможет противостоять вашему упорству.

Шахин дал женщине ещё несколько советов, попрощался с нею и направился к дому. Однако, пройдя несколько шагов, он вдруг о чём-то вспомнил, повернулся и крикнул:

— Хемшире-ханым! Хемшире-ханым!

Женщина остановилась. Старший учитель пустился почти бегом и, нагнав её, с радостным видом выпалил:

— Бедри спасён! Да-да, мы спасём его. Мне пришла в голову прекрасная мысль. Если соседи будут упорствовать, сделаем из Бедри больного... Покажем его городскому врачу, возьмём справку о болезни...

— Да разве он даст?

— Ну, врачи — люди учёные... Уж им-то мы легко сможем объяснить нашу беду. Я сам поговорю с доктором... Ведь никто не собирается его обманывать и принуждать к ложным заключениям. Бедри действительно слабенький. А уж если доктор скажет, что нужно оставить мальчика в покое на год, на два,— тогда всё решится само собой...

Радость от удачной выдумки преобразила Шахина, он держался теперь совсем иначе: — смеялся, непринуждённо шутил, пропали и его стеснительность и робость, словно перед ним была не женщина, а свой брат, мужчина.

Был уже поздний час, но Шахин вдруг передумал идти домой и направился прямо к Неджибу Сумасшедшему. Сияющий, он ввалился в дверь, снял феску и, подкинув её в воздух, возгласил:

— Награду! Требую награды за добрую весть! Мы нашли ещё одного союзника. И ты понимаешь, этот союзник — женщина! Наконец и в женском мире у нас появилась своя рука.

Он подробно рассказал Неджибу, как произошла эта встреча, и тот тоже пришёл в восторг от выдумки Шахина-эфенди.

— Надо будет выкроить время,— сказал Неджиб,— и сбежать вместе в городскую управу. Поговорим с доктором, вразумим его, заблаговременно подготовим.

История с маленьким Бедри стала самой злободневной темой для разговоров в Сарыова. Всё сильнее разгорались страсти вокруг этой истории. О Шахине распускали всё новые слухи, и сплетням, казалось, не будет конца.

Школа Эмирдэдэ с каждым днём теряла своих учеников. Для духовных школ, соперничающих с Эмирдэдэ, наступил настоящий праздник. Чтобы завоевать симпатии населения и поднять свой авторитет, ходжи-учителя этих школ устраивали различные демонстрации: в мечетях читали «Житие

Мухаммеда», организовывали пышные шествия, и ученики отправлялись на торжественные моления о ниспослании дождя.

В особенности старался ходжа по прозвищу «Долмаджи» — «Пожиратель голубцов»,— его называли так потому, что был он человеком очень жадным и заставлял богатых учеников по очереди приносить ему долму^[63]. Так вот этот самый Долмаджи-ходжа был настоящим мастером по части клеветы. Сегодня ходжа утверждал, что Шахин-эфенди получает деньги от безбожников. На следующий день, забрав у одного ученика Эмирдэдэ тетрадь для рисования, он шлялся по кофейням, показывал каждому встречному рисунок, где линии пересекались в виде креста, и вопил истошно: «Эй, люди правоверные!.. Глядите! Этот человек заставляет детей рисовать кресты. До каких пор терпеть будем?!»

Престиж школы Эмирдэдэ падал в глазах населения, на неё смотрели, как на заведение весьма подозрительное, где детей учат невесть чему, проповедуют вольнодумство и безнравственность.

Долмаджи-ходжа после уроков уже не отпускал учеников, а построив их парами, водил по улицам, заставляя распевать божественные гимны, и только перед зданием Эмирдэдэ, на площади, отправлял по домам.

Споры и разногласия, царившие среди взрослых, передавались и детям. Ученики Долмаджи творили перед зданием Эмирдэдэ всякие безобразия, затевали драки с выходящими оттуда учениками, а совсем маленьких нещадно били.

Того и гляди, в драку между детьми ввяжутся взрослые, и тогда жди настоящих столкновений среди населения городка...

Однажды в четверг кто-то из учеников Долмаджи разбил камнем из пращи стекло в школе Эмирдэдэ. В тот же день хулиганы из этой шайки поймали малыша, вышедшего из школы, свалили на землю и разбили ему нос.

До сих пор Шахин-эфенди тщетно пытался жаловаться. В ответ он слышал одно и то же: «Ведь дети... Что с них возьмёшь... Они не понимают...» Но после двух последних происшествий, уже требовавших вмешательства полиции, на сцену был выпущен четвёртый союзник Шахина-эфенди: комиссар Кязым во главе команды своих молодых полицейских вызвал страшный переполох среди учеников Долмаджи-ходжи. Хулиганы больше не появлялись на площади перед школой Эмирдэдэ.

Обычно, когда родители или опекуны приходили в школу, чтобы забрать своих детей, Шахин не считал нужным отговаривать их. Только однажды он спросил одного из них, с виду ремесленника, показавшегося

ему человеком толковым. Тот смутился и уныло ответил:

— Валлахи, брат-эфенди, ей-богу, я очень доволен школой. И разным слухам, что ходят про вас, всякой болтовне про школу, где, дескать, учат безбожию, всей этой чепухе я не верю. Но вот, понимаете, заказчики говорят: «Почему ты своего мальчика держишь в этой школе?» — и заказов становится меньше, торговля страдает. Что поделаешь, так уж мир устроен!..

Шахин-эфенди держался спокойно, — на него как будто не действовали все эти провокации, которыми руководил так умело Эйюб-ходжа.

В ответ на хитрости, что устраивали его противники, Шахин также платил хитростью. Очень помогали глупые выходки Долмаджи-ходжи и ему подобных, которые из кожи вон лезли, чтобы кое-кому угодить. Когда дети в чалмах шатались по улицам, распевая божественные гимны, Шахин показывал на них Джабир-бею и, стараясь припугнуть его, говорил:

— Послушайте, неужели вот эти дети будут мстить за насилия на Балканах? Если их воспитывать подобными методами, из них, пожалуй, вырастут лишь софты, способные повторить события тридцать первого марта... Вот вы представитель партии, которая борется за прогресс и обновление,— что ж, выходит, они вас не боятся? Что за дерзость!..

Между тем власти были заняты тем, что чуть ли не каждый день посылали в школу Эмирдэдэ всё новых и новых инспекторов, которые тщетно пытались уличить Шахина-эфенди в каком-либо предосудительном поступке или злоупотреблении, требующем наказания.

Однажды в школу прибыл и Джабир-бей. Он велел детям построиться и проделать несколько гимнастических упражнений, потом, выразив своё удовлетворение результатами, крепко пожал руку Шахину-эфенди и поздравил его с успехом.

Посещение школы и особенно поздравления ответственного секретаря явились для Шахина-эфенди своего рода гарантией, что пока его оставят в покое: и власти не тронут, и ходжи утихомятятся.

Во всей этой истории только одно радовало Шахина-эфенди: он видел, с какой любовью дети относятся к своей школе, как привязаны к ней. Ребята отлично понимали разницу между собою и учениками квартальных школ, и, несмотря на бесконечные разговоры окружающих, никогда не проявляли непослушания или недоверия по отношению к самому Шахину-эфенди или к другим учителям.

Учитель Расим тоже радовался.

— Ну разве могли мы ожидать,— говорил он весело,— что наш посев

так скоро даст всходы?

— Знаешь, Расим, не будем наивными оптимистами,— отвечал Шахин, иронически улыбаясь. — Порою между детьми и взрослыми нет большой разницы. В конце концов, эти ребята — просто наши сторонники, больше ничего... Наши враги оказались настолько глупы, что натравили своих учеников не против нас и нашей школы, а против наших учеников. Конечно, наши, видя, что на них нападают, вынуждены были сомкнуть теснее ряды. А мы с тобой радуемся по этому случаю... Нет, мы должны стараться, чтобы преданность общим интересам, чувство товарищества превратились в подлинную привязанность к новой школе.

Бедри больше не посещал школу. Соседи, и в особенности отцы города, люди именитые, на этот раз так нажали на старого имама, что вынудили его взять Бедри из Эмирдэдэ.

Впрочем, мальчик пока не мог приступить к занятиям у Хафыза Рахима. Мать Бедри, Назмие-ханым, подбадриваемая Шахином-эфенди, упорствовала.

— Умру, а ребёнка не отдам!.. кричала она, устраивая очередной скандал.

Тревога и отчаяние несчастной женщины передавались и другим женщинам квартала. И если раньше они всего только сочувствовали горю матери, потерявшей своё дитя, то теперь женщины принимали сторону Назмие-ханым и, заступаясь за неё, ссорились со своими мужьями.

А тут ещё началась комедия с болезнью Бедри.

Городской доктор Кяни-бей был седобородый и краснолицый старик, очень милый и весёлый. Родился он в Эдирне, но, приехав в Сарыова лет двадцать пять назад, так прижился в городке, где всё ему нравилось, что перестал даже вспоминать о своей родине. И в Сарыова, кажется, не было человека, который бы его не любил. С детьми он вёл себя как ребёнок, со взрослыми — как взрослый. Кяни-бей был очень набожен: что бы ни случилось, он никогда не пропускал ни одного из пяти намазов. В городе он славился не только своим врачебным искусством, но и приятным голосом. Поэтому доктор частенько читал касыды^[64] в теккэ. Вместе с тем он любил петь и народные песни, правда, такое он позволял себе только на тайных попойках, которые устраивали иногда господа чиновники.

Старики и знатные люди очень его любили, и, несмотря на это, доктор не зазнавался, был со всеми прост в обращении, с крестьянами и людьми бедными обходился, как с родными.

Славился он также своей благожелательностью и добротой. Вновь прибывшим в город врачам он старался всячески помочь, по-братски

делился с ними, передавая им часть своих клиентов.

После смерти первой жены он женился на девушке из Сарыова, обладательнице богатого приданого. Принадлежавшую ей усадьбу он превратил в настоящее поместье.

Кяни-бей старался держаться подальше от городских сплетен, правда, это не мешало ему прислушиваться ко всему, что говорилось вокруг. Если его спрашивали, какого он мнения по тому или иному вопросу, доктор обычно улыбался, потирал руки и говорил:

— Право, не знаю, что и сказать... И наука, и моя профессия приучили меня, знаете ли, судить только о том, в чём я хорошо разбираюсь. Ваш рассказ как будто бы правдоподобен... Но насколько это точно, ещё неизвестно...

За двадцать пять лет жизни в Сарыова у него ни разу не было расхождений с представителями власти.

Короче говоря, любили его все: ходжи — за набожность и смирение; дервиши — за его приверженность к религии и за касыды; любители повеселиться — за его жизнерадостность; люди знатные и богатые — за скромность, а бедняки — за деликатность и доброту.

Только один Неджиб Сумасшедший почему-то никак не желал с ним ладить. Городской инженер нередко говорил:

— Не лежит у меня сердце к этому человеку, вот и всё...

И вместе с тем, чем больше Неджиб недолго любил доктора, тем лучше тот к нему относился.

В то утро, когда должны были привести Бедри на осмотр Шахин-эфенди и Неджиб навестили доктора дома. Он был ещё не одет, сидя в ночной энтари^[65] в саду, пил утренний кофе и попутно растолковывал стоявшему перед ним крестьянину, где находится дом одного из его коллег, который недавно прибыл в Сарыова. Завидев старшего учителя и инженера, он побежал им навстречу, испуская радостные крики:

— Бай, эфендим! Какое счастье, какое снисхождение! Вспомнили, наконец, эфендим!.. Когда речь заходит о Неджибе-бее-эфенди, я всегда говорю: «Наш городской инженер — настоящий мастер своего дела, этот молодец знает вдоль и поперёк весь наш уезд... И единственно, чего он не знает,— так это дороги к дому вашего покорного слуги». Оказывается, я и тут ошибся.

Казалось, все в Кяни-бее выражало беспредельную радость, даже тело его, без конца сгибавшееся и разгибавшееся в поклонах, стремилось передать радость встречи, даже ключи, висевшие на поясе, как-то радостно позвякивали. Но вдруг лицо его омрачилось, словно тревожная мысль

пришла ему в голову.

— Надеюсь, нет надобности в моей услуге или помощи?

— Не извольте беспокоиться,— поспешил заверить его Неджиб,— дурная трава не сохнет.

— Ох-ох-ох!.. Как я рад, эфендим, очень рад! Мы, доктора, сами понимаете, эфендим, что совы,— постучат в дверь или из друзей кто вдруг неожиданно пожалует,— так и вздрогнешь, господь всезнающий тому свидетель, сразу молнией пронесётся в голове: «Уж не болезнь ли какая, не беда ли стряслась?» Господь бог каждому определил, чем кормиться, где хлеб насущный свой искать. Нам же, врачам, суждено кормить себя за счёт страданий и смерти людской... И всё же, несмотря на это, каждый раз, когда я намаз творю, то возношу мольбу и простираю руки: «О господи! Сохрани народ Сарыова от болезней! Пусть никто к рабу твоему ничтожному не обращается за помощью. Уж лучше я с голоду умру...»

Кяни-бей внезапно обернулся к крестьянину:

— Прости, братец, я заставил тебя ждать. Ты понял, что я тебе объяснял?.. Этот доктор очень учёный человек.

Не смотри, что он молодой... По милости божьей,- с помощью всевышнего болезнь пройдёт. Ежели понадобится, я тоже приеду, посмотрю. Ну, иди, голубчик, иди, братец. При поддержке аллаха и пророка его всё обойдется, всё пройдёт...

Пока доктор выпроваживал крестьянина, ласково поглаживая его по спине, Неджиб потихоньку говорил Шахину:

— О господи, ну и пройдоха этот чёртов сын! Ты обрати внимание, как он говорит, как держится... Вот тип, такого больше не сыщешь!

Доктор распорядился, чтобы подали кофе с молоком, и вернулся к гостям.

Неджиб сразу же приступил к делу, но, по мере того как он рассказывал, весёлая и довольная физиономия доктора быстро мрачнела. Пощипывая бородку, он о чём-то долго размышлял, наконец изрёк:

— Неджиб, дитя моё!.. Ты ведь знаешь, что для тебя я даже жизни своей не пожалею!.. Но тут вопрос чисто научный... Ты уж позволь... Скажем, к примеру, тебя попросят засвидетельствовать, да ещё справку дать, что какое-то крепкое здание вот-вот развалится... А?.. Сам понимаешь, какое это щекотливое дело... Вот и меня о божьем создании спросят: «Каково оно?» Я осмотрю, исследую его, и что наука мне скажет, то и я скажу. Ведь мы являемся в своём роде судьями. Как судья обязан выносить свой приговор, не поддаваясь никакому влиянию, в полном согласии с шариатом, законами и справедливостью, так, разумеется, и я должен

поступать. Вот то-то и оно... Однако всё, что в моих силах, я сделаю... Конечно, при условии незыблемости принципов...

Шахин хотел было пуститься в объяснения, чтобы возбудить в докторе интерес и жалость к Бедри, но Неджиб Сумасшедший не дал ему даже заговорить и перевёл разговор на другую тему.

Когда они покинули дом Кяни-бея, инженер сказал своему товарищу:

— Ну, только попусту чесал языком... Убеждать его бесполезно... Я сразу понял его позицию. Этот тип в курсе дела. У него ни за что на свете не получишь справки, которая может вызвать недовольство партии ходжи Эйюба.

— Но ведь это ты всё твердил: идём да идём к доктору!

У меня была слабая надежда. Впрочем, ты, Доган-бей, знаешь, иной раз я такое выкину, что ишак может позавидовать.

По правде сказать, и Шахин-эфенди недолюбливал доктора. Но учитель наивно и слепо верил в точные науки, в учёных, он не мог не доверять знаниям, основанным на опытах и фактах.

Поэтому Шахин считал людей науки,— а их было всего-то в Сарыова несколько человек,— своими естественными союзниками. Он был убеждён, что, если надо, он всегда сумеет с ними договориться. Вот почему ему было трудно поверить, что нашёлся человек, как раз из этих самых учёных, который вздумал хитрить и лукавить, когда всё так ясно.

— Дорогой мой, ведь это же доктор, понимаешь,— врач...

— А чего стоит такой врач? — Инженер презрительно пожал плечами. — Доктором-то он стал, да человека из него не вышло. Помнишь ремесленника, который взял своего мальчика из школы, потому что боялся растерять недовольных заказчиков и разориться. Так вот Кяни-бей из этой же породы, настоящий доктор-ремесленник. Понял, Доган-бей?.. Этот человек не только образец лицемерия, он является олицетворением лицемерия, само лицемерие!.. Право, этот мерзкий тип подлее, чем Эйюб-ходжа, Зюхтю-эфенди и все им подобные. Те хоть верны себе и своей профессии, преданы своим принципам и идеалам. А этот, с позволения сказать, служитель науки свою профессию превратил в орудие чужих интриг. Дорогой мой, набожность этого субъекта ничего не стоит, он и здесь лицемерит, потому что боится ходжей. Кроме того, набожность ему нужна. Тебе известно, сколько у нас ещё людей, которые не знают, кому верить: доктору или знахарю. Те, кто побогаче, частенько приглашают к больному и доктора и знахаря — от одного пользы не будет, другой поможет. В Кяни-бее как раз соединены качества и доктора и знахаря. Невежественные люди верят, что если не излечат его лекарства, то поможет

святость, а если от святости толку не будет, так от лекарства вдруг помощь придёт. И потому не грех ему деньги давать...

А жаден он!.. Такой жадности к деньгам ты, наверно, никогда не встречал... Сколько раз мои уши слышали его голос, восхваляющий господа бога в обителях дервишей, а ведь на попойках и увеселительных сборищах благочестивый доктор распевает любовные газели, как самый настоящий базарный певец. Среди знатных он снискал себе славу скромного и кроткого, но ведь он на самом деле прилипчив, как мёд. Лыстец и прихлебатель, лизоблюд... А что до сладеньких слов и улыбочек, которые он расточает народу, так это тоже известный трюк. Прослыть отцом народа — сам понимаешь, какая реклама!.. Ну, а если кое-кто у нас замешан в грязных делишках, то Кяни-бей всё узнает: замечательный нюх... Когда к нему обращаются больные, которые не в состоянии платить, он их перепоручает докторам-новичкам, недавно прибывшим в город,— они ведь не решатся с ним соперничать. И тут он разыгрывает комедию, какой он добрый, ты сам только что видел, как это делается. Так он завоёвывает себе всеобщую признательность и наносит в то же время удар конкурентам — другим городским врачам, подсовывает больных бедняков... Впрочем, он умеет извлекать прибыль и из своих конкурентов. Молодые врачи очень часто прибегают к консультациям. Естественно, приглашается «профессор», «маэстро», и львиную долю надо отдать ему. Вот у ходжи Эйюба есть партия, состоящая из софт и простонародья, так и у Кяни-бея тоже своя партия — партия врачей, которые создают ему рекламу, выдавая «маэстро» за второго Локмана^[66]. А чтобы упрочить свою репутацию и поддержать славу, Кяни-бей нуждается в поддержке властей. Поэтому пост городского врача он сохраняет за собой, хотя он ему, в общем-то, не нужен. У Кяни-бея тут чисто стратегический расчёт, как у военных,— любой ценой занять и удержать командные высоты...

Неджиб Сумасшедший так разошёлся, что удержать его уже было нельзя.

— Теперь посмотрим, что же собой представляют другие врачи? Тоже, конечно, не бог весть что... Сам понимаешь, зачем тащиться в Сарыова человеку образованному? И всё же по сравнению с этим Кяни-беем они — настоящие Пастеры. Но им трудно устоять в борьбе против Кяни-бея и ему подобных. И врачам приходится заниматься разными делишками. Другого пути нет, иначе сдохнешь с голоду. Вот послушай-ка, я тебе расскажу историю весьма поучительную и даже забавную. Живёт здесь некий Бузджуоглу Абдурахман-бей, человек знатный, именитый и глупый, подобно ослу.

Когда-то был бандитом и сдался властям. Теперь он очень набожен и богобоязнен, правда, может быть, не так, как Хаджи Эмин. Удивительно, почти все местные бандиты на склоне дней своих становятся не в меру религиозными, словно аллах ниспосылает на них благочестие. Перед смертью они приобщаются к лику святых, а то оружие, которое когда-то в горах служило им против жандармов, они направляют против врагов веры. Бузджуоглу из этой же породы. Он всегда покровительствовал разным знахарям из ходжей и был яростным противником врачей. В прошлом году Абдурахман-бей свалился с лошади и разбил себе голову. Принесли его в аптеку. Наконец-то он попал в руки врагов! По старой бандитской логике, враг не может щадить своего врага и, уж конечно, не станет ему читать «Житие Мухаммеда». Попался, дело ясное, сейчас его прикончат разными лекарствами, которые и предназначены только для того, чтобы убивать... Абдурахман-бей метался, бился и умолял: «Сжальтесь, не трогайте меня!» — словно его собирались резать... Кое-как врачи успокоили его, сказали, что, если он не желает лечиться, его в коляске отошлют домой, а между прочим добавили: «Рана очень серьёзная, требует лечения и ухода... Жизни угрожает смертельная опасность! Вас об этом предупреждаем, чтобы не брать греха на душу...» Услышав слово «смерть», Бузджуоглу пришёл в ужас и сдался. Теперь послушай, какую с ним сыграли штуку. Рана-то была пустяковая, обыкновенная ссадина, но врачи объявили, что у него в черепе трещина! Бузджуоглу умолял их о помощи, обещал щедро заплатить. Тогда врачи смазали ему голову коллодием и заставили месяц лежать на спине без движения, посещая его чуть ли не каждый день...

— И знаешь, чем дело закончилось, Доган-бей? — продолжал Неджиб. — С тех пор Бузджуоглу везде прославляет своих прежних врагов и твердит: «Я был несправедлив и зря обвинял докторов... Я грешен... У меня череп треснул, а эти молодцы его склеили!...» Ну а врачи, можно сказать, отплатили ему сполна: и кучу денег загребли, и отомстили, и, больше того, ещё самого горячего сторонника приобрели. Спрашиваю тебя, Доган-бей, разве подобает людям науки подобное шутовство и издевательство? Совместимо ли такое поведение с профессиональной этикой? Нет! Без сомнения, нет!..

И ещё очень и очень досадное обстоятельство — эти доктора совсем не такие уж пропащие люди. Но что поделаешь? Столкнёшься в жизни с Кяни-беем и разными проходимцами, вот и приходится идти на обман. А чтобы снискать уважение среди невежественного населения, доктора порой совершают разные махинации, несовместимые с достоинством учёного. Вот и выходит, что они ничем не отличаются от обыкновенных шарлатанов,

которые продают на углах да перекрестках средства от мозолей, или от бродячих дантистов, которые на улице выдирают зубы пальцами... И этим занимаются врачи, те самые люди, которые должны быть не только самыми честными, самыми просвещёнными и передовыми, но и придавать величайшее значение профессиональной этике. Вот как влияет воздух нашего городка на людей, даже на самых лучших... А теперь, Доган-бей, подумай, чего же ждать от остальных...

События очень скоро подтвердили слова Неджиба Сумасшедшего. Доктор дал мальчику только укрепляющее лекарство.

— Мальчик на самом деле слабенький,— заявил Кяни-бей, но, слава аллаху, никаких болезней я у него не обнаружил. Можно приступить к занятиям у хафыза прямо сейчас же, не вижу к тому особых препятствий. Что же касается справки, то, если из официального учреждения последует запрос и распоряжение, я тотчас же напишу.

Шахин-эфенди и Неджиб всячески пытались помочь матери, они обращались и к другим врачам. Некоторые находили, что у Бедри слабая грудь, но никто не осмеливался открыто признать, что состояние здоровья не позволяет мальчику заниматься у хафыза. А врачи евреи и христиане испуганно заявляли:

— Нас о таких вещах не спрашивайте! Мы не можем вмешиваться в дела, касающиеся вашей веры.

И только один молодой военный врач, капитан, подтвердил, что Бедри не выдержит чрезмерной нагрузки, умственной и физической.

Шахин-эфенди, разумеется, не ожидал, что почти все врачи будут вести себя подобным образом. Ещё одна рана, ещё один удар в больное место!.. Однако это не могло сломить ни убеждённости, ни решимости Шахина.

Глава шестнадцатая

Интерес к маленькому Бедри постепенно угас.

Новая война, разгоревшаяся между чиновниками вакуфного управления и членами городской управы, завладела умами жителей городка и заставила их на некоторое время забыть об Эмирдэдэ и о Шахине-эфенди.

Однако учителя не могло обмануть такое затишье, он прекрасно

понимал, что из искры, тлеющей пока где-то в глубине, в один прекрасный день снова вспыхнет пламя.

Школа по-прежнему находилась под непрерывным надзором. Как раз в эти дни по рекомендации Эйюба-ходжи назначили инспектором начального обучения некоего софту по имени Хулюси-эфенди.

Новый инспектор стал чуть ли не ежедневно являться в Эмирдэдэ в самое неожиданное время и подолгу просиживал на уроках, просматривал тетради, беседовал с учителями и детьми и всё тщательно записывал.

Шахин-эфенди и его друзья вели себя с чрезвычайной осторожностью, много работали, усердно и очень аккуратно. Для них школа превратилась как бы в осаждённую крепость, которую противник может захватить лишь внезапной атакой, поэтому они всячески стремились укрепить оборону.

Самое серьёзное обвинение, которое выдвигали против школы,— это безбожие и вероотступничество. В народе ходили всякие нелепые слухи, грозившие превратиться в страшную лавину, которая может неожиданно-негаданно обрушиться на школу и смести всё на своём пути.

Долго раздумывал и искал выхода Шахин-эфенди, наконец решил: если невозможно вырвать с корнем это зло, нужно каким-то образом хоть нейтрализовать воздействие сплетен на людей серьёзных и сознательных, преградить путь к дальнейшему их распространению.

Вскоре представился удобный случай: в газете «Сарыова» появилась статья под заголовком: «Неуважение к обители усопших». Автором статьи был местный знаменитый поэт и летописец Ресаи-мулла.

Прочитав заглавие, Шахин-эфенди сначала не мог понять, в чём дело, но, ознакомившись со статьей, сообразил, что речь идёт о кладбищах.

Оказывается, Ресаи-мулла недавно побывал на кладбище и нашёл его в плачевном состоянии.

Стены гробниц кое-где обвалились, многие могилы сровнялись с землёй... Городская управа зря тратит деньги на прокладку водопровода, на строительство проспекта, а о кладбищах совсем не думает... Разве может быть благополучен и счастлив народ, который забыл о могилах, находящихся в запустении. Если так будет продолжаться, то страна скоро погибнет... Аллах низвергнет на Сарыова каменный дождь...

Шахин-эфенди нашёл именно то, чего искал. Два дня трудился он, составляя ответ на статью. В своём ответе он отчасти соглашался с мнением почтенного Ресаи-моллы. Конечно, управа должна следить за кладбищем, однако эта обязанность несколько не важнее, чем доставка воды в город или прокладка дорог. По законам истинной мусульманской религии, могилы и гробницы вовсе не имеют такого важного значения и не

являются обителями святости, как принято обычно думать.

Свои утверждения Шахин-эфенди аргументировал многочисленными ссылками на мусульманские предания и традиции.

В общем-то, старшему учителю не было никакого дела ни до дорог, ни до кладбища, и он совсем не собирался брать под защиту городскую управу. Просто статья была для него удобным предлогом, чтобы дать всем понять, что он человек сведущий в вопросах религии и шариата, и если он является противником мракобесия и реакционности, то это не мешает ему оставаться ревностным мусульманином.

Когда разыгрался скандал из-за маленького Бедри, Шахин воспользовался поддержкой ответственного секретаря Джабир-бея, теперь же он намеревался именем мюдерриса Зюхтю-эфенди защитить школу от тех, кто обвинял её в распространении безбожия. И свой ответ, предназначенный для публикации в газете, он написал только с этой целью.

Однако в газете «Сарыова» напечатать статью отказались, и на очередном вечернем сборище в учительском обществе Шахин пожаловался Зюхтю-эфенди:

— Нашему почтенному учителю, может быть, не понравилась моя статья? Вы считаете, бей-эфенди, она неудачно написана? Однако вы не можете не согласиться с теми положениями, которые я выдвигаю. В сущности, мысли эти не новы и представляют не что иное, как выражение, может быть, несколько в иной форме, тех самых истин, которые мы так часто слышим от вас, нашего учителя... С вашего разрешения я прочту статью. Если высказанные мною суждения ошибочны, прошу меня поправить, ибо только вы можете наставить нас на путь истинный.

Шахин-эфенди прочитал свою статью перед собранием, где присутствовало человек тридцать, — тут были учителя и в фесках и в чалмах.

С некоторых пор Зюхтю-эфенди стал недолгоблизать учителя Эмирдэдэ. Однако на этот раз он вынужден был согласиться со статьей.

— Что ж, вы правы,— нехотя процедил почтенный мюдеррис.

Старшего учителя явно не удовлетворяло столь неохотно высказанное одобрение, поэтому он счёл нужным поделиться с мюдеррисом-эфенди некоторыми соображениями о религиозном воспитании и обучении. И на этот раз Шахин получил одобрительный ответ: «Весьма удачно... Уместно... Верно...»

На следующий день Неджиб Сумасшедший, встретив своего товарища, сказал сердито:

— Что это с тобой! Уж не собрался ли ты стать обновленцем?

Шахин-эфенди слегка покраснел и опустил голову.

— Ничего не поделаешь, не хотелось мне, да так нужно. Только заступничество Зюхтю-эфенди может прекратить сплетни о том, что я безбожник. Мюдеррис-эфенди соизволил подтвердить, что мои познания в вопросах религии и шариата дают мне право быть учителем школы, а это в настоящее время только в нашу пользу...

Поистине все меры предосторожности, которые можно было принять в школе Эмирдэдэ, были предприняты: школа походила на крепость, готовую отразить штурм неприятеля. Но Шахин-эфенди прекрасно знал, что в крепости есть предатели, тайком работающие на врага,— два учителя из чалмоносцев и несколько великовозрастных учеников...

Инспектор Хулюси-эфенди получал от них доносы даже тогда, когда не бывал в школе.

На театре военных действий шла перегруппировка. Раньше войска Эйюба-ходжи, сосредоточив все свои силы на одном участке, ставя своей целью захват «маленького Бедри», атаковали единым фронтом, однако успеха не имели и, отступив, решили изменить тактику. Теперь все усилия они направили на сбор разведывательных сведений, проводя в то же время серию небольших атак с целью измотать противника и ослабить его обороноспособность. Они надеялись, что бои местного значения, мелкие стычки с каждым днём будут всё эффективнее и, в конце концов, перерастут в генеральное наступление, которое с божьего благословения разрушит до основания очаг гнусности и безбожия, именуемый школой Эмирдэдэ.

Уход мальчика с уроков, драка учеников на улице, громкий смех в классе, шум и возня ребят в коридоре — всё становилось происшествием и превращалось в дело; тайные наблюдатели сразу же посылали обстоятельные докладные инспектору Хулюси-эфенди.

Используя эти сведения, незадачливый инспектор пытался учинить настоящее расследование. Однако в дела учебные он не осмеливался вмешиваться, ибо знал, что Шахин-эфенди весьма образован, хорошо разбирается как в религиозных науках, так и в вопросах воспитания и легко положит его на обе лопатки. Инспектор очень боялся наделать каких-нибудь глупостей,— ему обещали, правда, пока ещё неофициально, должность директора учительского института, поэтому любой ложный шаг мог привести к краху всех надежд...

Шахин-эфенди был доволен своими коллегами по школе. С одним он подружился, почти сразу же, как прибыл в Сарыова. Других двух учителей, которые были как-то близки с софтами, он быстро привлёк на свою

сторону, завоевав их доверие. Правда, бедняги не ведали, какому делу служат, но работали хорошо, твёрдо шагая по указанному им пути. Что же касается ещё двух учителей, зловредных смутьянов, то Шахину-эфенди пришлось чуть ли не защищать их от своих же собственных товарищей.

— Вот вы считаете, — говорил он им, — что даже два недруга — это много. А ведь когда в корзине с яйцами находят два тухлых, никто от этого в ужас не приходит.

Шахин-эфенди даже не мог сердиться на своих врагов, он их просто жалел. Впрочем, он давно решил при первом же удобном случае отделаться от них, уволив из школы.

И к ребятам, ставшим доносчиками, Шахин чувствовал только жалость, он понимал, что низости и подлости несчастные научились у своих родных, поэтому трудно было их в чём-либо обвинять.

Глава семнадцатая

Иногда в школу приходили женщины; правда, такие посещения были крайне редки. Обычно приходили уже немолодые матери или бабушки, которые не стеснялись разговаривать с мужчинами, во всяком случае, не видели в этом ничего предосудительного.

Однажды возле своего кабинета Шахин-эфенди увидел женщину, закутанную в чёрный чаршаф; лицо её было закрыто пелерной. Шахин в застенчивости склонил голову и спросил:

— У вас, наверно, какое-нибудь дело ко мне, валидэ-ханым^[67]?

При словах «валидэ-ханым» незнакомка оживилась, складки чаршафа кокетливо заволновались. Приятный свежий голосок произнёс:

— Благодарю вас за внимание, эфендим. Да, у меня к вам просьба... Если разрешите, я войду.

Не дожидаясь ответа, женщина проскользнула в кабинет. Кажется, на этот раз посетительница была молодой. Но Шахин-эфенди просто не представлял, что такое, в сущности, женщина. В Сарыова он привык слышать надтреснутые и грубые голоса старух. Поэтому незнакомка показалась ему сразу же существом необычайным. Старший учитель настолько растерялся и даже испугался, что застыл в дверях в нерешительности, не осмеливаясь поднять глаза.

— Эфендим, — сказала молодая женщина, — у меня есть родственник, мальчик-сирота, ради него я вас и побеспокоила. Очень прошу, если это можно, принять его в вашу школу. К сожалению, его до сих пор ещё не учили как следует, но мальчик толковый и умный.

— Хорошо, хемшире-ханым... Приведите мальчика, мы познакомимся с ним, — ответил Шахин-эфенди.

Посетительница оказалась довольно разговорчивой. Не ожидая приглашения, она уселась на стул и начала подробно излагать учителю историю мальчика. Шахин-эфенди на мгновение оторвал от пола глаза и посмотрел на гостью. Пече, прикрывавшее её лицо, было таким же тонким, как носят дамы в Стамбуле. Да и поговору чувствовалось, что она из Стамбула.

Незнакомка показалась Шахину прекрасной, хотя под чёрным тюлем было довольно трудно различить черты её лица. Только видно было, как ослепительно сверкали чёрные глаза и улыбались алые губы.

Когда женщина покинула кабинет, учитель долго глядел ей вслед и думал: «Вот я смеюсь над теми, кто горел в пламени любви, кончал жизнь самоубийством... А может быть, они и правы?»

Через два дня молодая женщина снова появилась, но мальчика с ней не было...

— Малыш немного нездоров, эфенди, вот я и пришла предупредить вас, чтобы вы не сочли меня обманщицей.

Шахину столь чрезмерная правдивость показалась несколько излишней, и он сказал:

— Вы напрасно беспокоитесь. Когда, бог даст, мальчик поправится, вы его и приведёте.

На этот раз в кабинете, кроме них, были ещё учитель и родственник какого-то ученика. Несмотря на это, посетительница уселась без приглашения, вмешалась в разговор и принялась непринуждённо болтать.

«Бедняжка, наверно, совсем недавно в этих краях, — подумал Шахин-эфенди. — Не знает ни местных обычаев, ни порядков. Всё думает, что она в Стамбуле».

Учитель и его собеседник уже покинули кабинет, а гостя словно и не собиралась уходить, она рассказывала о том, как училась в Стамбуле.

Нельзя сказать, что Шахину были неприятны эти разговоры, но разве можно так долго сидеть и болтать — это уже неприлично! И он с нетерпением ждал её ухода. Шахин держался как можно неприступнее, на её вопросы отвечал короткими «да» или «нет», стараясь придать голосу ледяной тон, однако женщина, казалось, не обращала на это ни малейшего

внимания.

Вдруг она заявила, что хочет пить, налила воды из графина, откинула пече и больше его уже не опускала...

Столь неожиданный поступок привёл Шахина-эфенди в неописуемый ужас. Если кто-нибудь войдёт в эту минуту в кабинет!.. Он уже не сможет оправдаться перед людьми... Совершенно ясно, эта наивная женщина, коренная жительница Стамбула, просто не понимает, как могут расценивать в Сарыова подобное поведение. Шахин поднялся, вид у него был хмурый.

— Эфендим,— сказал он, запинаясь,— с вашего разрешения, я вынужден покинуть вас, у меня урок.

Неужели эта женщина не в своём уме? Приходит чуть ли не два раза в неделю... А мальчик, который должен поступить в Эмирдэдэ, так и не появляется. Болезнь прошла, потом случилось ещё какое-то несчастье, потом снова болезнь...

Частые визиты назойливой гостьи тяготили Шахина-эфенди, он встречал её уже подчёркнуто холодно. Но она по-прежнему ничего не замечала. Стоило ей переступить порог, как она сразу же поднимала вуаль и, как ни в чём не бывало, с открытым лицом начинала смеяться, непринуждённо болтать, неподобающе шутить и издеваться над старшим учителем. Оставалось единственное средство, чтобы избавиться от неё: просто-напросто выгнать. Однако на такой поступок Шахин не был способен. Когда нужно, он мог без стеснения обидеть даже самых любимых и дорогих ему людей... Но женщину... Тут он был бессилён. И ещё одно обстоятельство останавливало его. Впервые в жизни на его дружбу претендовала женщина. Нет, он не в силах обидеть и прогнать первую, а может быть, и последнюю женщину, блестящие чёрные глаза которой смотрят ему прямо в лицо, алые губы улыбаются и дразнят...

Однажды вечером Шахин рассказал Неджибу Сумасшедшему о назойливости этой особы. Инженер принялся отчаянно хохотать.

— Послушай, уж не влюбилась ли в тебя эта женщина?..

Шахин тоже рассмеялся.

— Всё может быть... А впрочем, чего сомневаться. Конечно, любая должна влюбиться в юношу, похожего на прекрасную розу! Да, да розу, которую создал и воспел аллах! Вот, кстати, и повод, чтобы немного "привести себя в порядок, погладить костюм, постричь волосы, бороду...

— Не говори так, Доган-бей,— прервал его Неджиб.— Существ, которых именуют женщинами, порой так трудно понять... Кстати, у тебя опыта по этой части — никакого.

Они иногда влюбляются как безумные в таких парней, которым даже

плюнуть в лицо не хочется... Правда, и у тебя физиономия не бог весть какая... довольно-таки корявая... Однако кто знает...

Инженер внимательно смотрел Шахину в лицо.

— Стой-ка, не шевелись! — неожиданно воскликнул Неджиб. — Сиди смирно... Я сделал удивительное открытие... Честное слово, ты не так уж уродлив, как я считал... Правда, твой прекрасный луноподобный лик разукрашен, словно подошва солдатских ботинок, густо утыканная гвоздями. А редкая бородёнка, прямо скажем, придаёт твоему лицу... особую прелесть... Но вот глаза и рот, клянусь тебе, скрашивают всё безобразие! Будь я женщиной, непременно бы влюбился в тебя... И знаешь за что? За умный взгляд и волевой рот. Потом у женщин есть одно несомненное достоинство: они не выносят дураков, даже если сами невежественны и глупы... Вот это умение отличать глупцов от умных у них, по-моему, врождённое, как и потребность любить. Так что ты особенно не отчаивайся, Доган-бей. Вполне может быть, что эта женщина влюбилась в тебя.

Инженер довольно долго разглагольствовал всё в том же духе. Слушая его, Шахин-эфенди только посмеивался да отшучивался.

Однако когда пришло время ложиться спать, старший учитель, прежде чем отправиться на покой, взял зеркало со стола Расима и долго и внимательно рассматривал своё лицо.

На следующий день, когда незнакомка пришла в школу, Шахин-эфенди без всякого предисловия обратился к ней:

— Хемшире-ханым, ваши визиты для меня, разумеется, большая честь, однако поймите меня как следует. Сарыова — страна сплетников. — Голос Шахина звучал строго и категорически. — Ваши частые посещения школы, может быть... да нет, не может быть, а непременно привлекут всеобщее внимание. И упаси нас господь, имена наши станут трепать кому только не лень... Вы — женщина, я — школьный учитель... Учитель должен пользоваться доверием и симпатией народа. А всякие сплетни счастья нам с вами не принесут. Поэтому прошу вас более в школу не приходить.

Произнеся эти заранее приготовленные слова, Шахин-эфенди с облегчением вздохнул, словно выполнил очень трудную миссию. Он ожидал, что гостья безмолвно встанет и удалится. И правда, молодая женщина поднялась со стула, но не затем, чтобы уйти. Она приблизилась вплотную к Шахину и взглянула ему прямо в лицо.

Учитель окаменел.

Женщина заговорила:

— Эфендим, ведь я из Стамбула и не вижу ничего плохого в том, что

мужчина и женщина дружат. Я чувствую себя тут совсем одинокой, в городе не с кем даже поговорить... А с вами так интересно. Мне нравятся ваши мысли, идеи, намерения... Да и не только мысли...

Шахин-эфенди не в силах был поверить своим ушам, он смущался и краснел, как деревенская невеста, впервые оставшаяся наедине со своим женихом.

Женщина продолжала:

— Если вы того желаете, что ж, хорошо... я не буду больше сюда приходить... Но к вам я очень привыкла... Ведь никто нас не осудит, если мы будем встречаться где-нибудь в другом месте... Например, мы можем, когда вы будете свободны, совершать вместе прогулки за городом...

У Шахина-эфенди потемнело в глазах, сердце сильно забилося, однако он ответил с невозмутимым видом:

— Даже не думайте об этом... Мне очень жаль, но я вынужден распрощаться с вами навсегда.

Женщина сделала движение, словно хотела схватить его за руку, она пыталась ещё что-то сказать, но Шахин-эфенди поспешно отпрянул назад. К счастью, в это время в комнату вошёл Расим, и это спасло старшего учителя.

— Как я уже вам сказал, эфендим,— сурово произнёс Шахин,— вам нет надобности впредь утруждать себя посещением школы. Как только мальчик поправится, вы пришлёте его вместе с документами. Само собой разумеется, мы принимаем всех, кто приходит в нашу школу.

Молодая женщина поняла, что упорствовать бесполезно. Она опустила покрывало и покорно вышла из комнаты.

Чего хотела эта женщина? Кто она? Что у неё за душой? — напрасно пытался Шахин разгадать эти загадки. Неужели она действительно из Стамбула и ей скучно в этом городке? Или же это просто сумасбродная, а может быть, беспутная особа? Судя по тому, как вольно и даже бесстыдно она держится, её можно принять за женщину лёгкого поведения. Однако Шахин-эфенди не осмеливался обвинять её в таком тяжком грехе. Ведь он совсем не знал женщин, а разве можно судить о человеке только по его разговорам и поведению.

Оставалось последнее предположение: эта женщина, как определил Неджиб, всё-таки воспылала к нему необъяснимой симпатией.

И хотя Шахин, безусловно, обладал здравым смыслом и был очень самокритичен, это предположение показалось ему вполне приемлемым. Понравиться женщине, быть ею любимым — пусть такое предположение верно только на одну сотую,— какое это утешение для него! Он всегда

будет вспоминать об этой истории, может быть, и не стоящей внимания... Будет вспоминать с нежностью, как великое любовное приключение в его жизни...

Ночь предвещала бурю. Расим, получив отпуск на двадцать дней, уехал в Стамбул по делу о наследстве. Шахин-эфенди остался один в школе.

Он сидел в своей комнате и исправлял работы учеников, когда неожиданно раздался стук во входную дверь. Иногда по вечерам в школу приходил Неджиб Сумасшедший, чтобы потолковать о жизни или пожаловаться на неё.

Думая, что появился друг, Шахин-эфенди спустился вниз, но на улице у дверей он нашёл женщину, сидевшую на пороге.

— Кто вы? Что вам угодно? Женщина застонала:

— Ради бога, глоток воды...

— Вы больны?

Упираясь руками в дверь, женщина безуспешно пыталась подняться. Плотный, грубошёрстный чаршаф скрывал её фигуру, лицо было закрыто.

— Вы заболели? — ещё раз спросил Шахин. — Что вам здесь надо?

— Я иду из деревни, — отрывисто ответила женщина слабым голосом. — У меня в Сарыова брат живёт. Мне дали бумажку с его адресом... но я потеряла её... Полдня искала по всем улицам, не могла найти... В дороге, пока шла, заболела... Вот и осталась на улице... без пристанища... И никого в Сарыова не знаю... Ради аллаха, приюти меня...

Слёзы душили несчастную, она не могла говорить и, припав головой к косяку, разрыдалась, вздрагивая всем телом.

Шахину-эфенди стало жалко бедняжку.

— Хемшире-ханым, мы должны помогать друг другу, это наш долг, но здесь школа, не могу я тебя здесь принять, не разрешается...

— Ведь я другого места не знаю...

— Ты бы пошла в участок. Полицейские помогут тебе найти брата или ещё что-нибудь придумают. Ладно, не падай духом! Я отведу пока тебя в дом квартального имама. Он человек правоверный, приютит тебя на ночь.

— Не могу я идти, эфенди, ноги не держат... Ничего не случится, если я здесь где-нибудь в уголочке прилягу... Мы же братья по религии!..

Шахин-эфенди испугался, что женщина начнёт настаивать, если он проявит жалость, поэтому сказал ей строго:

— Нельзя! Понимаешь, нельзя! Дойти тут всего три минуты. А ну, давай собирайся!..

Незнакомка ухватилась за косяк и с трудом поднялась на ноги. Потом

она сделала несколько шагов, но вдруг пошатнулась и, если бы Шахин-эфенди не схватил её за плечи, упала бы навзничь.

— Хемшире!.. Что с тобой? Опомнись!

Женщина не отвечала. Всею тяжестью тела она повисла на руках учителя. Шахин-эфенди постоял на месте, растерянно соображая, что предпринять дальше, потом внёс женщину во двор школы. Здесь он положил её на парту, которую как раз вечером принесли из ремонта, и бросился искать воду.

Ворвавшийся в открытую дверь порыв ветра задул лампу. Шахин никак не мог вспомнить, куда он её поставил, и, чиркая спички, стал искать. Наконец он нашёл и лампу и воду, открыл лицо лежавшей без чувств женщине, попытался напоить её. Это оказалось невозможным — женщина крепко стиснула зубы, и вода стекала с губ и лилась на шею, на грудь...

— О господи, ты всеведущ... что делать? — Голос Шахина дрожал от волнения. — И откуда такая беда на мою голову?

Женщина лежала на парте, запрокинутая голова свешивалась, волосы рассыпались, — светло-каштановые волосы, заплетённые в тоненькие косички, как у маленькой девочки...

В эту минуту Шахин-эфенди даже не подумал, что можно бояться или стыдиться женщины. Он смотрел, как лежит она, беспомощная, несчастная, и ему стало жаль её. Он взял больную на руки, понёс её в учительскую комнату и нагнулся, чтобы положить на диван. И тут он вдруг почувствовал, как руки её крепко обвилились вокруг его шеи. От неожиданности Шахин-эфенди вздрогнул. Впервые в жизни он ощутил теплоту и мягкую нежность женского тела.

В страхе, словно он совершил самый большой грех, Шахин рванулся и выпрямился.

В это время женщина открыла глаза, растерянно посмотрела вокруг себя и спросила:

— Где я?

Она улыбнулась, сощурилась и потянулась, как будто проснулась от долгого и глубокого сна. Она лежала спокойно, словно забыв, что надо закрыть чаршафом рассыпавшиеся волосы, слегка обнажившуюся грудь.

Шахин-эфенди смутился и отвернулся.

— Ну как, тебе немного лучше? Идти сможешь? — спросил он.

Больная ответила слабым голосом:

— Не знаю, что такое со мной, ноги будто отнялись. Не могу двинуться с места...

— Что нам тогда делать?

— Мы же единоверцы, что случится? Я вот тут прилягу... Ведь не помешаю тебе. Скоро утро, как только светать начнёт, я сразу уйду,— умоляла женщина, смиренно склонив голову.

— Вот не было беды! — с гневом и возмущением воскликнул Шахин-эфенди. Он метался по комнате, подбегал к окну и прислушивался, что делается на улице, приговаривая: — Где вы? Куда вы запропастились, чудотворцы, святые угодники? Ведь вас в Сарыова на каждом перекрёстке полным-полно! Куда же вы все подевались?.. Явитесь мне!.. На вас вся надежда! Ну что вам стоит прислать полицейский патруль... или хоть сторожа!..

Каждую минуту он кидался к больной и повторял:

— Ну как себя чувствуешь? Можешь встать?

— Двинуться не в силах... Ноги не держат...— отвечала женщина и поудобнее устраивалась на диване.

Наружная дверь открыта. Уже несколько раз Шахин-эфенди выбегал на улицу и вглядывался в темноту: вокруг ни души, только ветер несёт клубы пыли и крутит их в буйном вихре да где-то отчаянно заливаются собаки, и тоскливый лай с трудом пробивается сквозь шум и свист бури.

Что делать? Шахин надел поверх ночной сорочки пальто и, взяв в руку палку, направился к полицейскому участку, расположенному в конце базара. Едва сделав несколько шагов, он заметил на углу улицы в свете фонаря чью-то фигуру. Человек медленно двигался по направлению к школе. Шахин подумал, что это сторож, и стал громко звать его. Однако пешеход оказался не сторожем, а учителем Эмирдэдэ Афиф-ходжой. Увидя его, Шахин-эфенди настолько растерялся, что даже забыл про свою собственную беду.

— Да пошлёт господь добро! Что вы здесь ищете в такой час?

Афиф-ходжа был как раз одним из двух учителей, носивших чалму. Фанатичный и упрямый пятидесятилетний софта. Уже около тридцати лет работал учителем в Эмирдэдэ.

Он был твёрдо убеждён, что место старшего учителя по праву принадлежит только ему. Но получить это место ходже не удалось, так как он не знал новых методов обучения, у него не было диплома учительского института, а самое главное, он не имел протекции. Поэтому ходжа смотрел на Шахина-эфенди, как на соперника, который отнял у него кусок хлеба, и при каждом удобном случае выступал против нового старшего учителя.

Ходили упорные слухи, будто Афифа-ходжу обещали назначить на место Шахина-эфенди, если тот будет смещён.

Встретив Шахина и услышав его вопрос, Афиф-ходжа остановился в нерешительности и промямлил:

— Да так, ничего... Родственник один заболел... Навестил его, вот возвращаюсь... порядком задержался...

Тут Шахин-эфенди стал рассказывать ему всё, что произошло в этот вечер, потом добавил:

— Сам аллах послал тебя, братец. Ведь нельзя допустить, чтобы эта женщина ночевала в школе, пусть она даже больна и заблудилась... Я тебя прошу, сходи, пожалуйста, в полицейский участок... Или знаешь, ещё лучше, подожди здесь, а я сам схожу, так быстрее будет.

Они вошли во внутренний дворик школы, и Шахин-эфенди сказал:

— Она лежит в учительской комнате, если попросит пить, вода там есть. Может быть, тебе захочется кофе, спиртовка на месте, свари себе...

Афиф-ходжа остановился посреди дворика. С непонятным беспокойством он смотрел то на открытую дверь учительской, то на Шахина. Когда тот уже собрался уходить, ходжа вдруг окликнул его хриплым голосом:

— Шахин-эфенди!.. Погоди немного. Я должен тебе кое-что сказать... Но только наедине...

Они открыли одну из классных комнат и зашли туда. Шахин-эфенди поставил лампу на кафедру и стал ждать. Афиф-ходжа присел на край парты.

— Шахин-эфенди, ты ведь знаешь, мы с тобой не сходимся ни убеждениями, ни характерами,— начал ходжа, сдавленный голос его дрожал от волнения.— Но я честный мусульманин. Пусть человек — мой кровный враг, однако не позволю, чтобы запятнали его честь, когда нет на нём ни греха, ни вины. Слушай, я тебе всё расскажу прямо и открыто, а ты поступай так, как тебе подскажет совесть...

Шахин-эфенди с ужасом слушал ходжу. И ему уже мерещилось, что совершенно гнусное злодеяние...

— Шахин-эфенди,— продолжал Афиф-ходжа,— правду говорят: вера что деньги, никогда не узнаешь, у кого есть, а у кого нет... Но про тебя никак не скажешь, что ты истинно правоверный мусульманин... Не отрицай! Вот почему я не хотел, чтобы ты оставался в школе. Потом, скажу тебе, меня убеждали, что ты человек сомнительной честности, если ты неверующий. Помнишь, недели две назад в школу частенько приходила женщина? А? Ну вот, мне говорили, что ты её привадил. Из Стамбула некоторых проституток за разные там скандалы или другие провинности высылают сюда, в Сарыова. Так эта женщина — как раз одна из них. И в

нашем городке она уже прославилась: путается с каждым встречным и поперечным. Мне говорили: «Твой старший учитель в школу баб водит, он всех вас сводниками сделает»,— все хотели напугать, на тебя натравить. А потом мне кто-то шепнул: «Шахин-эфенди ни при чём тут, это ему подсылают женщин, хотят ножку подставить». И вдруг сегодня вечером пришли ко мне... Кто они?.. Не спрашивай, сказать не могу. «Шахин-ходжа привёл женщину в школу, сейчас мы нагрянем туда, собирайся, пойдёшь с нами». Я даже поверил им, и такая на меня злость напала. Однако потом стал сомневаться, думаю: «Уж не обманывают ли они? Как бы подвоха не было». А тут мне один говорит: «Если мы уберём этого безбожника, место старшего учителя будет твоим, ходжа. Но тебе надо так же в этом деле себя проявить...» Услышал я эти слова, сразу меня пот прошиб. Я человек верующий, Шахин-эфенди, такой хлеб есть не стану! Ну, я, конечно, разошёлся и давай кричать: «Вы что же, шутки шутить вздумали!.. Над ним издеваетесь, и меня хотите опозорить! Грешно! Стыдно!» Всем известно, коли я разозлюсь, то меня уж не остановишь, поэтому они испугались и кинулись от меня врассыпную. Я тогда палку в руки и скорей в школу. Если раньше я в чём-то сомневался, то рассказ твой рассеял все мои сомнения. Вот такие-то дела! Как хочешь, Шахин-эфенди, так и поступай...

— Спасибо, ходжа,— сказал Шахин, грустно улыбаясь,— только что мы теперь должны предпринять? Я не привык к таким делам...

Афиф-ходжа поднялся.

— Прежде всего вышвырнем отсюда шлюху. Это дело предоставь мне.

Ходжа впереди, Шахин за ним, держа лампу в руке, вошли в комнату. Женщина по-прежнему лежала на диване, закрыв глаза, изображая глубокий обморок. Ходжа подошёл к ней и грубо крикнул:

— Эй, ты!.. А ну-ка вставай!.. Женщина не шелохнулась.

— Тебе говорят, шлюха! Поднимайся! Быстро!.. Шахин не успел опомниться, как Афиф-ходжа отвесил непрошеной гостье две звонких пощечины. Женщина мгновенно вскочила и бросилась на ходжу, обливая его площадной бранью. Если бы не вмешательство Шахина, они наверняка бы сцепились и разодрали друг друга в клочья. Женщина неистовствовала. Совсем недавно она уверяла, что не в состоянии пошевелить пальцем, а теперь с ней не могли справиться двое мужчин.

— Ах ты сводня стриженная!.. — в неистовом гневе вопил Афиф-ходжа.

— Мало тебе наших юнцов совращать, — так ты хочешь опозорить достойных мужей. Клянусь аллахом, вечным и всемогущим, разорву тебя на куски...

Женщина не унималась, она налетала на ходжу, продолжая ругаться

самыми непристойными словами. Слава богу, около школы не было жилых домов, а то сбежался бы весь квартал, несмотря на ночное время.

Кое-как, с превеликим трудом Шахину-эфенди и Афифу-ходже удалось выпроводить женщину из школы.

Дверь захлопнулась, но с улицы ещё неслись отборные ругательства. Тут ходжа пришёл в ярость. Он схватил палку и выскочил на улицу. И если бы он поймал в тот момент женщину, то не миновать ей смерти или увечья. Но, пробежав всего несколько шагов, ходжа споткнулся о камень и растянулся на земле, ободрав колено и руки, а самое печальное — разорвав шаровары.

Афиф-ходжа не желал больше возвращаться в школу.

— Брат Шахин-эфенди, эти негодяи и подлецы считали меня своим сообщником и хотели использовать в своих гнусных целях. Однако слава аллаху! Всевышний раскрыл мне глаза. Позволь мне уйти, я должен сказать им несколько слов.

Шахин-эфенди схватил ходжу за руку.

— Боюсь, что несколько слов, которые ты хочешь сказать им в столь поздний час, дадут такой же результат, что и разговор с этой злосчастной женщиной. Зайди лучше в дом,— настаивал Шахин,— передохнёшь, выпьешь кофе, успокоишься.

Потирая нывшее колено, с грустью поглядывая на порванные шаровары, ходжа вздохнул.

— Ну как я могу у тебя кофе пить? Какими глазами на тебя смотреть?

— Не надо, не говори так. Я теперь перед тобой в неоплатном долгу. Ты не только мою честь спас, но и доказал, что ты справедливый, совестливый человек. Нет теперь между нами никаких недоразумений. Тебе говорили, что я безнравственный вероотступник и безбожник. Ты убедился, сам видел, как на меня клеветают! Ну, а насчёт моего неверия... думаю, у тебя нет никаких доказательств... Будь справедлив!.. Скоро год как вместе работаем. Слыхал ли ты, чтобы я сказал товарищам или детям хоть одно слово против веры, против обрядов?..

Шахину-эфенди удалось ввести ходжу в дом, усадить в кресло, потом он запер дверь, приготовил кофе.

Около двух часов длился разговор по душам. Шахин прекрасно понимал, что Афиф-ходжа из тех людей, которые легко поддаются под влияние других и живут чужим разумом. Ему уже бесполезно внушать передовые мысли и идеи,— возраст не тот. Но если завоевать его доверие, можно заставить его работать на пользу общего дела. Долго Шахин разговаривал с ходжой, человеком старых воззрений. И говорил он только о

том, что ходжа мог понять и усвоить, говорил просто, на том языке и с той логикой, которым он научился в медресе, и которые в случае необходимости применял с большим успехом.

В ту ночь пополнились ряды союзников Шахина-эфенди. Он приобрёл нового друга, готового отныне делать всё, что ему скажут. Ходжа стал верным другом не потому, что понял Шахина и стал разделять его мысли: нет, совсем нет!

Он поверил в Шахина, как в человека.

Глава восемнадцатая

Однажды тёмной осенней ночью в Сарыова произошло событие, заставившее всех содрогнуться от ужаса. Под утро жителей городка разбудили пушечные залпы, возвещавшие о пожаре. Горела тюрбэ — гробница святого старца Келями-баба^[68].

Тюрбэ стояла на вершине крутого холма, расположенного вдоль дороги, ведущей на кладбище, и была видна из города со всех сторон.

Для жителей Сарыова гробница давно уже стала святыней святынь, а Келями-баба поклонялись настолько усердно, что, даже укладываясь спать, заботились, чтобы пятки не были обращены в сторону тюрбэ, — не дай господь оказать неуважение святому старцу! Со всеми делами своими и нуждами народ обращался к святому. Все страждущие и болящие в поисках исцеления прежде всего простирались ниц перед священным покрывалом Келями-баба. Перед тем как прошение или какую-нибудь другую бумагу подать властям или в суд, их несли в тюрбэ и смиренно просили у святого благословения и помощи. А те, кому посчастливилось выиграть судебный процесс, выйти из тюрьмы, остаться целым и невредимым при катастрофе или спастись от какой-нибудь другой беды, первым делом бежали с пучком свечей к святому, чтобы отблагодарить его. Короче говоря, гробница Келями-баба стала «государством в государстве».

Святой — да будет его милость вечной! — занимался всякими делами, начиная от выдачи замуж девиц, потерявших надежду найти себе мужа, и исцеления больных, страдающих неизлечимыми недугами, кончая сдачей домов, оставшихся без жильцов, и спасением от разорения лавочников, у которых мало покупателей. Святой оберегал город от всевозможных

бедствий, таких как вражеского нашествия, землетрясения, наводнения, пожара и так далее.

Ещё недавно жители Сарыова преспокойно спали, не забыв, конечно, помолиться святому старцу и отдать себя под его защиту, а теперь, разбуженные выстрелами, они увидели, что тюрбэ объята пламенем, и словно обезумели. Зловещая картина пожара, полыхавшего в величественном обрамлении мрачных кладбищенских тополей, залитых красным светом, повергла людей в оцепенение, потом над Сарыова к небу поднялся всеобщий вопль отчаяния. Везде было полным-полно народу — на улицах, в окнах, на крышах домов. Все плакали, кричали, стонали, рыдали. С минаретов мечетей неслись тоскливые призывы к молитве...

Пожар предвещал, конечно, что городу грозит великое бедствие. Безнравственность и безбожие, расцветавшие в Сарыова с каждым днём всё пышней, наконец привели в ярость святого Келями-баба. И быть может, ещё до рассвета судьба города будет решена: багровые тучи, раскалившиеся от пламени пожара, засыпят его дождём молний или же произойдёт землетрясение и обрушит на дома окрестные горы...

Жители города выскакивали из домов в одних белых ночных рубашках и бежали в направлении тюрбэ; по улицам стремительно текли людские потоки, сливаясь в бурную реку, белую, словно от пены.

Уже четыре дня Шахин-эфенди лежал в больнице после серьёзной операции уха. Чувствуя, что он не может больше находиться в палате, Шахин быстро оделся и, как был с повязкой на голове, выбежал на улицу и смешался с толпой. В своей жизни Шахин-эфенди ещё не видел столь страшной картины. Люди громко читали молитвы, слышались возгласы:

— Бог велик! Аллах экбер!.. Из окон домов неслись женские рыдания, крики: — На кого ты нас покидаешь?.. Отец наш!.. Свет очей наших!..

Место пожара оцепили жандармы и полицейские. Тушить огонь было бесполезно. Здание гробницы, сухое, как порох, вспыхнуло сразу со всех сторон, и теперь оставалось только ждать, когда оно сгорит дотла и превратится в пепел.

В ужасе смотрел Шахин на толпу обезумевших жителей города, которые давили друг друга, не в силах прорвать железное кольцо полицейского заслона. Человеческие голоса, стонавшие, вопившие, кричавшие слова молитв, проклятий, призывов к богу, смешались в грозный гул. В красном зареве пожара скопище одетых в белые рубашки людей казалось с ног до головы залитым кровью.

Полицейские и жандармы вынуждены были пустить в ход приклады и штыки, чтобы остановить наиболее рьяных фанатиков, которые пытались

пробиться к пылающей гробнице, как будто для того чтобы сгореть на этом костре вместе со своим святым...

Начало светать. Огонь погас. Подобно сиротам, потерявшим отца и покровителя, брели люди назад в город к своим домам...

Гробница Келями-баба представляла своего рода исторический музей пророков. Там хранились громадная кость якобы от той рыбы, которая проглотила пророка Юнуса, и палка, которая, как говорили, принадлежала пророку Мусе. Там можно было увидеть кусок доски, оторвавшейся от ковчега, построенного пророком Нухой, и деревянное ложе, на котором спал пророк Эйюб^[69], когда ещё был бедняком.

Эйюбова кровать обладала чудодейственной силой: стоило хоть раз полежать на ней больному проказой, чесоткой или ещё чем-либо в этом роде, как болезнь, с божьей помощью и по велению аллаха, словно рукой снимало. Кроме того, в гробнице были собраны некоторые весьма ценные реликвии — подарки османских халифов.

Шёлковое, шитое серебром и золотом покрывало для саркофага, присланное Сулейманом Законодателем^[70]; фонарь художественной резной работы, привезённый из Египта Селимом II^[71], а также подарки других падишахов: инкрустированные перламутром подставки для Корана, великолепные ковры, ценные книги — образцы величайшего каллиграфического искусства — в роскошных переплётах и даже несколько драгоценных вещей, украшенных камнями и жемчугом.

Но пожар уничтожил теперь всё, превратив в прах и кости старца Келями-баба и священные реликвии. Некоторые ходжи утверждали, что безнравственность и злодеяния жителей Сарыова прогневили не только Келями-баба, но также пророков и святых, чьи вещи и подарки находились в тюрьме. Поэтому гробницу сожгли не только по требованию её хозяина — святого чудотворца, но и по единодушному решению собора великих пророков.

Мечети Сарыова были битком набиты народом. Люди каялись в грехах, вымаливая прощение.

Если на улице появлялись женщины в нарядных тонких чаршафах, их осыпали бранью и позорили; а с молодыми людьми, игравшими в кофейнях в карты или в нарды, затевали ссоры, искали повода для драки...

Да и против властей в народе росло скрытое недовольство: безусловно, вся вина лежит на тех, кто управляет городом!

Подобаёт ли в мусульманском государстве женщинам так распускаться, открывать лица, а молодым людям проводить время только в

играх да развлечениях? Куда смотрят власти? Почему они допускают такие безобразия!..

Келями-баба уже отрёкся от города. Кто же теперь защитит город?

Уже ходили слухи, что в ту ночь, когда случился пожар, святой старец явился во сне Урфи-дэдэ. На ногах у него были железные чарыки^[72], в руках посох, а за спиной громадный мешок; по-видимому, Келями-баба собирался сложить в этот мешок все вещи, принадлежащие пророкам, и подарки халифов.

Старец попрощался с Урфи-дэдэ, потом в ярости прокричал: «Сгорел!.. Погиб! Не могу больше... Не хватает у меня совести каждодневно молить аллаха о защите города от бедствий и несчастий...»

Когда рассказывали эти сказки, женщины и дети в страхе плакали, старики били себя кулаками в грудь и стонали.

На третий день до Шахина-эфенди дошли уже другие слухи. Теперь говорили, что пожар — совсем не предопределение судьбы и даже не несчастный случай, а дело рук злоумышленников; в результате секретных и обстоятельных расследований, произведённых властями, найдены чрезвычайно важные улики. Предполагают, что поджог совершён шалопаем-безбожником, которых так много развелось в городе.

Эти рассказы, услышанные от соседа бакалейщика, заставили Шахина-эфенди призадуматься. Старший учитель, выйдя из лавки, тотчас же решил повидаться с Неджибом и отправился в городскую управу.

— Да, и я это слышал, — сказал инженер. — Почти точно установлено, что пожар возник в результате злого умысла.

Шахин-эфенди рассмеялся.

— Ну вот, пустили слух, что часовню подожгли безбожники... Теперь того и гляди, как бы в этом деле не обвинили нас с тобой.

— Смеешься, однако, напрасно! — ответил Неджиб. У нас здесь всё возможно. Будь благодарен судьбе за то, что ты в ту ночь лежал в больнице... Мне тоже повезло — я был в гостях, на свадьбе у старшего секретаря управы. А наших товарищей да сохранит аллах...

К вечеру стали известны новые подробности.

Теперь слухи ползли по иному руслу, уже не имея ничего общего с первыми сплетнями, и распространялись они с невероятной быстротой, подобно новому пожару.

Оказывается, поджёг гробницу совсем не сам Келями-баба, а один из злейших врагов религии, которых в городе становится всё больше и больше. Недаром святой кричал: «Я сгорел! Погиб!» И разве Урфи-дэдэ не слышал слова, которые доказывают факт злодеяния? Если бы власти были

как власти, то они давно бы поймали поджигателя и сожгли бы его заживо на месте пожара! И нет другого пути, чтобы защитить Сарыова от божьего гнева...

Впрочем, имя поджигателя никто ещё не называл.

На следующее утро в газете «Сарыова» появилось сенсационное сообщение. В статье было написано, что четыре почтенные особы, имена которых пока не называются, обратились к начальнику округа и высказали ему свои подозрения относительно одного человека, имя которого сообщать тоже пока ещё неудобно... «Этот подлый, мерзкий человек,— говорилось в газете,— известен всем, как распутник и бродяга, пьёт горькую и славится на весь город своей безнравственностью, что никак не подобает занимаемому им высокому положению. Он кощунствует и всегда поносит преподобных великомучеников и святых...» Далее сообщалось, что многие слышали своими ушами, как этот безбожник частенько говорил: «Чтобы спасти народ от идолопоклонничества, нет другого средства, как сжечь все эти тюрбэ...» — И многие жители города готовы во славу аллаха это засвидетельствовать...

Прочитав статью, Шахин-эфенди отправился на поиски последних новостей, однако ходить далеко не пришлось. В Сарыова всё уже было известно,— беременная ночь родила ещё до рассвета! Преступник был обнаружен, узан и выдан со всеми потрохами на суд молвы. И суду официально, по всей вероятности, ничего не оставалось, как только протянуть руку и сорвать этот созревший плод...

В поджоге обвиняли Мехмеда Нихада-эфенди — учителя французского языка и математики в гимназии. Шахин-эфенди не был близко знаком с ним. Встречаясь на улице, они только раскланивались. Лишь однажды на каком-то празднике Шахин беседовал с ним в учительском собрании.

Впрочем, вряд ли ещё кто-нибудь, кроме Шахина, был знаком с этим человеком ближе, хотя своей репутацией пьяницы этот учитель был известен на весь Сарыова. Нихад-эфенди, отшельник и пессимист, ни с кем не водил дружбы. В жизни он ничем не интересовался, кроме своих уроков, ни в какие дела не вмешивался. И, тем не менее, за ним укоренилась слава пропойцы и бродяги...

В Сарыова не было питейных заведений. Все пьяницы и гуляки собирались компанией и устраивали тайные попойки, проводя ночи поочередно в доме какого-нибудь друга и собутыльника. Нихад-эфенди не участвовал в этих сборищах. Засунув в один карман своего старого жёлтого пальто бутылку водки, в другой — завернутую в газетную бумагу закуску,

он уходил под вечер из дома и направлялся за город в поле. Там он усаживался где-нибудь под кустом и до поздней ночи пил в одиночестве, потом, пошатываясь, возвращался домой.

Жил он в маленькой бедной хижине на окраине города. Говорили, что любви и нежности к своей жене и двум детям он не питал. Выделив себе из месячного жалованья ровно столько, сколько нужно было на водку, он остальные деньги отдавал жене. Обычно несчастной женщине удавалось с грехом пополам продержаться до конца месяца. Но если случались непредвиденные расходы — она покупала себе или детям платье или ещё что-либо, — денег не хватало, и семье приходилось голодать, ибо ничто не могло заставить этого человека принести в дом хоть корку хлеба...

Если в школе Нихад-эфенди не общался ни с кем из своих коллег, то дома он не считал нужным даже разговаривать с женой и детьми. А когда его собственное семейство, доведённое до отчаяния, наступало на него с криками и проклятиями, он не обращал на него никакого внимания, затыкал пальцами уши, делая вид, что ничего не слышит...

Однако стоило ему напиться, и язык у него развязывался так, что унять его уже было невозможно. И тогда доставалось всем, он крыл всех подряд, начиная от властей Сарыова и кончая святыми угодниками и великими пророками.

Наверное, в таком буйном состоянии пьяный Мехмед Нихад и произнёс свою обличительную речь о необходимости спасения населения Сарыова от идолопоклонничества и предания огню всех гробниц.

Нихада-эфенди в городке невзлюбили, Шахин — также его не жаловал.

Он был убеждён, что человек, который нечистоплотен в личной жизни, не может быть хорошим воспитателем, будь он хоть семи пядей во лбу, хоть самый ценный и образованный специалист... Однако обвинения, выдвинутые против Нихада-эфенди, встревожили Шахина не на шутку. Вполне возможно, этот человек в припадке невозддержанности где-нибудь и сболтнул, что необходимо сжечь все тюрбэ до единой. Но разве можно на основании пьяной болтовни делать выводы, что поджжёт гробницу Келями-баба, именно он или кто-нибудь другой по его наущению?

В тот же день учитель Мехмед Нихад-эфенди был приглашён к следователю...

Поджигателя немедленно заключат в тюрьму, — таково было общественное мнение. Но через час, ко всеобщему удивлению, он шагал с портфелем в руке через базар, направляясь в гимназию. Многочисленные посетители кофейни в изумлении смотрели ему вслед, однако их удивление

быстро превратилось в бурное негодование.

— Как! Безбожник, спаливший тюрбэ святого угодника, как ни в чём не бывало разгуливает по улицам.

От такого кощунства даже ангелы на небесах могут прийти в ярость!.. — Кофейни бурлили от возмущения.— Народ Сарыова, разве снесёшь ты такое оскорбление? Неужели власти издеваются над религиозными чувствами населения? Вах-вах! Несчастный шариат! Кому ты в руки угодил?..

Наиболее решительные ходжи требовали, чтобы немедленно телеграфировали халифу: «О, повелитель правоверных! Сжигают гробницы наших святых. Помогите!» А некоторые находили такие меры недостаточными. «Наш долг обратиться с воззванием ко всему мусульманскому миру! — вопили они.— Мы должны сказать всем, что в стране ислама мусульманская религия подвергается таким оскорблениям и нападкам, на которые не решатся даже в христианских европейских государствах...»

Несмотря на то, что человек, чья честь и жизнь находились в опасности, был его товарищем по профессии, Шахии-эфенди не намеревался вступаться за него. Однако случилось иначе. В этот день, уже под вечер, он отправился в городскую управу, чтобы решить кое-какие школьные дела в отделе народного образования. Когда Шахин разговаривал с заведующим, в комнату поспешно вошёл секретарь.

— Бей-эфенди, в гимназии бунт! Вызвали полицию... Мюдюр-эфенди мёртвенно побледнел, руки его задрожали... Что делать? Телефон в отделе испорчен...

— Скорее! Пальто и палку! — крикнул он служителю. Но прежде чем успели их принести, в кабинет влетел директор гимназии.

— Надеюсь всё благополучно, бей-эфенди?.. Что там у вас случилось?

— Не извольте беспокоиться, эфенди. Ничего особенного... Ученики прогнали учителя Мехмеда Нихада-эфенди. Мы, было, вызвали полицию, но, благодарение богу, её вмешательство не понадобилось. Как только Нихад-эфенди удалился, всё успокоилось...

— Как это произошло?

— Эфендим, я уже неоднократно докладывал вам, что этот человек однажды доставит нам немало хлопот... Все ждали, что Мехмеда Нихада-эфенди арестуют, однако он явился в школу цел и невредим и приступил к занятиям. Первый послеобеденный урок прошёл спокойно, без происшествий, однако во время перемены с учениками что-то произошло — они были очень возбуждены... Как только Мехмед Нихад-эфенди вошёл

в класс, начался страшный шум. Дети стучали крышками парт, топали ногами, кричали: «Не желаем!.. Будь проклят поджигатель тюрбэ!» Однако сей субъект, потерявший всякий стыд, даже не смутился. Он пытался уговорить ребят: «Вы дети... Ученики... Ваше дело учить уроки, остальное вас не касается. Я ваш учитель. Пока я здесь, на этой кафедре, вы обязаны меня слушаться и уважать...» На шум сбежалась вся гимназия, классы опустели, в коридоре толпились ребята. Дети так громко кричали: «Будь проклят поджигатель!», что в здании тряслись потолки...

Директор говорил, выпучив глаза и отчаянно жестикулируя дрожащими руками.

— Бей-эфенди, а может быть, ребят кто-нибудь подговорил?

Вопрос задал Шахин-эфенди; спросил он с самым невинным видом, словно не придавая своим словам никакого значения.

Лицо начальника гимназии внезапно сделалось багровым.

— Кто это подговорил? Откуда вы взяли? Подобная вспышка могла быть только стихийной, это взрыв благородного негодования... Душевный порыв молодежи...

— Вы правы... Подобные инциденты возникают именно в результате взрыва или, как вы сказали, душевного порыва толпы. Как бы там ни было, только для взрыва, мне кажется, нужен хороший запал, нужна какая-нибудь причина, пусть даже самая незначительная... Впрочем, ваш покорный слуга спросил об этом просто так.

Заведующий отделом в задумчивости смотрел прямо в лицо директору гимназии; казалось, он не одобряет поступка гимназистов. Увидев нерешительность в глазах начальства, директор быстро переменял тон.

— Я, конечно, сейчас же произведу необходимое расследование... Если кто-то окажется виновным в подстрекательстве, придётся принять самые суровые меры... Не так ли, почтенный бей-эфенди? Разве мы можем допустить, чтобы ученики занимались чем-либо иным, кроме уроков, и тем более вмешивались в дела города...

Шахин-эфенди с горечью улыбнулся, удивляясь, до чего же может быть жалок человек. Тем временем разговор между заведующим отделом и директором гимназии продолжался.

— Тюрбэ поджёт Нихад-эфенди, это уж без всякого сомнения, — начал опять начальник гимназии. — Не могу только понять, почему следователь Азиз-бей до сих пор держит этого человека на свободе?.. Впрочем, он, кажется, готов к действиям.

— Очевидно, он ещё не получил достаточно ясных доказательств, — ответил заведующий отделом.

— Право, не знаю, бей-эфенди, но только все в этом убеждены.

— Вполне возможно... Однако никакой судья не станет рассматривать дело только на основании всеобщего мнения. Потом, если хотите знать, у меня как-то не укладывается в голове, что Нихад-эфенди способен был бы поджечь тюרבэ.

— Помилуйте, эфендим, ведь в присутствии скольких людей он говорил об этом... Ей-богу, человек двадцать или даже тридцать готовы стать свидетелями.

— И всё же этого недостаточно. Кто видел собственными глазами, как он совершал преступление?

— Точно не знаю, но, наверно, такие люди найдутся. Вы человек чистой души, поэтому и не можете поверить, что люди способны на дурное. Но от Нихада-эфенди можно ожидать любой подлости.

— Не могу сказать, что так уж расположен к этому человеку, и вы это знаете. Однако мне кажется, он достаточно усерден и предан своему делу.

— Э! Какое там усердие? Аккуратно приходит на уроки, только и всего, неужели из-за этого мы не можем вышвырнуть из школы пьяницу и распутника? Почему держат таких? Не понимаю... Пусть даже не будет установлена его виновность, но разве не достаточно ясно, что ни о ком другом народ не думает так плохо, как о нём... Уж теперь, надеюсь, мы избавимся от этого смутьяна...

Заведующий пощипывал усы и задумчиво мерил шагами кабинет.

— Да... вполне может быть... Но гордиться нам тут нечем. Вот так-то... Сколько ни думаю, не могу представить, чтобы Нихад-эфенди способен был совершить столь бессмысленный поступок.

У Шахина-эфенди невольно навернулись слёзы; сердце его забилося от радости и признательности, словно заведующий оказал ему самому великое благодеяние. Шахин никогда не ожидал от этого человека столь справедливых и смелых суждений. И хотя старший учитель Эмирдэдэ не собирался участвовать в разговоре, на этот раз он не выдержал.

— Пока суд не вынесет решения, мы не можем считать беднягу виновным! — с жаром сказал Шахин. — Он наш коллега, а вы его начальник. И вы, конечно, будете защищать его, не правда ли?

Заведующий отделом несколько растерялся от такой атаки, но тут вмешался директор гимназии и резким тоном спросил:

- От кого? От закона?

Он был убеждён, что нашёл именно то могучее слово, которое способно остановить даже бурную реку. Он смотрел на Шахина, гордо выпятив грудь, словно начинающий актёр, только что произнёсший

убийственную тираду.

Шахин-эфенди улыбнулся и, склонив голову в знак полного смирения, мягко ответил:

— Нет, почему же от закона, бей-эфенди. Надо убересть людей закона от постороннего влияния, от злого воздействия, чтобы они могли, руководствуясь светлым разумом и чистой совестью, свободно вести следствие и вынести справедливый приговор.

Директор гимназии пришёл в ярость: какой-то учительшка начальной школы позволяет себе так нагло высказывать собственное мнение! Однако он не осмелился открыто напасть на Шахина и наговорил ему только кучу бессвязных слов.

Заведующий молчал, но по выражению его лица можно было понять, что, в сущности, он разделяет мнение старшего учителя Эмирдэдэ. Он ограничился тем, что заметил:

— В это дело уже вмешалось правосудие. Нам остаётся только терпеливо ждать результатов.

Этими словами заведующий дал понять, что на его поддержку рассчитывать нечего. Шахин-эфенди не рассердился, а просто пожалел его за такую нерешительность.

Но директор гимназии всё не унимался и заявил весьма решительно:

— Как соизволил сказать бей-эфенди, в это дело вмешались судебные власти, и нам больше сказать нечего.

Но если спросят меня о нравственном облике этого человека, я, естественно, скажу всё, что знаю. А если его осудят, не скрою — я, как начальник гимназии, буду только рад этому. Уж тут я не совру... Ибо этот человек наносит моей школе вред, и я, как начальник гимназии, считаю своим первейшим долгом прежде всего думать о моей школе. Разве я не прав, бей-эфенди? И если уж на то пошло, я могу пожертвовать не только таким зловредным бродягой и бездельником, как Нихад-эфенди, но и самим собой. Да, да!..

— Жертвовать собою — это ваше право, но судьбой другого человека — не смее! — Эти слова Шахин-эфенди произнёс очень спокойно, с печальной улыбкой. Больше он ничего не сказал и тихо вышел из кабинета заведующего отделом народного образования.

Следователь Азиз-бей работал до позднего вечера, а на следующее утро, в ранний час он опять был в своём кабинете и копался в делах...

И снова целый день через его кабинет проходили самые разные посетители: тут были и простые люди и знатные. Дважды за это время приводили на допрос Мехмеда Нихада-эфенди, но каждый раз, ко всеобщему негодованию, учитель покидал кабинет, как ни в чём не бывало.

По городу ползли слухи, один другого нелепей и противоречивей. Кто рассказывал, что в ночь, когда случился пожар, учитель бродил вокруг тюрбэ Келями-баба. Другие уверяли, что следователю не удалось получить никаких доказательств, поэтому он не имеет права арестовать Нихада-эфенди...

Положение в городе было тревожным,— того и гляди, вспыхнут волнения. Даже власти забеспокоились. А Нихад-эфенди, казалось, вовсе не обращал внимания на враждебное к нему отношение и безмятежно, с независимым и даже насмешливым видом разгуливал по улицам, засунув руки в порванные карманы своего жёлтого пальто, зажав портфель под мышкой. Только от одного этого население Сарыова могло взбеситься. Между тем никто почему-то открыто не нападал на него.

На второй день к вечеру пронёсся слух, что некоторые очень влиятельные люди города оказали давление на Азиз-бея.

Кое-кто слышал даже, как ответственный секретарь Джабир-бей в неистовстве кричал:

— Что творит этот человек? Смуту сеет в городе. Чего тянуть с делом? Даже во времена деспотизма чиновники не разводили такой волокиты!.. Подобаает ли при конституционном правительстве судейскому так долго возиться с одним человеком?.. Надо действовать! Немедленно!..

Наконец вечером следователь решился, — то ли ему удалось получить требуемые доказательства, то ли он не смог устоять перед грубым нажимом,— он отдал приказ об аресте Нихада-эфенди.

И тотчас же жители Сарыова, побросав все свои дела, забыв про ужин, высыпали на улицы.

На проспекте, где находились правительственные учреждения, стало многолюдно, шумно и светло, точь-в-точь как в вечер большого праздника. Кофейни уже не вмещали посетителей. На перекрёстках темных улиц толпились женщины, весь городок хотел своими глазами увидеть, как безбожник и поджигатель тюрбэ Келями-баба отправится в тюрьму. Но муэдзин прокричал уже эзан к вечерней молитве, а процессия всё ещё не

показывалась...

Полицейские, которым было поручено арестовать Нихада-эфенди, не нашли его дома. Моментально в толпе распространился слух, что преступник бежал. Начались пересуды, споры, крики. Наиболее пылкие головы с возмущением вопили:

— Поджигателю дали бежать! Теперь ясно, почему следователь так долго тянул с арестом. Это уловка. Напрасно мы ждём преступника! Кто знает, где он теперь? Тут, наверно, и власти замешаны. Они просто издеваются над нами...

Некоторые придерживались противоположного мнения.

Безусловно, его спрятали сообщники, такие же безбожники, — орали они, подстрекая народ. — Надо обыскать дома всех подозрительных...

Но Нихад-эфенди и не думал бежать из Сарыова и, уж конечно, не скрывался в доме сообщника, просто-напросто он, как обычно, сунув в карман бутылку водки, в другой — закуску, отправился за город, чтобы выпить наедине с самим собой.

Вскоре жители города ликовали, словно была получена весть о победе, — когда учитель возвращался домой своей обычной дорогой, его схватили полицейские. И уже за арестованным валила толпа, чтобы с особым почётом препроводить его в тюрьму.

Откуда взялись эти люди, кто их послал, этого никто не знал. Может быть, просто все встречные увязывались вслед за учителем Нихадом и его конвоирами, и постепенно толпа росла, превратившись в настоящую процессию, словно на свадьбе или на похоронах.

В передних рядах шагало несколько хулиганов и бродяг с факелами в руках, за ними шёл Нихад-эфенди в сопровождении двух полицейских, и уж потом, сзади и по сторонам этого шествия, сновали уличные мальчишки, орава босоногих оборванцев, которые лупили палками по керосиновым бидонам, поднимая адский шум...

На площади, в одной из кофеен, стоял Шахин-эфенди. Он влез на стул, чтобы лучше рассмотреть эту процессию. Его била дрожь, зубы стучали, словно в лихорадке.

Какое отвратительное зрелище! На голову Нихада напялили красный бумажный колпак с рогами.

Сквозь страшный грохот бидонов прорывался вой толпы, тянувшей в один голос:

— В-в-о-т у-уча-ась поджигателя тюрбэ! Хей-хе-хей!

Со всех сторон в учителя летели яйца, помидоры.

Процессия приближалась. И народ, толпившийся в ожидании на

улицах, в кофейнях, тоже начал орать и выть...

Вот она, зелёная ночь, — вечный кошмар, преследующий Шахина! Никогда ещё не представлялась она ему такой ужасной и трагической, а люди такими страшными и жестокими.

Шахину казалось, что он больше не выдержит... Сейчас он закричит и в смятении бросится один против этой озверевшей толпы... Он бросится, и его растерзают, забьют камнями, как бешеную собаку... Но тут словно чья-то невидимая рука схватила его за горло и сдавила в железных тисках, задушив протестующий вопль, готовый исторгнуться из его груди...

Никогда ещё в жизни Шахин не переживал таких горьких минут, не испытывал такого приступа отчаяния, неуверенности в будущем.

Он, учитель начальной школы Шахин-эфенди, отрёкся от всех радостей на свете, он посвятил свою жизнь единственной цели — сделать свой народ счастливым... Уж не детская ли это мечта — пытаться перевоспитать людей, с таким удовольствием творящих несправедливость и насилие?!

Глядя на людскую жестокость, Шахин-эфенди чувствовал, что все его убеждения начинают рассыпаться, и в этом беспросветном мраке он теряет последнюю опору. Казалось, он сходит с ума...

Между тем улица неистовствовала. Процессия с трудом продвигалась сквозь толпу. Грохот бидонов становился всё громче, всё требовательнее раздавались крики: «Вот участь поджигателя тюрбз!.. Хей-хей!..» — а пронзительные вопли: «Келями-баба, прости нас!..» — приводили толпу в неописуемую ярость. Теперь людям мало было бросать камнями в несчастного, они, давя и отталкивая друг друга, старались протиснуться к учителю и плюнуть ему в лицо или ударить его кулаком.

Нихад-эфенди шёл, закрыв лицо руками. Двое полицейских, шагавших рядом, прилагали неимоверные усилия, чтобы сыпавшиеся со всех сторон удары по ошибке не достались им.

Обстановка накалялась с такой быстротой, что, казалось, ещё мгновение, и несчастный Нихад будет растерзан тут же, на площади...

Но в этот момент произошло нечто совершенно неожиданное. Комиссар Кязым-эфенди во главе нескольких полицейских, расчищая себе путь кулаками и проклятиями, прорвался через толпу к Нихаду-эфенди. Прозвучал резкий окрик:

— Господа! Соотечественники! Расходитесь! Именем закона предупреждаю!..

Столь внезапное вмешательство только подлило масла в огонь. Вокруг раздавались разъяренные голоса:

— Комиссар! Прочь с дороги!.. Не мешай народному гневу!

Следовавшие за комиссаром полицейские не смогли пробиться сквозь людской заслон. И Кязым-эфенди один, растопырив руки, грудью наступал на толпу, принимая на себя удары и стараясь защитить учителя.

Внезапно на голову комиссара обрушился сильный удар палки, за ним последовал второй, ещё более мощный.

Кязым-эфенди рванулся, руки его потянулись к сабле, но вытащить её из ножен не удалось. Тогда он схватил Нихада за плечи и, всё ещё пытаясь прикрыть своего подзащитного, упал вместе с ним на землю. В этот момент полицейские, застрывшие позади, распихивая людей, подоспели к месту происшествия.

Ранение комиссара моментально изменило обстановку: звериная ярость моментально сменилась сильнейшим испугом. Началась паника. Ведь события уже походили на бунт против правительства, и тому, кто теперь попадётся в руки властей, пришлось бы нести ответственность за действия всей толпы. Люди расступились, отхлынули и начали разбегаться, давя друг друга...

Шахин-эфенди всё ещё стоял на стуле и плакал, не в силах совладать с собой. В одно мгновение Кязым-эфенди вернул ему и прежний оптимизм, и все его надежды.

Этот человек не только проявил смелость и предотвратил страшную катастрофу, но и не побоялся выступить против всей толпы, не пожалел своей крови во имя справедливости. Этот человек был его единомышленником. И он, Шахин, воспитал этого простого, пусть неграмотного, но умного и благородного человека.

Значит, он был прав, веря в то, что человек с ясной головой, хорошо знающий, к чему он стремится, может даже один противостоять целой толпе, бессмысленно тупой и невежественной. Теперь Шахин уже жалел и любил этот народ — несчастных людей, которых только что ненавидел и презирал.

«Большие, взрослые дети...— думал он, прощая им всё.— Разве они виноваты? Нет! Во всём надо винить тех, кто довёл их до такого состояния...»

И в нём ещё сильнее крепла вера в то, что страну спасёт только «новая школа».

Прошло три дня. Никто из родных не осмеливался навестить Нихада в тюрьме.

Бедняга сидел в отдельной камере, изолированный от всех, словно был болен чумой или проказой.

Шахин-эфенди мучился, не находил себе места... Неужели гражданское мужество — это, можно сказать, основное связующее звено всего общества — уже нельзя встретить в этом городе? Чего только не передумал он, вспоминая несчастного Нихада и его злоключения, в конце концов он понял, что должен сделать всё возможное, чтобы помочь этому человеку. Пусть он не симпатизирует Нихаду-эфенди, пусть не одобряет его поведения, считая, что оно порочит высокое звание учителя, но людская несправедливость и жестокое насилие толпы — всё это возвеличило беднягу в глазах Шахина и превратило в героя-мученика. Конечно, он должен помочь этому человеку, одинокому и беззащитному перед несправедливой ненавистью всего города. Это гражданский долг каждого! И он умрёт от стыда, если не выполнит своего долга, пусть даже ему придётся действовать в одиночку... Да, он будет презирать себя всю жизнь, снедаемый угрызениями совести, как будто сам был соучастником этого гнусного преступления...

Когда Шахин рассказал о своём решении товарищам, они сочли его безумным.

— Ты с ума сошёл! Зачем тебе бросаться с открытыми глазами в огонь? Стоит оказать ему помощь, и ты уже скомпрометирован. Тебя сразу же обвинят в подстрекательстве или даже в соучастии. Все твои старания не дадут никаких результатов, только погубят тебя и его. Мы не можем допустить этого, ты нужный для нас человек.

Но Шахина-эфенди трудно было переубедить.

— Если я буду молчать, меня замучит совесть, я сгорю со стыда, — возразил он, печально улыбаясь. Голос Шахина был кроток и спокоен, так говорят люди, принявшие окончательное решение. — Ну, а надежды, которые вы на меня возлагаете... Что может сделать труп?.. Мертвец?.. Да, да! Если я отступлю перед такой несправедливостью, значит, я мертвец. Каких дел можно ждать от человека, павшего духом? Наверно, бессмысленно...»

Неджиб развёл только руками.

— Вот меня называют сумасшедшим. Но что я! Ты настоящий сумасшедший!

Шахин-эфенди весело рассмеялся.

— Давно пора было это знать...

Он пристально смотрел на товарищей, и в прищуренных глазах его плясали искорки лукавого смеха, точно он хотел сказать: «Вы же знаете, люди одержимые, мечтатели и фантазеры — самые великие безумцы».

— Прекрасно! Великолепно, Доган-бей,— насмешливо заметил Неджиб.— Не буду удерживать тебя от этой грандиозной глупости, которую ты намерен совершить. Ну что ж, попробую и я загадать на сон грядущий... А вдруг сумею тебе помочь,

На следующий день, завернув в узелок немного съестного и несколько пачек табаку, Шахин-эфенди направился к тюрьме.

Нихад всё ещё мучился от ран, полученных в ночь ареста и не заживших до сих пор. Под правым глазом у него красовался огромный сине-фиолетовый синяк, на щеке и около уха два кровоподтёка. Когда Нихад упал на мостовую, то рассёк себе губу и выбил два передних зуба. К тому же бедняга схватил в тюрьме сильный бронхит. Он отчаянно хрипел и кашлял. Словно пытаясь избавиться от головокружения, учитель тихонько постукивал себе по лбу и переносице мундштуком.

Шахин-эфенди обнял его, как старого приятеля, погладил по спине, передал ему гостинец.

— Я знал, что у вас нет близкого друга, однако думал, всё-таки найдутся приятели, которые навестят вас, справятся о вашем здоровье... Всяко бывает с человеком. Даст бог, и эта буря минует... Знаете что? Считайте меня своим братом. Можете рассчитывать на мою поддержку в эти чёрные дни...

Нихад-эфенди смотрел на него не только удивлённо, но даже подозрительно, он недоверчиво улыбался, слушая и не решаясь верить Шахину.

— Дай господь вам удачи... Ничего не понимаю! Послушайте, дружище, с какой звезды вы свалились? А может быть, вас сюда занесло из доисторических времён? Право, не сердитесь, но столь неожиданное человеколюбие кажется мне подозрительным.

Из всего, что было принесено Шахином, узника больше всего порадовал табак.

— Я до того плохо себя чувствовал, так всё болело, что мне ничего не нужно было, а тут ещё на беду табак кончился. Я уж даже подумывал, не вытащить ли из тюфяка щепотку травы и не свернуть ли из газетной бумаги сигарку. Да будут вами довольны господь бог, Келями-баба и Эйюб-ходжа! Вот именно все трое,— если в этом городе доволен только один из них,

этого ещё недостаточно...

Несмотря на ужасный кашель, Нихад-эфенди отчаянно дымил. Он курил одну папиросу за другой и, казалось, постепенно оттаивал.

Старшему учителю Эмирдэдэ не терпелось скорее обсудить план спасения.

— Нихад-эфенди,— начал он,— Расскажи-ка мне, что ты знаешь по этому делу... Мне тоже кое-что известно, я многое слышал. Подумаем вместе, всё взвесим... Может быть, найдём какой-нибудь выход.

«Ну что за наивный человек, словно ребёнок, а ведь бороду отрастил...» — Нихад-эфенди иронически сжал губы и сказал с горькой усмешкой:

— Какой выход? Чего тут думать? Тюрбэ я спалил, ну и что ж, понесём наказание!..

Не странно ли: два человека, едва знакомые, понимали друг друга с полуслова, точно дружили вечно. Нихад-эфенди не стал уверять, что поджёт тюрбэ Келями-баба не он, а Шахин считал излишним убеждать собеседника, что он не верит всем сплетням. Они улеглись на соломенной циновке, на полу друг против друга, и завели длинный разговор:

— Ты, Нихад-эфенди, когда прибыл в Сарыова?

— Да уж лет восемь — десять.

— Видно, не полюбился тебе ни этот город, ни народ его... Почему же не уехал в другое место?

— Не знаю... Несколько раз пытался, да всё не удавалось. Застрял, как в болоте... одну ногу вытащишь, другая увязнет. Тут ещё сделал превеликую глупость — женился, детворой обзавёлся. Вот поэтому, по правде сказать, не особенно-то и старался удрать отсюда. Я убеждённый пессимист — уж больно много на моем веку досталось мне всяких бед да несчастий. Не уверен, что другие места — товар получше, чем Сарыова. Ведь известно, если осёл попадёт даже на свадьбу, ему всё равно либо воду таскать, либо дрова... Что Сарыова, что другие города — один чёрт, А переезд — только расходы на дорогу...

— А почему тебя жители Сарыова невзлюбили?

— В этом они не виноваты... Я их не полюбил, так чего ждать взаимности... Впрочем, большого вреда я им не причинил... Я всегда был одинок, даже у себя дома. Хотите, удивлю вас! Я никого не люблю... даже учеников, которых мы называем своими детьми... Впрочем, это вполне естественно. Я даже к собственным детям не питаю особой привязанности. Но что я действительно люблю — так это свою профессию. И счастлив я бываю только во время уроков... А потом, по вечерам, я засовываю бутылку

водки в карман и иду подальше в поле... Почему я так делаю? Изволь, могу сказать, ведь ты ни черта не смыслишь в выпивке... Пойми; пить водку там, где дышат воздухом дураки,— никакого удовольствия, так-то!

Нихад-эфенди немного помолчал.

— Вот я сказал, что не люблю своих учеников, а ведь меня так огорчил их поступок. Их слова причинили мне куда более сильную боль, чем камни, которые бросали в меня на улице. Самая непростительная глупость, самая бессмысленная подлость, которую могут совершать взрослые,— это натравливать учеников на учителя... Более того, они восстанавливают детей против отцов... Ты знаешь, именно поэтому испортились отношения между мною и моей семьей. Ложью, сплетнями они восстановили против меня жену и детей... Ну хорошо, пусть я недостоин уважения, не вызываю симпатии, расположения, но всему же есть предел...

Покашливая и сжимая виски пальцами, как будто у него болит голова, Нихад-эфенди продолжал:

— Знаешь, кого я увидел среди участников факельной процессии, устроенной той ночью в мою честь? Шестилетнего мальчика, сынишку моего Джемиля... Соседи привели его посмотреть на парадное шествие, которое совершал его отец с рогатой короной на голове... Да, да, я видел, как мой мальчик вместе со всеми радостно бил в ладоши и кричал: «Хей-хей! Вот участь поджигателя тюрбэ!»

Шахин-эфенди хотел узнать, о чём Нихада допрашивал следователь. Учитель стал подробно рассказывать:

— Прежде всего, он спросил, где я был в ночь пожара. Я ответил, что в поле, пил в одиночестве, домой вернулся поздно. — В следующий раз он сказал, что кое-кто видел меня перед вечерним эзаном, когда я проходил по кладбищенской дороге со свёртком под мышкой, а потом за полчаса до пожара меня встретил возле тюрбэ сын сторожа... А было все совсем не так,— продолжал Нихад.— Во время вечерней молитвы я сидел возле источника Байрам-Чавуш,— ведь это самое меньшее час ходьбы от города. Поблизости старик пастух совершал омовенье, потом стал молиться.

Мы с беднягой даже немного повздорили. Я пел песни, а старик меня упрекал: «Слушай, стыдно ведь, грех! Потерпи немного. Дай закончить намаз». Чтобы в один и тот же час распевать песни у источника Байрам-Чавуш и находиться на кладбищенской дороге, надо быть птицей или могущественным духом, вроде блаженного Келями-баба,— так я и сказал следователю. Что же касается встречи с сыном сторожа тюрбэ, то мы, вполне возможно, встречались с ним... во сне. Когда начался пожар, я давным-давно уже спал непробудным сном. Жена давай барабанить в

дверь, кричать: «Эй, ты, вставай!.. На кладбище пожар!» Ну, тут я ей сказал, чтобы шла заниматься своим делом. Чего беспокоиться? Пока пожар доберётся сюда с кладбищенского квартала, пройдёт часов восемь — десять. Дверь я, конечно, не открыл,— я всегда запираю дверь на ключ, когда ложусь, потому что не доверяю жене. Бывает и такое: пока я сплю, она по карманам шарит... Следовательно, вероятно, честный и опытный человек. Я понял, что он остался доволен моими показаниями. Он сказал, что вызовет пастуха, сына сторожа и мою жену и произведёт расследование. Пастуха нашли быстро по очень заметным приметам — у него одна сторона лица обожжена... Устроили очную ставку. Он подтвердил моё показание. И, несмотря на это, меня в тот же вечер арестовали.

Шахин-эфенди внимательно слушал рассказ и всё записывал в блокнот.

— Скоро суд,— сказал он.— Ты нашёл себе адвоката?

Нихад-эфенди посмотрел на него так, будто хотел сказать: «Ну и наивный же ты парень!»

— Надо обязательно найти хорошего адвоката, — продолжал учитель Эмирдэдэ.— Не беспокойся, этим делом я займусь сам.

— Но ведь деньги нужны.

— Сказал же тебе, я все сделаю. Деньги для адвоката найти не так трудно. У меня есть сбережения — лир около десяти. Когда выйдешь на волю, вернёшь долг.

— Неужели ты веришь в моё освобождение? Я думаю, ты просто из жалости хочешь меня утешить.

— Нет! Справедливость непременно восторжествует!

— Конечно! Только на том свете. Хотя и там, скажу тебе, Келями-баба, видно, пользуется большим влиянием..

Если даже меня не признают виновным, всё равно суд будет поддерживать общественное мнение, мнение властей.

— Да не будь ты таким пессимистом, Нихад-эфенди.

— А ты ребёнок, самый настоящий, Шахин-эфенди... Неужели ты ещё веришь, что в этом городе найдутся люди, которые будут защищать мои права? Они засудят меня без колебания...

— Я убеждён, что доброта и справедливость всегда присущи человеку, — это его врожденные качества. И если я потеряю веру в человека, честное слово, я не смогу прожить ни минуты.

И тут вечный пессимист Нихад, за всё время разговора не изменивший своего иронического тона, вдруг дрогнул. Из-под век, распухших от кровоподтеков и синяков, как-то странно сверкнули глаза, словно на них

показались слёзы.

— Пусть будет так,— проговорил он тихо.— Не скрою, тебе удалось поколебать меня... Да, видно, нельзя рубить всех под корень, если существуют и такие, как ты...

Глава двадцать первая

Вечером, после посещения тюрьмы, Шахин-эфенди вместе со своим другом Расимом пошли к Неджибу Сумасшедшему. Долго они обсуждали создавшееся положение. Инженер был настроен мрачно.

— Думаю, что результаты будут весьма плачевны. Учитель Нихад с треском сгорит на наших глазах, как и тюרבэ Келями-баба. Мы не сможем его спасти. Суд начнётся очень скоро. Состав суда известен — Зейд, Амир и прочие беи и эфенди, но на самом-то деле судить будут Эйюб-ходжа, мюдеррис Зюхтю-эфенди, Джабир-бей и другие. Будут ли доказательства в пользу Нихада или против него, окончательное решение вынесут эти господа. Поэтому уже сейчас можем считать, что уважаемый учитель приговорён к каторжным работам. Ну, разве только произойдёт чудо и между этими господами возникнут разногласия.

Шахин-эфенди находил, что опасения Неджиба преувеличены, хотя понимал, что инженер кое в чём прав.

Да, было над чем задуматься!

— Общественное мнение всё время усиленно подогревается...— рассуждал вслух старший учитель Эмирдэдэ.— Газета «Сарыова» мечет громы и молнии. Даже школьники поддались на провокацию... А демонстрация, ночное шествие с факелами!.. Господи, какое это было безумие... Всё, всё это дурные предзнаменования... Следовательно вроде честный, серьёзный человек. Всё колебался, арестовывать ли Нихада-эфенди. А вот нет, не выдержал, когда на него нажали. Наверно, таким же образом нажмут и на суд... А долго ли он сможет сопротивляться?..

Неджиб презрительно фыркнул и пожал плечами.

— Я не столь скептически отношусь к составу суда,— проговорил Шахин.— Согласно донесениям полиции, пожар, несомненно, возник в результате злоумышленного поджога. Но никаких улик против Нихада-эфенди в донесениях нет. Ведь не может же суд заявить: «Учитель-эфенди!

Не ты ли в пьяном виде на всех перекрестках да по всем углам разглагольствовал, что надо поджигать все тюрбэ... Если так, значит, ты и есть поджигатель... И виноват ты ещё потому, что общественное мнение считает тебя преступником...» Ну, хорошо, можно ещё предположить, что такой противозаконный приговор способен вынести суд духовный, по шариату. Но нельзя же издать подобной выходки от суда светского, от гражданских судей! Если они отважатся на такое, существует ещё кассационный суд.

Неджиб упрямо не желал слушать доводы Шахина, он гудел себе под нос какой-то марш, тихонько отбивая барабанную дробь кулаком по столу...

Однако Шахин-эфенди не обращал на него внимания и продолжал размышлять вслух. Он говорил медленно и нерешительно:

— Правда, там нет никаких улик против него. Впрочем, какой-то отставной чиновник показал, что встретил учителя во время вечерней молитвы на кладбищенской дороге. Но ведь в это время Нихад-эфенди находился у источника на расстоянии не меньше полутора часов ходьбы от города и разговаривал с пастухом, у которого обожжено лицо. Показания пастуха полностью опровергают показания чиновника.

— А сын сторожа тюрбэ,—напомнил Расим.— Он утверждал, что за полчаса до пожара видел Нихада-эфенди в окрестностях гробницы.

Шахин-эфенди нахмурил брови.

— Вот, вот! От этой брехни меня просто воротит... Но Нихад-эфенди может доказать, что в этот час он был уже дома и спал...

Вдруг Неджиб перестал гудеть.

— А по-моему,—возразил он,—для суда к тому времени испекут веские доказательства. Вот попомните меня.

Учитель Эмирдэдэ даже рассердился.

— Ну, хорошо,—возмущённо закричал он на Неджиба, точно решил поругаться с ним,—объясни мне, какого дьявола все накинудись на этого человека? Чего они хотят от него? Засудят его понапрасну, а им что от этого?

Инженер сочувственно улыбнулся.

— Эх, милый мой Доган-бей!.. Сколько раз тебе надо повторять: как всякий идеалист, ты страдаешь избытком простодушия, граничащим с глупостью. Вы, идеалисты, никак не хотите понять, что существуют ещё люди, которые сеют смуту во имя господа бога, интригуют и причиняют другим боль только ради собственного удовольствия. Дорогой мой, ты удивляешься, что дети испытывают удовольствие, таская кошку за хвост или отрывая у мухи крылья. Ну, вот кое-кто из взрослых похож на этих

детей. Впрочем, их желание осудить Нихада-эфенди не столь уж беспричинно. Они хотят на этом кое-что заработать. Могу тебе перечислить, какие именно выгоды они постараются извлечь...

Инженер помолчал.

— Прежде всего, они хотят разжечь в народе религиозный пыл, который несколько поостыл за последнее время. И повод самый подходящий... Разве найдёшь более действенное средство, чем объявить религию и шариат в опасности. Крикнуть: «Безбожники сожгли тюрбэ Келями-баба!» — это то же самое, что обратиться к невежественным фанатикам, которых ты называешь «добровольцами зелёной армии», с призывом: «Эй, правоверные! Тревога! К оружию!» Ведь проводят же периодически манёвры в армии, чтобы солдаты не забыли своего ремесла, так и для добровольцев зелёной армии нужны манёвры... Во-вторых, этот судебный процесс если и не скомпрометирует людей свободомыслящих, которых ходжи обвиняют в безбожии, франкмасонстве^[73] и тому подобных грехах, то, во всяком случае, поставит их в весьма затруднительное положение. Защищаешь ты, к примеру, свою идею «новой школы», а твой противник даже слышать ничего не хочет, только и твердит: «Знаем мы, кто ты такой! Ты тюрбэ Келями-баба поджигал...» Теперь, в-третьих, Нихад-эфенди — учитель французского языка и математики... Понимаешь, что это значит, Доган-бей?.. Математика и французский! Два предмета, которые никогда не смогут проникнуть в медресе... И вот учитель французского языка и математики осуждён на каторгу как поджигатель,— какая блестящая победа для медресе... Вы считаете, что наши медресе, наши науки устарели и обветшали. Новая школа! Новая наука! — Всё вздор!.. Вон он, ваш учитель, преподаватель новых наук... Взял и поджёг гробницу... А его ученики предадут огню всю страну, уничтожат шариат!.. Попробуй теперь, Доган-бей, возрази против такой красноречивой проповеди... Я сомневаюсь, чтобы Нихад-эфенди мог поджечь гробницу, но несомненно другое — сторонники медресе хотят подложить бомбу под гимназию. Вот увидите, не сегодня-завтра запахнет гарью. Тогда вы скажете, что я был прав...

По всей вероятности, последнее соображение только что осенило Неджиба Сумасшедшего.

— Да, да! — кричал инженер; эта мысль, как пламя пожара, завладела им полностью.— Несомненно, покушение на гимназию!.. Однако как объяснить это заведующему отделом народного образования, тем более директору гимназии? Директор хоть и учился в Галатасарае, с грехом пополам умеет лепетать по-французски и нахватался каких-то весьма

смутных знаний, но он что ни на есть круглый невежда, да ещё imbécile^[74] [Дурак (франц.)]. Знаешь, Доган-бей, я отказываюсь от своих прежних намерений. Я готов вместе с тобою броситься в атаку. Будем помогать этому Нихаду-эфенди.

Шахин отчаянно замахал руками.

— Аман! Сохрани тебя господь! — воскликнул он. — И не думай делать этого. Можешь оказывать помощь, но только тайно, а в открытую — ни в коем случае. Да нас с тобой в ложке воды утопят!.. И потом ты человек горячий, неводержанный...

В ту ночь был разработан план: Шахин и Неджиб, не теряя времени, нанимают хорошего адвоката; однако предварительно Шахин встречается с ответственным секретарем. Лучшее средство оградить суд от постороннего влияния и давления — привлечь на свою сторону Джабир-бея.

Глава двадцать вторая

Как раз в тот период между ответственным секретарем и Шахином-эфенди сложились хорошие отношения. Джабир-бей довольно регулярно навещал школу Эмирдэдэ, пил у Шахина кофе, потом заставлял детей петь патриотические песни и делать гимнастические упражнения.

А Шахин-эфенди только радовался: софты вынуждены были попридержаться язык, видя, что ответственный секретарь благоволит к школе. Кроме того, «высокое покровительство» обеспечивало Эмирдэдэ некоторые материальные выгоды.

Но в этот день Джабир-бей принял Шахина-эфенди хмуро и сдержанно.

— Я сердит на тебя, ходжа, — без предисловий заявил он. — Говорят, ты против партии выступаешь.

— Это, наверно, завистники говорят, — не смущаясь, ответил Шахин. — Они всё не могут успокоиться, видя, как вы проявляете внимание к нашей школе и к моей ничтожной личности. Вот и стараются опорочить меня, унижить в ваших глазах. Во всяком случае, я убеждён, что вы не верите в эти сплетни.

Джабир-бей: кивнул головой и улыбнулся.

— Ну конечно... Однако что-то вы не больно похожи на горячего

сторонника партии. Приближаются выборы. У меня есть сведения, что оппозиционеры развивают тайную активность. Что же получится, если друзья оставят нас в эти тяжёлые дни?..

— Ваш упрёк, надеюсь, не больше чем шутка,— тотчас же отпарировал Шахин.— Я стараюсь с вашей помощью создать в Сарыова хорошую школу и тем самым усилить влияние партии, стоящей у власти. Разве для нашей партии это не достаточная услуга? — Так польстив ещё немного Джабир-бею, Шахин перешёл к делу и высказал все свои опасения в связи с судом над учителем Нихадом-эфенди.

Ответственный секретарь слушал, нервно щуря глаза и гневно играя бровями. Когда Шахин кончил говорить, он ответил очень холодно:

— Я тоже не больно верю в виновность Нихада-эфенди. Вместе с тем должен сказать, что не нравится мне этот человек. Только что я с вами шутил. А теперь уже без шуток: Нихад-эфенди — один из самых ярых наших противников.

— Видите ли, он по своей натуре человек больной, пессимист и настроен враждебно ко всем и ко всему... Если бы он был политиком...

— То есть злоумышленником, так, что ли, Шахин-эфенди? — резко перебил Джабир-бей. словно хищная птица, камнем бросившаяся с неба, чтобы схватить из-под наседки цыплёнка, он поймал Шахина на слове.— Очень доволен, что вы сами сказали об этом. Древние спартанцы сбрасывали с высокой скалы своих детей — калек и уродов, не способных служить отечеству... И будь это в моей власти, я поступил бы точно так же с нашими соотечественниками, у которых гнилые головы...

— Однако вы не пожелаете зла Нихаду-эфенди только потому, что он больной человек? Разве можно поступать несправедливо?

И без того полнокровное лицо Джабир-бея покрылось багровыми пятнами.

— Странные слова говорите, братец мой... Какое, собственно говоря, отношение я имею к делу Нихада-эфенди? Что я, судья?

— Я, видимо, недостаточно ясно объяснил вам свои соображения. Все настроены против этого человека. Поэтому я опасаюсь, что суд поддастся влиянию...

— Вы верите, что наш суд способен на такое? Шахин-эфенди поперхнулся, судорожно проглотил слюну и стал нервно потирать руки. Что ответить? Тут не скажешь ни да, ни нет.

— Оставим этот разговор о Нихаде-эфенди,— произнёс Джабир-бей тоном, не допускающим возражения.— Пусть суд решает так, как сочтёт нужным. Нам следует подумать о более важных делах. Итак,

приближаются выборы. Я уверен, что молодые учителя поддержат партию. А вот о стариках, о наших ходжах, вести неутешительные. Наши противники, соглашечники^[75], стараются прибрать их к рукам...— Ответственный секретарь говорил ещё очень долго и всё в том же духе.

Расставшись с Джабир-беем, Шахин отправился на базар, где в кофейне его должен был ждать Неджиб.

— От Джабир-бея толку никакого! — сказал Шахин, безнадежно махнув рукой.— Нихада-эфенди ему отрекомендовали как самого ярого оппозиционера. И вообще ему сейчас не до этого. Нагнали на него страху разными разговорами, будто старые ходжи вот-вот объединятся с оппозицией. Насколько я понял, Джабир-бей боится поддерживать Нихада-эфенди потому, что это может взбесить старых ходжей, и он лишится поддержки группы мюдерриса Зюхтю. Как нас подвели эти выборы!..

Хасан Талаат-бей считался самым знаменитым адвокатом в Сарыова. Когда-то он преподавал в Высшей школе права, потом в первый год свободы после провозглашения конституции несколько месяцев состоял советником министерства юстиции. О нём обычно говорили как о крупнейшем законнике.

Естественно, что Шахин-эфенди решил обратиться именно к нему с просьбой вести дело Нихада. Однако друзья запротестовали:

— Хасан Талаат безусловно великолепный адвокат,— самые безнадежные, самые сомнительные дела выигрывает... Но ведь он занят по горло. К тому же чересчур жаден до денег. Все его клиенты — люди богатые. К нему бесполезно обращаться.

Шахин-эфенди не желал никого слушать и твердил своё:

— Я уверен, что он не откажет. Не надо бояться человека образованного. Будем надеяться, что это дело его заинтересует куда больше, чем деньги. Вы только подумайте: разве не великое счастье — спасти невинного человека от позора и гибели, от незаслуженной кары, спасти назло всему городу, назло всем ходжам и хаджи, всем чиновникам и купцам... И потом адвокат — уроженец города. Разве он останется безучастным, когда его любимый Сарыова поступает столь несправедливо. Вот увидите, Хасан Талаат-бей обязательно заинтересуется процессом.

То же самое собирался Шахин сказать и адвокату, однако Хасан Талаат-бей очень холодно принял бедно одетого учителя начальной школы. Он стоя выслушал Шахина, как бы желая подчеркнуть, что не намерен предлагать посетителю стула. Услышав имя Нихада-эфенди, он нахмурился:

— А-а! Тот самый, что, говорят, поджог тюрбэ, кажется, так? К

сожалению, я очень занят. У меня сейчас идут важные процессы. Придётся вам обратиться к другому адвокату.

Шахин-эфенди рассчитывал, что если Хасан Талаат-бей и не возьмётся защищать, то по крайней мере хоть даст кое-какие советы. Однако, встретив столь холодный и пренебрежительный приём, Шахин не осмелился больше произнести ни единого слова и удалился.

Он шёл и бормотал себе под нос:

— Что ж, сам виноват, нечего было соваться...

Теперь он направил свои стопы в контору другого адвоката по имени Русухи-бей, бывшего председателя кассационного суда.

Поговаривали, что Русухи-бей человек свободомыслящий, и, видимо, поэтому дела у него в Сарыова шли плохо.

Он очень любезно принял Шахина-эфенди. Дело Нихада было ему уже известно, а те подробности, которые не знал, он выслушал внимательно и даже с большим сочувствием. Учителя Нихада-эфенди он пожалел, осудил демонстрацию, которую устроили жители Сарыова «против учителя своих детей», однако тут же намекнул, что этот разговор должен остаться между ними.

Шахин-эфенди уже считал свою миссию выполненной, когда адвокат вдруг сделал совершенно неожиданный вывод, который никак не вязался с тем, что было сказано до этого:

— Данный процесс, к сожалению, я не могу взять на себя,— моё участие в нём только повредит Нихаду-эфенди. Меня не любят в Сарыова, считают человеком свободных и независимых взглядов. Любые самые достоверные факты суд возьмёт под сомнение только потому, что они исходят из моих уст. Моё выступление в качестве защитника ещё сильнее взбудоражит общественное мнение и восстановит присяжных против обвиняемого... Особенно в таком процессе, как поджог тюрбэ. Давайте-ка лучше подумаем о другом адвокате... Так... Кто же у нас ещё есть? Кого бы нам пригласить?.."— И Русухи-бей глубоко задумался, изредка почесывая то голову, то нос...— Может быть, Хасиба Кемаля... Если к нему обратиться? Впрочем, я слышал, он выставил свою кандидатуру на выборах. В таком случае, я полагаю, он побоится разгневать партию софт.

— А что вы скажете о Мехмеде Вехби-бее? — спросил Шахин-эфенди. Русухи-бей рассмеялся.

— Подумайте, что вы говорите! Разве вы не знаете, что Вехби-бей в год провозглашения конституции вступил в партию свободы^[76], потом одно время выступал вместе с соглашенцами. Вы же понимаете, как выборы беспокоят Джабир-бея. Не хватало ещё, чтобы бедному Нихаду-эфенди

приклеили ярлык оппозиционера, уж тогда он неминуемо погибнет... Кого бы найти? О господи, помилуй нас грешных... Кого бы нам найти?..

— Шекиб-бей как?

— Это какой Шекиб-бей? Свояк начальника жандармерии и зять шейха ордена Кадири? Ничего себе, подходящего человека отыскиали... Ага, вспомнил: Хайреддин Хайдар... Но он, кажется, претендует на дочь Хаджи Эмина... Если так, он, конечно, не возьмётся за это дело...

У Шахина-эфенди в блокноте были предусмотрительно записаны имена всех известных адвокатов Сарыова, и тогда он стал называть их подряд:

— Али Фадыл-бей...

— Не возьмёт... Он адвокат вакуфного управления.

— Керим-бей?

— Ну, этот своей собственной тени боится. Уж он-то не станет связываться с таким опасным делом.

— Джемаль-бей...

— О-о-о!.. Этот только и заботится о собственной выгоде. Наверняка испугается и откажется, чтобы не потерять богатых клиентов, а они у него большей частью из духовных лиц или знатных горожан.

Шахин-эфенди пришёл в отчаяние.

— Выходит, во всём Сарыова нельзя найти адвоката, который бы сказал несколько слов в защиту человека, несправедливо обвиняемого?

— К сожалению, почти так,— признался Русухи-бей.— Хотя в Сарыова есть и другие адвокаты, но большинство их — софты. Если даже они и возьмутся за это дело, мы не можем им доверять.

— Неужели они способны предать интересы своих подзащитных?

— Всего можно ожидать.

— Бей-эфенди, поймите меня как следует: Нихад мне не родственник и не друг, даже не знакомый. Ждать от этого дела для себя хорошего мне не приходится, наоборот — будут одни хлопоты и неприятности. Однако я вмешался в эту историю, потому что жизнь и честь несчастного человека в опасности... Научите меня уму-разуму. Я совсем растерялся.

Русухи-бей ласково поглядел на Шахина-эфенди и сочувственно улыбнулся.

— Конечно, что-нибудь придумаем,— поторопился успокоить он Шахина.— Действовать мы вынуждены очень осторожно. Это только кажется, что в Сарыова этих самых адвокатов хоть пруд пруди. Знаете, в начале базара, в подвалах большого хана, целый ряд кофеен — настоящая коллегия адвокатов. В каждой кофейне можно встретить не меньше двух-

трёх представителей этой профессии. Все приезжие из окрестных городов и деревень обычно останавливаются в хане, на постоялом дворе. И у большинства из них — процентов восьмидесяти — непременно есть дела и тяжбы в шариатских и гражданских судах. Вот там и рыскают в поисках очередной жертвы адвокаты. Как паук на муху, попавшую в паутину, набрасываются они на крестьян. В погоне за клиентами на какие только уловки, на какое шарлатанство не идут эти господа; по сравнению с ними уличные продавцы — сущие младенцы. Как только не обнадёживают они бедняков, даже при самых безнадёжных делах. Вы бы послушали: торговля идёт, как на базаре, с шуточками да прибауточками — «Сперва дадим имя ребёночку...» — или ещё что-нибудь вроде этого. До того противно!.. Можно возненавидеть эту профессию. Короче говоря, господа адвокаты обирают дочиста бедных крестьян, приезжающих искать свои права. Нашего защитника мы, конечно, среди них искать не будем... Остаётся один выход. Я знаю недавно прибывшего в Сарыова молодого адвоката, по имени Ихсан. Опыта у него, естественно, никакого нет, но он человек умный и способный, а главное — честный малый. Поручите дело ему. Думаю, он возьмётся с удовольствием, ибо клиентов у него ещё нет. Процесс сенсационный — поджог гробницы как никак, для дебюта такое дело трудновато, но может принести ему успех. Боюсь только, он один не справится, однако я согласен помогать при условии, что моё участие останется в тайне.

Шахин-эфенди так обрадовался, что готов был расцеловать Русухибей, — только застенчивость помешала ему осуществить своё желание.

Провожая старшего учителя Эмирдэдэ, адвокат остановился в дверях кабинета и, ласково похлопав Шахина по спине, сказал:

— Какой вы удивительный, честный и душевный человек. Откровенно говоря, когда вы пришли, меня вся эта история мало интересовала. Но ваш энтузиазм просто заразил меня. Теперь дело Нихада-эфенди — моё кровное дело. Бог даст, мы сделаем всё, чтобы добиться успеха.

Глава двадцать третья

Адвокат Ихсан внимательно выслушал Шахина-эфенди.

— Я с радостью возьмусь. Прекрасный предлог иметь честь

познакомиться с Сарыова. Если, вопреки общему сопротивлению, я выиграю процесс, тем лучше для меня... В противном случае, я собираю свои пожитки и покидаю Сарыова, что, впрочем, меня также несколько не огорчит...

Ихсан был рослым молодым человеком лет двадцати восьми. Шахин-эфенди так передавал товарищам свои впечатления от первой встречи с ним:

— Пока мы болтали о разных пустяках, он казался мне легкомысленным и наивным: суждения его порою необдуманно, а сам он беспечен, точно великовозрастный гимназист-лоботряс... Но когда разговор зашёл о деле, он как-то сразу повзрослел, предстал человеком бывалым и дальновидным, будто ему уже за сорок перевалило. Короче говоря, иногда он выглядит намного старше своих лет, иногда — намного моложе... Во всяком случае, несомненно одно — он самоотверженно будет сражаться на нашей стороне.

Приближался день суда. Адвокат Ихсан, готовясь к защите, часто посещал Нихада-бея в тюрьме и иногда тайком ходил к Русухи-бею на консультацию.

Молодой адвокат был настроен столь же оптимистично, как и Шахин-эфенди.

— Подумаешь, Нихад-эфенди говорил, что все гробницы нужно сжечь! Пустая болтовня! Свидетельские показания такого рода несостоятельны и приняты быть не могут. Что же касается утверждений отставного чиновника и сына сторожа, то они начисто опровергаются показаниями пастуха и жены Нихада. Ведь они говорили, что во время эзана учитель находился за городом, а за полчаса до пожара — дома. На что же будет опираться суд, чтобы доказать виновность Нихада-эфенди и осудить его? И ещё одна мысль сверлит мой мозг: тюрбэ Келями-баба безусловно подожгли! Но кто? С какой целью? Ах, если бы ухватиться за какую-нибудь ниточку...

Неожиданная новость, появившаяся в газете «Сарыова» накануне суда, поразила Шахию-эфенди и его товарищей, словно гром среди ясного неба.

«...Наш корреспондент посетил старого пастуха по имени Исмаил-ага. Он меняет своё первоначальное показание! Исмаил-ага нам рассказал: «Я и правда видел этого человека, но не во вторник, а в понедельник вечером, то есть за день до пожара. Господину следователю я неправильно указал день, запомнил, видно, по-старости... Я честный мусульманин. Руки у меня отнимутся... Боюсь грех на душу взять. Я так всё и объясню суду»...

Кроме того, нам стало известно, что жена Нихада-эфенди, — как она

объяснила корреспонденту,— из-за недомогания легла в ту ночь рано и поэтому не знает, в котором часу муж вернулся домой, так как проснулась только к концу пожара...»

— Все карты спутали! — в отчаянии восклицал адвокат Ихсан.— Разрушили нашу защиту до основания...

Шахин-эфенди потерял своё обычное душевное равновесие и, сжимая кулаки, кричал:

— Негодяи! Уговорили, проклятые, обманули пастуха! Злую шутку с нами сыграли... Это они всё в последние дни устроили. А новые показания женщины — работа всё той же фирмы! Несчастный Нихад-эфенди!.. Ведь довели они его до того, что бедняга кричал: «Моих собственных детей натравили на меня!» Ну, а жену восстановить против мужа им ничего не стоит. Вот она и свидетельствует против него. Может быть, они её запугали или подкупили, пообещав найти лучшего мужа? Разве узнаешь... Тысячи самых разных уловок и хитрых фокусов у этих дьяволов...

Доган-бей, ну что ты горюешь, как слепой, потерявший палку. Это всё без толку,— заявил Неджиб.— Надо что-то придумать.

Ихсан вдруг вскочил с самым решительным видом.

Я иду к Русухи-бею. Будем советоваться. Систему защиты я изменю, пожалуй, рискну на дерзкий шаг. У кавказцев есть поговорка: «Или осёл поклажу, или поклажа осла». Была не была! Навьючим все на пастуха и на жену Нихада-эфенди. Я обвиню их в лжесвидетельстве. Они отказались от своих первых показаний в результате угроз и уговоров... Люди они простые. Перекрёстным допросом суд заставит их сказать правду. Я буду настаивать. Но этим я не удовлетворюсь. Да, да, я скажу во весь голос: если уважаемый суд выведет на чистую воду тех, кто принуждал к лжесвидетельству старого пастуха и эту женщину, он тем самым не только спасёт Нихада-эфенди от несправедливого приговора, но и схватит за воротник действительных преступников. Ибо раз подтверждается, что пожар — результат умышленных и преднамеренных действий, значит, непременно должны быть и злоумышленники. Безусловно и другое: виновник или виновники этого преступления стараются направить следствие на ложный путь. Вместо себя они хотят подсунуть невиновного и добиться его осуждения. Допросите ещё раз пастуха и женщину. Заставьте газету «Сарыова» объяснить столь удивительное совпадение: почему сообщения о том, что главные свидетели изменили свои показания, опубликованы в один день. С особой тщательностью допросите сына сторожа тюрбэ и отставного чиновника, которые упорно твердят, что видели Нихада-эфенди в ночь происшествия...

Неджиб захлопал в ладоши.

— Браво, Ихсан! Прекрасно!

С места сорвался Шахин-эфенди.

— Подожди, не шуми! Речь защиты, а точнее, контратаку я нахожу великолепной. Однако в этом вопросе я не могу пока доверять собственной логике... Всех тонкостей закона мы ещё понять не в состоянии. И не в обиду будь сказано, как раз в этом пункте я не слишком доверяю даже Ихсану. Как бы там ни было, но он юноша пылкий и малоопытный. Идём вместе к Русухи-бею. Второпях да в волнении как бы ошибок не наделать, тогда погубим бедного человека.

Глава двадцать четвёртая

Закон был ясен и не допускал никаких толкований. Статья сто шестьдесят третья гласила: «Всякий, кто вызовет пожар с заранее обдуманном намерением (если в результате этого пожара не было человеческих жертв), приговаривается к каторге пожизненно».

Около тридцати свидетелей, приняв присягу и поклявшись на Коране, словно прилежные ученики на экзамене, повторяли на суде одно и то же: они знают Нихада-эфенди как безбожника и безнравственного человека; собственными ушами они слышали, что он говорил: «Сжечь это тюрбэ до основания...»

Однако никто из них не подтверждал, что собственными глазами видел, как учитель поджигал гробницу. Только отставной чиновник и сын сторожа на суде, как и на следствии, показали, что видели учителя в окрестностях Келями-баба во время вечерней молитвы, приблизительно за полчаса до пожара.

Пришла очередь давать показания жене Нихада-эфенди и пастуху. Женщина, видимо, очень волновалась,— она вся как-то съёжилась под широким чёрным чаршафом. В своих показаниях она подтвердила то, о чём уже сообщала газета «Сарыова».

Что же касается пастуха, то он держался очень спокойно; на лице его была написана безмятежность, свойственная людям честным и простым. Без малейшего колебания он положил руку на Коран и присягнул. Потом, указывая пальцем на Нихада-эфенди, сказал:

— Да, я видел этого человека около источника. Но теперь я хорошо вспоминаю, это было не в день пожара, а накануне. Что поделаешь, старость... Раньше я неверно указал день...

Шахин-эфенди не поверил в наивную простоту старого пастуха, он точно почувствовал, что за ней скрывается корыстолюбие лицемера.

Суд счёл необходимым заслушать также показания товарищей по работе и начальства Нихада-эфенди.

К свидетельской трибуне друг за другом подходили заведующий отделом народного образования, директор гимназии, учителя...

Заведующий казался опечаленным и даже несколько сконфуженным.

— Нихад-эфенди относится к своей работе достаточно старательно, любит своё дело. Что же касается его частной жизни, то тут, к сожалению, ничего хорошего я о нём не слышал. Вместе с тем я не замечал в этом человеке склонности к смуте, бунтарских настроений. Никак не могу поверить, чтобы он ни с того ни с сего мог поджечь гробницу Келями-баба.

Директор гимназии, вырядившийся в форменный мундир, словно для праздничного визита, начал свою речь, как заправский оратор:

— Один знаменитый философ сказал: «Я люблю Сократа, но истину я люблю больше»^[77]. Не претендуя на философическую мудрость, ваш покорный слуга позволит себе, однако, перефразировать эти слова. Уже многие годы мы с Нихадом-эфенди коллеги, мы товарищи по профессии, и я люблю его, но справедливость и истину я люблю ещё больше...

После столь витиеватого вступления директор гимназии буквально обрушился на Нихада-эфенди. Он постарался даже уколоть заведующего отделом народного образования.

— Когда чиновник, или служащий, или, скажем, учитель аккуратно исполняет свои обязанности, это, безусловно, заслуживает всяческого одобрения. Но, по моему скромному разумению, нельзя так узко, однобоко понимать слова: «Любит своё дело». Мало любить дело, надо ещё посмотреть, а каковы результаты этого дела...

И тут директор гимназии начал обстоятельно разбирать недостатки уроков Нихада-эфенди. Свою критику он закончил язвительным замечанием:

— Учитель Нихад-эфенди не пропустил ни одного часа занятий. Даже когда он бывал болен, он приходил на уроки. Но, несмотря на это, познания учеников и в математике и во французском языке находятся, к сожалению, в весьма плачевном состоянии...

И вдруг подсудимый, следивший за процессом с меньшим интересом, чем многочисленная толпа зрителей, давивших друг друга на галерее для

публики, впервые обратился к председателю суда и попросил слова. Зал замер. Затаив дыхание от любопытства, все ждали: наконец преступник сообщит что-нибудь важное. Но учитель и не думал защищать себя, он встал на защиту науки.

— Все уроки как уроки...— сказал он насмешливо.— Да и учат у нас вроде бы одинаково. Только вот когда французского языка не знают, то по-французски не говорят, а когда в математике не разбираются, то и задачу решить не могут. Поэтому невежество ученика сразу в этих предметах заметно. Между тем если ученика, не знающего истории или, скажем, химии, спросят заданный урок, и он ответит, потому что вызубрил его, ничего не понимая, то считается, что такой школьник прекрасно знает весь курс истории или химии. Следовательно, виноват тут не учитель, а предмет, который он преподаёт...

В публике поднялся шум, смех. Председатель суда призвал директора и Нихада-эфенди к порядку, заметив, что судебное заседание — не место для дискуссии по педагогическим вопросам, и предложил вернуться к показаниям.

Директор гимназии продолжил своё выступление. Сначала он сделал небольшой экскурс на тему о том, что говорить перед судом правду — не только высшая духовная обязанность человека, но и его право, религиозный и национальный долг. Потом он опять обрушился на Нихада-эфенди, обвинив учителя в том, что тот не научил ничему полезному своих учеников и даже больше того внушил им вредные идеи. И он, как директор гимназии, уже понял с, некоторых пор, что человек этот приносит вред, но все его попытки оградить учеников от вредоносного влияния, избавить школу от подстрекателя не увенчались, к сожалению, успехом.

Это уже было открытое нападение на заведующего отделом народного образования. Бедняга задыхался от негодования,— вены на его шее вздулись, вся кровь, казалось, бросилась в лицо; пальцы судорожно рвали тесный воротник, сжимавший горло.

И тут Шахин-эфенди вспомнил, что ещё несколько дней назад до него дошли слухи, будто ходжи хотят сбросить заведующего, а на его место посадить директора гимназии. Выходило, что разговоры эти оправдывались. Неджиб толкнул в бок Шахина и, словно угадав, о чем тот думает, тихонько прошептал:

— Вот пройдоха! Вот чёртов сын! На место заведующего метит...

Шахин-эфенди пробормотал себе под нос:

— О господи, ну и дела творятся! Что за порядки? Подчинённый

критикует на суде своё начальство и не боится, что его выгонят в шею... Это же критика и министерства просвещения!..

— Эх ты, бедный мой, глупый ребёнок,— ответил ему Неджиб.— Ну и простачок же ты у нас... Да всех здешних чиновников и учителей снимает и назначает не министерство просвещения, а обитатели тюרבэ Сарыова. А все указания идут из гробницы султана Махмуда в Стамбуле.

После директора давали свидетельские показания учителя гимназии. Все они долго и лениво жевали какие-то бесцветные, ненужные, никому ничего не говорящие слова.

Речь прокурора, если её излагать вкратце, сводилась к следующему:

— Учитель Нихад-эфенди — алкоголик и душевно больной. Алкоголь убил в нём всё человеческое, не оставил в душе его ни капли любви к детям, никакой привязанности к семье...

В этом человеке также угасло чувство любви и преданности к своей профессии, к родине и религии. Он конщунствует везде, где только можно, понося великих пророков и святых, призывая совершать поджоги священных мест — гробниц и усыпальниц. Мысль о том, что нужно сжечь все тюרבэ, стала для него идеей фикс. Так почему же нельзя допустить, что этот человек, больной алкоголизмом, однажды ночью не привёл в исполнение свою навязчивую идею и не сжёг гробницу Келями-баба? Правда, свидетелей нет, но разве не является достаточно убедительным доказательством тот факт, что этого человека дважды — во время вечернего эзана и за час до полуночи — видели как раз в районе кладбища, то есть именно в том месте, где он, по его собственным утверждениям, даже днём никогда не бывал...

Нихад-эфенди должен быть строго осуждён, согласно статье сто шестьдесят третьей. Однако, принимая во внимание нижеследующие смягчающие вину обстоятельства, как-то: умственную деградацию в результате злоупотребления спиртными напитками и психическое расстройство, а также крайнюю степень опьянения, в котором находился обвиняемый, в результате чего преступление совершено в состоянии невменяемости, правосудие может ограничиться применением другой статьи и вынести более мягкий приговор...

Наконец наступила очередь защитника Ихсана-бея. Молодой адвокат подготовил свою речь, очень резкую и острую, по тому плану, который он изложил ещё раньше своим друзьям. Ни судьи, ни присяжные, ни публика — никто, конечно, не ждал сенсационного выступления от незнакомого человека, да ещё с таким мальчишеским лицом. Поэтому первые слова Ихсана-бея были выслушаны с нескрываемым равнодушием и даже

презрением. Но уже через мгновение зал пришёл в движение, как будто откуда-то налетел и пронёсся по рядам сильный порыв ветра. Дремавшие в своих креслах судьи выпрямились и застыли в недоумении, переглядываясь непонимающим взглядом, точно были не в состоянии поверить своим ушам. Публика в ложах и на галерке в безмолвном порыве подалась вперёд, налегая друг на друга. Люди жадно тянули шеи, становились на цыпочки, прикладывали руку к уху, словно пытались услышать далёкие, еле доносившиеся слова. Между тем Ихсан-бей говорил громко, и страстный голос его, казалось, готов был проникнуть под самые высокие своды...

— Истинные виновники пожара, поджигатели и злодеи с чёрными намерениями и грязными руками, надеются спасти себя от карающей руки правосудия... Они хотят, чтобы был осуждён и наказан безвинный... Они хотят погубить несчастного человека и вместе с ним уничтожить истину и справедливость...

Заседание суда было прервано. История принимала скандальный характер.

Уже прочитана вечерняя молитва. Все давно разошлись по домам. На тёмных улицах ни души. Немного погода погасли и тусклые огоньки в окнах домов, за плотными занавесками. Сарыова спал...

А на следующее утро по всему городу — на всех углах, у всех на устах — только и слышно было:

— Пожар в Келями-баба — дело рук не одного Нихада... В этом преступлении замешаны все наши безбожники и фармазоны... И самое страшное, это лишь начало... Если злоумышленники не будут пойманы, сгорят и другие гробницы, а за ними очередь дойдёт и до мечетей, медресе...

Оказывается, «комитет», состоящий из безбожников и фармазонов, решил сжечь все религиозные учреждения в Сарыова, и, разумеется, никто не может при этом гарантировать, что жизнь и имущество правоверных будут в безопасности.

Открыто называли имена некоторых членов этого «комитета». В их числе были Шахин-эфенди, инженер Неджиб и даже заведующий отделом народного образования...

Итак, новые сплетни были первой контратакой, организованной в ответ на выступление адвоката Ихсан-бея в суде. Партия софт переходила в открытое наступление против всех подозрительных...

— Доган-бей, смотри, пожар-то вдруг как разгорелся,— сказал Неджиб Сумасшедший Шахину-эфенди.— Пожалуй, нам больше нечего делать в

Сарыова... Пора собираться в дорогу.

Учитель Эмирдэдэ в ответ лишь рассмеялся. Он был в отличном настроении, словно дожидаясь до того великого дня, которого так долго ждал.

— На меня не рассчитывай. Я себя навеки посвятил этому городу...

Больше всех радовался, пожалуй, адвокат Ихсан-бей.

— Мы вчера запустили камнем в неизвестное... просто так, наугад... И что же?.. Со всех сторон понеслись крики и вопли. Выходит, единственным камнем мы попали сразу во многих. Сила ответной реакции, вызванный эффект убедили меня в том, что ударили мы не впустую. Обвинение, которое мы вчера бросили,— всего только военная хитрость. Честно говоря, я и сам не особенно верил в свои слова. Но сегодня я понял, как близки мы к истине. Преступника нужно искать среди софт, и найти его надо во что бы то ни стало. Чтобы спасти не только Нихада-эфенди, но и вас, меня, всех свободомыслящих людей в городе... Чтобы спасти наши идеалы — это поважнее, чем люди,— наше стремление к возрождению, прогрессу... Ах, как важно было бы найти поджигателя среди софт. Как бы упал тогда их престиж в глазах народа.

— Всё это прекрасно, дорогой Ихсан-бей, только желание твоё, прямо скажем, вроде мечты, да ещё самой неисполнимой,— как можно спокойней проговорил Шахин, стараясь урезонить адвоката, будто и сам боялся поверить в такую возможность.— Признаюсь, и мне приходила подобная мысль, что преступников надо искать именно среди них. Впрочем, не обязательно... Да потом, если это даже и так, нет у нас ни сил, ни средств вывести их на чистую воду.

Слухи и сплетни в городке множились, росли с каждым днём, принимая чудовищные размеры.

В связи с выступлением на суде директора гимназии газета «Сарыова» напечатала анонимную статью под заглавием: «Верное слово». Неизвестный автор считал показания директора, «человека добросовестного и правдолюбивого», премудрым и достойным признанием; оплакивал несчастную молодежь, подпавшую в гимназии под вредное влияние людей, «низкая сущность» которых была разоблачена перед судом; наконец, без всяких обиняков «отважно» заявлял, что «медресе, ведущие непрерывную борьбу против авантюристов и выскочек, называющих себя свободомыслящими, несмотря на все свои недостатки, ничем не запятнали себя, и по сравнению с гимназией духовные школы безупречно чисты, словно омыты семь раз водами священного Земзема^[78]».

Автор статьи старался не только разжечь вечный спор между медресе и школой, который, казалось, несколько поутих, но и отодвинуть на второй

план дело о поджигателях гробницы.

Приверженцы медресе нападали на сторонников светской школы, а те в свою очередь на директора гимназии и его приспешников, вызвавших эти нападки своими непродуманными показаниями в суде. Постепенно в перепалку ввязались не только чиновники ведомства народного образования, но и другие чиновники города.

Но вместе с тем уже рассказывали, что мюдеррис Зюхтю-эфенди нашёл статью, напечатанную, кстати, без его ведома, чересчур агрессивной и пришёл в ярость, после этого отношения между ним и партией Хаджи Эйюба сильно испортились.

Что же касается ответственного секретаря Джабир-бея, то он был по горло занят подготовкой к выборам, поэтому старался не ввязываться в это дело и держаться подальше от сплетен, чтобы какой-нибудь бестактностью не рассердить враждующие партии. Несмотря на свой крутой характер и упрямый нрав, он со всеми соглашался и каждому поддакивал.

Больше всего, конечно, доставалось начальнику округа. Бедняга совсем лишился покоя. Положение с каждым днём становилось всё серьёзнее. Того и гляди, о скандале узнают в центре, и тогда, несмотря на то что мутасарриф самый невинный человек и меньше всего вмешивается в городские сплетни, именно на него взвалят всю ответственность за эту свалку. А потом, чтобы как-то поправить дела, заставят его поменяться местами с другим вот так же провинившимся начальником округа из какого-нибудь другого заброшенного и забытого богом санджака или же попросту уволят. И вот поползли слухи, что мутасарриф не желает оставаться в опостылевшем ему Сарыова и подал прошение о переводе его в другое место с более благоприятным климатом.

Глава двадцать пятая

Как раз в разгар этих событий, под вечер комиссар Кязым-эфенди встретил на базаре старшего учителя Эмир-дэдэ, поспешно схватил его за руку и взволнованно воскликнул:

— Аман, наконец-то нашёл. Разыскивал вас даже в школе. Очень важные новости... Пойдём куда-нибудь в укромное место, чтобы не мешали.

Учитель и комиссар отправились по безлюдной дороге, шедшей от базара между пустырями. Кязым-эфенди начал свой рассказ:

— Вчера ночью наши ребята на базаре схватили вора, прямо на месте преступления. Привели его в участок. Я допросил; оказывается, он залез в лавку ювелира Мардикяна и стал совать в мешок всё, что ни попало под руку, тут-то его и схватили. Среди украденных вещей моё внимание привлёк серебряный подсвечник. Вокруг саркофага Келями-баба было пять или шесть вот таких подсвечников: говорили, будто их прислал когда-то ещё султан Азиз. Утром я приказал привести в участок ювелира... Этот тип, конечно, обрадовался, что нашлись его вещи. Я спросил у него, откуда взялись подсвечники. Он сказал, что их было пять штук, и получил он их от антиквара Альбера-эфенди; четыре подсвечника он уже переплавил в слитки, собирался расплавить и этот... Отпустив ювелира, я отправился в полицейское управление, порылся там и нашёл копию протокола о пожаре в Келями-баба. Согласно этому документу, во время осмотра пожарища среди развалин не было найдено никаких ценных вещей. А ведь если в тюрбэ были подсвечники и другие металлические предметы, то на месте пожара они должны были бы найтись, хотя бы в расплавленном виде. Не знаю почему, но этот факт никого не заинтересовал. Я совершенно уверен, что подсвечники, проданные антикваром ювелиру, взяты из гробницы Келями-баба. Как они могли попасть к Альберу-эфенди? Несомненно одно: они украдены из гробницы в ночь пожара. Понятно, что кража могла быть совершена до пожара. Ведь как только гробница загорелась, к месту происшествия тотчас прибыла полиция и оцепила здание. Если подсвечники украдены до пожара, остаётся предположить, что воры украли все наиболее ценные вещи, а гробницу подожгли, чтобы скрыть следы преступления... Не так ли? Ну что, дорогой Шахин-эфенди, мы напали на верный след?..

Обычно бледное лицо Шахина-эфенди покраснелось от волнения, веки дрожали.

— Подсвечник у тебя? Ты уверен, что это именно один из тех подсвечников? — спросил он.

— Уверен, Шахин-эфенди. Не доверяя собственной памяти, я показал его шейху Рашиду-эфенди. Он долго рассматривал его, особенно выгравированные стихи из Корана и клеймо, и подтвердил, что это подсвечник из Келями-баба... А теперь я расскажу об антикваре Альбере-эфенди... Этот человек, конечно, не совсем чист на руку. Сегодня я кое-что узнал о нём, тайком провёл расследование. Оказывается, месяц назад он отправился в Стамбул и дней десять как вернулся. Мне удалось установить,

с кем он часто виделся последнее время... Дело это, как вы понимаете, Шахин-эфенди, весьма щекотливое, поэтому я не осмелился самостоятельно действовать...

— Правильно, молодец! Сегодня вечером мы все соберёмся и обсудим этот вопрос,— сказал учитель Эмирдэдэ.

Поздно вечером Шахин, Неджиб Сумасшедший и комиссар Кязым-эфенди отправились к адвокату Ихсану. Разговор продолжался почти до самого утра. Адвокат написал письма прокурору и начальнику округа, в которых сообщал о происшедшем.

Друзья полагали, что расследование затянется, возникнут какие-нибудь новые непредвиденные препятствия. Но не прошло и недели, как всё стало известно в мельчайших подробностях. Антиквар Альбер-эфенди, являвшийся доверенным лицом воровской шайки, которая промышляла тем, что похищала из мечетей, медресе и библиотек памятники старины и продавала их в Европу, столкнулся со старшим сыном сторожа гробницы, подбив его на ограбление тюрбэ. Сын сторожа вместе с тем самым отставным чиновником, который потом показал, что видел учителя Нихада-эфенди в ночь пожара на кладбищенской дороге, забрали из тюрбэ дорогой покров с саркофага Келями-баба, книги священного Корана в переплётках, украшенных драгоценными камнями, старинные резные подставки, инкрустированные перламутром, и другие ценные вещи, передали всё это антиквару, а затем гробницу подожгли.

Из украденных вещей наиболее дорогие и лёгкие по весу предметы и утварь Альбер-эфенди лично отвёз в Стамбул, а серебряные подсвечники, которые, в сущности, не имели большой ценности, он не рискнул везти и собирался их переплавить в Сарыова.

Нихад-эфенди был спасён. Он развёлся с женой и, оставив ей часть месячного жалованья с условием, что она будет воспитывать детей, уехал из Сарыова в другой округ, где получил место учителя.

Шахин с товарищами проводили учителя Нихада по тем самым улицам, по которым его вели той памятной ночью в красном рогатом колпаке, они шли дорогой, по которой его тащили, ругали, били, плевали в лицо и оскорбляли... Они проводили его до водоёма, где кончался город, и там стали прощаться. К провожающим присоединилось несколько учеников гимназии. Они подходили к своему учителю и, целуя ему руку, просили прощения.

— Вот шалуны!..— смеясь, говорил Нихад-эфенди, но сквозь этот смех слышалось рыдание. Учитель плакал.

Победа Нихада-эфенди означала также победу Шахина и его союзников. Судебный скандал сильно подорвал влияние партии софт.

Сплетни о Шахине-эфенди смолкли... Конечно, только на время, чтобы возобновиться под новым предлогом.

Однако этого не случилось... Грянула мировая война. Софтам пришлось заняться собственной судьбой.

Чего только не делали, на какие уловки не шли «доблестные» добровольцы зелёной армии, чтобы не попасть в настоящие солдаты. Но зря они бились, как рыба в сетях,— только немногим удалось спастись от военной службы. И пришлось им отправляться по дорогам, ведущим на Кавказ или в Чанаккале^[79], с пятидневным пайком в солдатском ранце за спиной.

Вот он наступил, наконец, тот великий день, которого так долго ждали и мюдеррис Зюхтю-эфенди, и ответственный секретарь Джабир-бей, тот желанный день, о котором они произносили пламенные речи, взявшись за руки.

Один хотел увидеть, как отомстят за невинных балканских детей, крохотных деток, вырванных из утробы матери, и так далее и тому подобное... Другой мечтал о том, как весь мусульманский мир поднимется в едином порыве по мановению халифа и уничтожит крест в Европе.

Что ж, мужественные борцы за веру сдержали своё слово, они выполнили те обещания, что давали в своих пламенных речах,— идти рука об руку в первых рядах армии. Джабир-бей, вооружившись с ног до головы, превратился в настоящую живую крепость; Зюхтю-эфенди вместо пояса обмотал шаровары патронташем. Они выступили во главе добровольцев Сарыова и, сопровождаемые молитвами, речами и гимнами, отправились в путь...

Однако месяца через полтора прошёл слух, что Зюхтю-эфенди заболел. Вскоре он вернулся в Сарыова, где ему в местной больнице сделали операцию, — у бедняги оказался геморрой.

Джабир-бей тоже не заставил себя ждать и последовал за Зюхтю-эфенди. Как только остыл первый благородный порыв, ответственный секретарь вдруг вспомнил, что в тылу у него есть более высокие и неотложные обязанности: оказывается, необходимо, во-первых, помешать изменникам-оппозиционерам, для которых поле действия оказалось свободным, выкинуть какую-либо подлость и посеять в стране смуту; во-вторых, надо установить контроль за расходом продовольствия в городе, и, наконец, в-третьих, организовать учёт всего съедаемого и выпиваемого, всех прибывающих и убывающих, всех проезжающих мимо

и остающихся в городе...

Что же касается Шахина-эфенди, то на войну, на её последствия и на исход этой войны он не мог смотреть оптимистически. Однако Шахин слишком хорошо знал свой народ, свою нацию и армию... Сколько раз история была свидетельницей того, как в результате военных неудач, превратностей судьбы и глупых случайностей, внутренних измен и неумелого правления эта армия разлагалась и терпела поражения. И в то же время армия обладала какой-то непонятной особенностью: после самых тяжких испытаний, самых тяжёлых поражений словно в одно мгновение она оправлялась, возрождалась, становилась сильнее прежнего.

А вот если рухнут те слабые укрепления, которые он так старательно воздвигал в своей школе, в Эмирдэдэ, против зелёной ночи, против невежества — первопричины всех бедствий и несчастий,— то восстановить их уже больше не удастся...

Обстановка в городе с начала войны изменилась. Люди были заняты своими заботами, и некогда было сплетничать о других. Ведь шла война, и перед лицом всё возрастающей опасности извне даже в душе самых ярых врагов, самых непримиримых противников пробуждались чувства, похожие на дружеские, что-то вроде симпатии друг к другу. Наконец закрылись многие медресе, вокруг которых всегда, словно рои потревоженных пчёл, кружились бесчисленные софты. Опустевшие медресе были так похожи на заброшенные улы! А в ещё не закрытых медресе будто тени безмолвно бродили одинокие фигуры, в городе остались только хилые да больные софты, негодные в солдаты.

Силы в городке как будто пришли в равновесие. Теперь Шахин-эфенди стал видным лицом в Сарыова, с ним приходилось считаться. И Эйюб-ходжа уже не мог, как прежде, строить козни против Шахина. Да и учитель Эмирдэдэ сам во многом изменился. Чувствуя себя в какой-то степени в безопасности, он смягчился, характер его стал более покладистым и уравновешенным.

С превеликими трудностями Шахин-эфенди возвёл то самое новое здание, о котором так долго мечтал. На долгие годы он замкнулся в четырёх стенах своей новой школы, отгородился от внешнего мира, занимаясь только воспитанием детей.

Часть вторая

Глава первая

Однажды ранним майским утром Сарыова будился от далёких раскатов орудийных залпов. Наступали греки. В горном ущелье, прикрывающем выход на равнину, шёл последний безнадежный бой.

Хотя неожиданный захват греками Измира^[80] и встревожил население Сарыова, однако никто, конечно, не предполагал, что неприятельские войска так быстро вторгнутся вглубь Анатолии.

В городе началась паника, казалось, наступил день Страшного суда. Улицы наполнились пронзительными женскими воплями, криками и плачем детей. Без чаршафов, без чадры, набросив на голову лишь полотенца или простыни, из домов выскакивали женщины, тут же носились полуголые босоногие ребятишки, только что поднятые с постели. Люди суетились, бестолково металась по улицам, не зная, что делать. Многие мчались по проспекту в центр, где находились правительственные здания, другие устремились по кладбищенской улице, которая вела в горы. Жители в смятении покидали свои дома, дверей не запирали, в очагах забывали тушить огонь, словно враг уже занял город и прочёсывает улицы...

Правительственный особняк, резиденция начальника округа, опустел, лишь кое-где суетились ещё слуги да несколько испуганных чиновников. Но зато, казалось, всё население города собралось на площади перед зданием почты. Народ толпился в ожидании новостей, а по улицам к почте бежали всё новые и новые люди...

Мюфит-бей и председатель городской управы не отходили от телеграфа. Мюфит-бей всё ещё оставался начальником округа в Сарыова. Несмотря на партийный переворот^[81], ему удалось удержаться на своём посту.

Огромная туша Мюфит-бея — ожирение его приняло уже характер болезни — склонилась над аппаратом. Он без конца курил и, обливаясь

потом, пил айран. Со вчерашнего вечера он старался выполнить две задачи: во-первых, информировать вышестоящие инстанции о происходящих событиях и принимать меры согласно получаемым указаниям, во-вторых, скрывать, насколько это возможно, от народа положение дел и грозящую опасность, чтобы не волновать, так сказать, умы и не вызывать паники среди населения.

Скрывая сведения, полученные за два последних дня, Мюфит-бей удачно справился со второй задачей. Однако выполнять первую было просто невозможно, так как центр вилайета попал в руки противника. С кем связаться? У кого узнавать, что дальше делать? И хотя с некоторыми пунктами телеграфная связь была прервана, мутасарриф сидел у аппарата, не смея отлучаться со своего поста.

Чиновники, что поважнее и значительнее, кое-кто из именитых граждан, отцов города, с трудом пробившись через толпу на телеграф. Началось совещание, разгорелся долгий и шумный спор.

Впрочем, народ не стал ждать результатов этого чрезвычайного собрания. Каждый спешил сам позаботиться о себе.

Жандармы преградили путь в горы и вернули толпу, которая утром в панике бежала из города, точно из охваченного пламенем дома. Теперь во всех кварталах шла лихорадочная подготовка к эвакуации. Люди состоятельные грузили на подводы или прямо на ослов и лошадей тюки с домашними вещами, ковры и корзины с продовольствием; люди победнее пускались в путь, взвалив на спину узел или хейбе, взяв малолетних детей на руки.

Горько было прощаться с родными местами; заперев двери, женщины подолгу стояли перед воротами, потом, уходя, оборачивались назад, глядели на окна и плакали... Многие оставляли жилище и скарб на волю аллаха, пророка и святых, кое-кто поручал следить за домом соседям, которые не могли покинуть город.

В Сарыова оставались лишь больные и немощные старики, неспособные передвигаться, родственники и близкие тяжелобольных, чтобы ухаживать за ними, да отчаявшиеся бедняки, которым, как говорится, всё равно, где умирать.

Колонна беженцев выступила из города по кладбищенской дороге. Накрапывал дождь. Дорога вилась между садов и виноградников, раскинувшихся на горных склонах. Постепенно начался подъём в горы, дорога становилась круче и превратилась наконец в горную тропу.

К северо-востоку в пяти-шести часах ходьбы от Сарыова лежала горная деревушка Аладжачам... Как раз в ней жители Сарыова надеялись

найти приют в первую ночь. Но идти было всё трудней, и люди уже понимали, что путь слишком тяжёл, и вряд ли они доберутся к вечеру до деревни.

Беженцы сначала шагали плотной толпой, как отряд солдат, но постепенно колонна начала растягиваться в редкую цепочку. Вперёд вырвались конные всадники, за ними следовали экипажи, принадлежавшие знатым семьям, и арбы, гружённые их вещами. Голова колонны уже уползла далеко в горы, превратившись в маленькие, едва видимые фигурки людей и животных, а хвост всё ещё волочился между виноградников.

Трудней всего приходилось большим семьям, где были старики и дети... Обливаясь потом, изнемогая от усталости, задыхаясь, люди карабкались в гору... А выбившись из сил, тут же валялись по обочинам дороги, в тени деревьев, под кустами или усаживались прямо на груды камней... Многие, чувствуя, что не смогут перенести тяготы дальней дороги, горести скитаний, возвращались назад...

Собрался в путь и Шахин-эфенди: перекинув через плечо хейбе, обувшись по-дорожному, учитель присоединился к толпе беженцев. Он решил, что после оккупации школу всё равно закроют, и делать ему в городе будет нечего, вот он и покинул Сарыова, захватив несколько книг, смену белья да кое-какую еду...

Предстоящее путешествие не пугало Шахина. Ещё со времён странствования в месяцы рамазана, когда Шахин-ходжа, ученик медресе, ходил собирать подаяния, он научился философски смотреть на все превратности бесцельных скитаний... И вот теперь, шагая несколько в стороне от толпы, занятый своими невесёлыми думами, учитель Шахин чувствовал, как к нему после долгой разлуки возвращаются ощущения прежней жизни, как школьные песни, которые он тихо мурлыкал себе под нос, превращаются в забытые религиозные гимны...

Как раз в этот момент шагах в сорока — пятидесяти от него на дороге показался экипаж. Шахин повернул голову и увидел начальника округа Мюфит-бея, мюдерриса Зюхтю-эфенди и директора гимназии. Они поздоровались.

Зюхтю-эфенди показал рукой на себя и своих спутников, потом на повозку, затем раскрыл ладони, прижал их к груди и согнул шею, желая, видимо, выразить сожаление.

Шахин-эфенди понял, что мюдеррис хочет сказать: «И тебя бы захватили, да уж больно мы толстые, еле-еле уместились в экипаже...» — и жестом поблагодарил.

Эта встреча встревожила Шахина не на шутку. Что же там происходит,

в Сарыова? Неужели всё кончилось?.. Ну, хорошо, пусть директор гимназии так же, как и он сам, считает, что делать в городе ему нечего, и потому уехал. Предположим, можно ещё понять и простить Зюхтю-эфенди, хотя ему, как известному и видному улему-богослову города, следовало бы в эти трудные дни находиться во главе своей паствы. Но как мог бежать начальник округа?..

Надо узнать, что нового произошло в Сарыова. Шахин остановился и стал ждать, пока проедет кто-нибудь ещё.

Вскоре он увидел двух всадников, следовавших за большим крытым фургоном, переполненным женщинами и детьми. В одном из всадников Шахин узнал Джабир-бея.

После заключения перемирия, когда пришло к власти новое правительство, Джабир-бей отошёл от политической жизни и занялся хозяйством: небольшой участок земли, которым он владел, превратился за годы войны в обширное поместье. Теперь это был кроткий и смиренный человек,— сложив с себя обязанности ответственного секретаря, он сбросил и маску грубого величия и спесивости. Наезжая иногда по делам в город, он встречался и заговаривал дружески, по-братски даже с теми, с кем раньше не здоровался. И всем и каждому он твердил одно и то же, что политикой больше не занимается, живёт чем бог пошлёт и молится за процветание новой власти...

Но последние события, видимо, снова пробудили в нём интерес к политике. Увидев Шахина-эфенди, он остановил лошадь.

— Как тебе нравится, что натворило это правительство, потерявшее всякий стыд и честь? — спросил он.— Без зазрения совести всю вину свалили на нас. А мы-то отошли от дел... Видал, до чего они довели страну?.. Пустили врага вглубь Анатолии!.. В самую душу нашу!.. Аллах опять послал нам испытания... Второй раз приходится бежать, покидать родные края... Вот он и удирает, презренный негодяй, мутасарриф!.. Точно собака, поджав хвост... Да покарает его господь бог!..

Джабир-бей показал на экипаж начальника округа, потом погрозил кулаком, будто хотел сказать: «Мы ещё с тобой посчитаемся... Тебе это не пройдёт!..»

Бывший ответственный секретарь сообщил Шахину-эфенди последние новости. Оказывается, между мутасаррифом и председателем городской управы возникли разногласия: Мюфит-бей, опасаясь неприятностей, которые могут произойти с губернаторами и прочими чиновниками в оккупированных районах, решил бежать... А председатель городской управы, говорят, приказал приготовить цветы для торжественной встречи и

собрался вместе с именитыми гражданами, отцами города, встречать врага, будто бы для того, чтобы спасти Сарыова от разрушения, а население от погромов.

Шахин-эфенди получил также подробные сведения о своих друзьях, которых он потерял во время утреннего переполоха.

Всегда такой тихий и спокойный, учитель Расим вдруг точно обезумел. Его осенила совершенно сумасшедшая идея. Перед толпой, собравшейся возле почты, он произнёс речь, призывая народ к сопротивлению: «В этот час,— кричал Расим,— нам осталось только одно: с оружием в руках, у кого оно есть, или с палками и камнями встретить врага!..»

— Ты только подумай, брат...— говорил Джабир-бей, тараща глаза.— Да я эту страну в тысячу раз сильнее, чем он, люблю. Будь у нас хоть какая-нибудь надежда, неужели мы все не пролили бы свою кровь? Но разве можно так безрассудно! Чтобы сыны родины за зря гибли на наших глазах... Куда лезет твой товарищ, ведь хромой, а такую глупость затеял... Не устоять с палкой да камнями против первоклассно вооружённой армии. Англия дала грекам миллионы лир, сотни тысяч винтовок, тысячи орудий, огромное количество боеприпасов...

У Шахина потемнело в глазах.

— Ну а потом? Что было потом? — хрипло спрашивал он Джабир-бея.

— У кого голова на плечах, те, конечно, не послушались столь безрассудных слов. Но человек десять голодранцев поддались на уговоры, стали шуметь, кричать: «Требуем оружия!» А тут, как на грех, ещё главный комиссар Кязым-эфенди подоспел. Этот парень собирает свою команду молодых полицейских и давай шарить по полицейским участкам. Всё оружие, что нашли они, роздал народу... К ним ещё присоединился десяток таможенных охранников. И чёрт бы их побрал совсем... Наспех сколачивают отряд... покидают город... Я этого Расима считал умным... И себя и несчастных, ни в чём не повинных людей только зря погубил...— Вдруг Джабир-бей испугался, что Шахин-эфенди начнёт его стыдить, и торопливо добавил: — Но разве я собираюсь сидеть без дела? Я тоже предприму кое-что... Вот только семью переправлю в безопасное место... Ну, хорошо, увидимся ещё, даст бог!..

Бывший ответственный секретарь пришпорил коня и поскакал вдогонку за медленно удалявшимся фургоном.

Дальше идти Шахин-эфенди не мог. Он сел у края дороги, прямо на свою суму, и, обхватив голову руками, задумался.

«Бедный, несчастный Расим... Вот так же ты когда-то вдруг принял решение и отправился добровольцем на Балканскую войну, чтобы на всю

жизнь остаться хромым. А теперь? На этот раз ты, наверно, уж не вернёшься назад. И всегда-то у тебя, бедняги, такие порывы. Вот и в эту войну тебя не брали в армию, как учителя начальной школы и как инвалида, а ты твердил упрямо: «Пойду добровольцем, не могу сидеть сложа руки...» Сколько мне приходилось тебе доказывать, что твои обязанности в школе так же важны, как и служба на фронте. Сколько пришлось убеждать, пока я не заставил отказаться тебя от этого намерения...

Ах, если бы в это проклятое утро мы были вместе, я бы тебя снова уговорил?.. А может быть, не смог?.. Не думаю...

У тебя, Расим, странная черта. Ты такой спокойный и уравновешенный... Ты всегда был сторонником убеждения... В борьбе за великие идеи, которые ты защищал против своих же соотечественников, ты всегда выступал за мирное разрешение всех споров. Но стоило только заговорить об иностранцах, даже если они были твоими единоверцами, даже в дни мира ты сразу приходил в бешенство и посылал их ко всем чертям...

Ну, хорошо, пусть случайно мы и были бы сегодня вместе, а толку-то что?.. Разве повернулся бы у тебя язык, Шахин, отговорить человека, избравшего путь героя?.. Впрочем, это уже другой вопрос...»

Шахин сидит, погружённый в свои невесёлые думы, а мимо него по дороге всё течёт бесконечный поток беженцев. С трудом шагают мужчины, задыхаясь под тяжёлым грузом, будто измученные вьючные животные; медленно плетутся женщины с малышами, привязанными за спиной, как у кочевников; дети катят маленькие ручные тележки, гружённые вещами...

Двое ребят, брат и сестра лет десяти, везут в небольшой тачке закутанную в одеяло больную женщину. Девочка очень устала. Она то и дело останавливается и трёт ноющие кисти рук, тогда мальчик сердится и, подражая взрослым, ругает сестру.

А вот один из учеников Шахина-эфенди, тринадцатилетний мальчик, несёт в перемётной суме своих трёхгодовалых братьев-близнецов. Малыши весело играют, устроившись на плечах старшего брата.

Бредёт, обливаясь слезами, женщина, на руках у неё ребёнок то и дело оборачивается и зовёт: «Папа, папа!»

Вот ещё мальчик — весь в грязи, с перепачканным лицом; он бежит один-одинёшенек и кричит хриплым голосом: «Ага-бей, ага-бей!» — разыскивая пропавшего старшего брата...

Иногда многолюдную, с трудом шагающую толпу прорежут стремительно мчащиеся экипажи и повозки, в которые запряжены сильные

лошади...

Среди проезжавших Шахин узнал Хаджи Эмина, знаменитого шейха дервишской обители Кадири, его зятя Убейд-бея и ещё многих богачей Сарыова.

Шахин сидел в оцепенении, чувствуя, что у него нет сил встать, взвалить на плечи хейбе и снова двинуться в путь.

Как легко его утром сорвало с места, со всеми вместе, словно щепку, подхваченную бурным потоком. Он думал: «Школа закрыта... В Сарыова мне нечего делать...» А теперь его одолевали сомнения. Неужели действительно у него нет никаких дел в городе?

Люди именитые и знатные, занимавшие большие посты, нажившие здесь свои богатства, бегут, заботясь лишь о собственной шкуре.

Бегут отцы города впереди всех, не думая о несчастном народе. Разве больные и страждущие, бедняки и старые люди не нуждаются сейчас, может быть больше, чем когда-либо, в защите, в поддержке, в умном совете? Малейшая неосторожность, необдуманная поспешность, бесполезная вспышка гнева — всё это может привести к страшным последствиям, вызвать погромы в городе...

Всё чаще путники от усталости валились на землю, прямо около дороги, всё чаще люди поворачивали назад в Сарыова. Они уже выбились из сил, а ведь это только начало далёкого пути... Сколько времени ещё нужно, чтобы прошагать его? Да и куда этот путь приведёт, в какие края? Чтобы умереть там в нищете?..

Люди возвращались.

Вот спускается с горы тот самый мальчик, который совсем недавно, так отчаянно рыдая, кричал: «Ага-бей! Ага-бей!..» Должно быть, он потерял всякую надежду найти старшего брата и больше не звал его, а только безутешно плакал.

Среди возвращающихся Шахин увидел самого маленького и самого бедного ученика своей школы. Малыш бежал вприпрыжку, держа в руке ботинок. Он устал, но на лице у него было выражение, очень похожее на радость. Он спешил, точно в городе его ждали неотложные дела. Шахин-эфенди подозвал мальчугана и спросил, почему он возвращается назад. Мальчик тотчас ответил:

- Нас четыре брата. Папа с мамой забрали нас с собой, а бабушку оставили дома одну... Она, бедная, не встает с постели, ноги её не держат... Я самый старший из братьев, всё просил, чтобы меня оставили, стал бы бабушке помогать... Только никто меня слушать не захотел... Ну, я и удрал от них, вот иду назад.

— А разве не будут искать тебя? — спросил Шахин-эфенди.— Ты же родителей заставляешь беспокоиться...

Мальчик пожал плечами:

— Что ж делать... А старенькую бабушку не жалко? Буду ухаживать за ней. Всё сделаю, хлеба достану... Вот обрадуется бедная бабка, когда меня увидит!

Он уселся на землю и принялся вытаскивать из ноги занозы и колючки. Мальчуган тихо посмеивался, радуясь, что может помочь старой больной бабушке. И эта радость заставила его забыть и страх перед врагом, и разлуку с отцом, матерью и братьями...

Шахин-эфенди закрыл глаза. Невольно он сравнил самоотверженного малыша со своим другом Расимом... И тут он почувствовал себя настолько маленьким и жалким, что ему стало стыдно самого себя... Как мог он думать, что в Сарыова не найдётся для него дел?

Неужели вот этот мальчик с пальчик, которого он называет своим учеником, которого он обязан сделать человеком, этот малыш теперь должен учить его, взрослого, бородатого дядю?..

Когда Шахин-эфенди снова открыл глаза, мучительные сомнения исчезли. И в душе его воцарился блаженный покой, как всегда, когда он принимал великое решение, которое уже никто, даже он сам не мог изменить.

Шахин медленно поднялся с земли, перекинул через плечо свою суму и, взяв мальчика за руку, тронулся в обратный путь вместе с теми, кто спускался в Сарыова.

Он должен быть верен своему слову до конца: «Ты посвятил себя Сарыова... Победа или смерть!..» Так пусть случится всё, что предопределено судьбой...

Глава вторая

Греческая армия дошла в ту ночь до ворот Сарыова.

Старый мусульманский город, и без того привыкший проводить свои ночи в могильном сумраке и скорби, теперь застыл в крошечной темноте, ещё более страшной, чем обычно. Уличные фонари не горели — фонарики со страху попрятались или разбежались. Даже гробницы

стояли совершенно чёрными.

Население и мусульманских и христианских кварталов боялось зажигать свет. Сарыова на эту ночь остался без власти,— беззащитный, беспомощный город...

Шахин добрался до школы уже после того, как стемнело. Он нашёл кусок хлеба с сыром, перекусил, потом бросился на кровать, прямо как был, в одежде. Он ни о чём не мог думать, ничего не хотел вспоминать... Но перед глазами всё плыли, будто в бесконечном кошмаре, страшные видения: дорога Сарыова — Аладжачам, а по тёмной дороге бредут плачущие и стонущие беженцы, идут нескончаемым потоком, как в день воскрешения мертвых...

Шахин-эфенди не мог заставить себя забыть картины недавнего прошлого, хотя надо было бы думать о будущем, неведомом, неизвестном утре, которое придёт на смену этой чёрной, безмолвной ночи...

А через мгновение Шахин уже забылся. Исчезла толпа. Теперь он видел одинокого мальчика, который плача бежал по дороге, и слышал только его далёкий зовущий голос: «Ага-бей!..» И он уже не различал, мучают ли его воспоминания, или их сменили сны? И неизвестно, сколько длилось это забытьё, только проснулся он от далёких выстрелов.

Шахин вскочил и подбежал к окну. В окно по-прежнему глядела ночь. Где-то далеко, на равнине, наверно, шёл бой. Перестрелка становилась всё сильней, к резким голосам ружейных выстрелов иногда присоединялся грохочущий бас орудий.

Новая школа стояла на довольно высоком месте, и из комнаты верхнего этажа Шахин-эфенди хорошо видел всю равнину. На пологих холмах, среди садов, то там, то тут вспыхивали короткие молнии. К небу взвивались осветительные ракеты и повисали в воздухе яркими светильниками, медленно опускаясь к земле.

Далёкие холмы издали походили на иллюминированный по случаю праздника город.

В бессильном отчаянии бился у окна Шахин-эфенди, причитая и рыдая: «Гибнет Расим! Умирает Кязым-эфенди!.. Ах, братья мои! Ах, дети мои!..»

Около часа длился бой, и наконец смолк. И снова над равниной простерлась гробовая тишина, все потонуло во мраке.

Шахин-эфенди зажёл свечу. Постель Расима с утра не убрана. В открытое окно залетел ветер и листает страницы открытой книги, которую Расим читал вчера вечером перед сном.

Где он теперь лежит, изрешечённый пулями?

Шахин-эфенди почему-то был уверен, что Расим погиб.

Давно стихли ружейные выстрелы, но Шахину-эфенди всё казалось, что он ещё слышит крики, шум голосов где-то совсем близко. Не веря уже своим ушам, он опять подошёл к окну.

Нет, ему не мерещилось: в нижней части города, со стороны христианского квартала показался какой-то странный свет. Потом немного спустя на улице, метрах в четырехстах от школы, послышался топот бегущих ног.

«Что случилось? Неужели бой перекинулся в город? Может быть, между мусульманами и христианами началась резня? Только бы не случиться такой беде! Тогда греки не оставят в городе камня на камне, всех мусульман истребят поголовно...»

Звуки голосов не умолкали, в темноте метались и прыгали огоньки. Раздалось несколько револьверных выстрелов.

Беспокойство, охватившее Шахина-эфенди, превратилось в нестерпимую тревогу. Он бросился искать феску, но, не найдя её, схватил попавшуюся под руки толстую палку и с непокрытой головой выбежал на улицу. Он не собирался никуда идти, просто думал встретить кого-нибудь поблизости и узнать, что случилось. Но на тёмных улицах не было ни души. И Шахин шагал всё дальше и дальше, точно слепой, нащупывая дорогу палкой.

Пройдя уже порядочное расстояние, он приблизился к крутому спуску. Внизу, около мечети Рахметуллах-паши виднелся свет. Вот, оказывается, откуда доносились голоса, которые Шахин слышал в школе. Очень осторожно, ощупью переставляя ноги по полуразвалившимся ступеням, он спустился вниз.

Во дворе Мечети и около неё, на небольшой базарной площади, окружённой несколькими домами, в которых находились лавки, мастерские и магазины, бурлила толпа. Уличную тьму слабо освещали только слюдяные ручные фонари. Люди собирались группами, отчаянно спорили и кричали, размахивая палками и мотыгами, как будто происходила драка. Шахин-эфенди подошёл к одной группе и спросил, в чём дело.

Оказалось, что час назад в Новом квартале греки убили мусульманина молочника и его сына, а сторожа, попытавшегося вмешаться, ранили, ударив палкой по голове... Бедняге каким-то образом удалось спастись, и, обливаясь кровью, он прибежал сюда... Он-то и поднял тревогу, сказав, что греки вооружаются и под утро намерены напасть на мусульманские кварталы. Кое-кто из жителей в панике кинулся в верхнюю часть города, в сторону кладбища, но большинство, вооружившись палками, топорами,

мотыгами — словом, что под руку попало, сбежалось к мечети. Теперь никто и не знает, что предпринять, поэтому-то все спорят и препираются между собой.

Шахин-эфенди обходил одну группу за другой, прислушиваясь, о чём говорят. Среди людей царили страх и растерянность, однако многие считали, что надо держаться вместе, и, если греки придут, чтобы разрушить их дома и убить их детей, они встретят врагов здесь.

В толпе оказалось и несколько горячих голов.

— Определим их и нападём на Новый квартал! — призывали они народ.— Не дадим врагам подготовиться. Нельзя прощать им убийства мусульман!..

«Нет, это просто невероятно, чтобы греки из Нового квартала предприняли столь отчаянную попытку и напали ночью на мусульманские кварталы, — думал Шахин. — Ведь их совсем мало. Они должны всё-таки понимать, что мусульманское население их всех перебьёт... Убийство молочника и его сына — это всего только единичный случай, не более...»

Положение становилось катастрофическим. Страх и растерянность могли толкнуть несчастных людей на непоправимое безумие. Воинственный пыл сторонников немедленного нападения с каждой минутой всё больше передавался окружающим. И тут вдруг раздался звон разбитого стекла...

Как раз напротив мечети в одном из домов находилась аптека, принадлежавшая старому греку Христати. Аптекарь был человеком безвредным, дела вёл, главным образом, с мусульманами, поэтому спокойно уживался и даже дружил с турками. Наверно, по этой же причине Христати жил не в Новом квартале, как другие христиане лавочники, а здесь, около мечети, на верхнем этаже аптеки.

Пока шли споры да препирательства, пущенный кем-то камень ударился в одну из закрытых ставен аптеки. Вслед за ним другой камень разбил стекло. В доме поднялась суматоха, послышались отчаянные крики, слабый огонёк, еле пробивавшийся сквозь занавески, тотчас же погас.

Из толпы раздался свирепый голос:

— Смерть врагам!

Вот она, беда, начинается... Сейчас полетят стёкла, рамы, толпа ринется с воплями, и остановить её уже будет невозможно. И Шахин мгновенно представил себе, как народ неудержимым потоком несётся к Новому кварталу.

Что делать? Ждать больше нельзя! Шахин сорвал чалму с головы знакомого софты, стоявшего рядом, надел на себя, потом схватил его

фонарь и, вскочив на мусалла-таши^[82], крикнул:

— Правоверные!

Толпа дрогнула. Все головы повернулись в сторону человека в чалме, который стоял на камне, держа в руках раскачивающийся фонарь. Люди сбились плотной толпой вокруг камня, тесня и давя друг друга, и наконец застыли, в безмолвном ожидании.

Шахин начал говорить, не зная, что скажет. Им владела одна мысль — во что бы то ни стало остановить этих людей, готовых в слепом отчаянии кинуться навстречу собственной смерти.

Он выкрикивал бессвязные и бессмысленные слова, величественно пустые фразы, которые так завораживающе действуют на толпу,— он испытал их влияние ещё во времена своих странствований. И пока он ораторствовал, гипнотизируя окружающих величием непонятных слов, он чувствовал, как голова его становится снова ясной, в мыслях появляется уверенность и стройность.

Шахин понимал, что эти несчастные, растерянные, жалкие люди в первую очередь нуждаются в поддержке, что только сила может сплотить их воедино.

Стараясь говорить как можно убедительней, Шахин объяснил народу, что у Сарыова нет более никаких покровителей и защитников, кроме господ бога. Власти бежали, бросив население на произвол судьбы. Неприятельские войска, окружившие Сарыова, через час-другой войдут в город. Богатые да сильные удрали, в Сарыова остались только немощные старики, больные, женщины и дети. Если между мусульманским населением и христианами этой ночью произойдёт резня, то утром враг уничтожит беззащитных женщин, стариков и детей,— да сохранит аллах от такой беды... Против силы не пойдёшь с голыми руками, остаётся только примириться с судьбой. Надо сохранять спокойствие, мусульмане должны решительно избегать столкновений с христианами. Вот распустили слухи, что греки собираются напасть на мусульманские кварталы,— разве это правдоподобно? Да те самые греки думают сейчас совсем не о нападении, а о том, как бы свою жизнь спасти. Наверно, от страха дрожат и дожидаются утра, заперев на все засовы двери своих домов...

И хотя ещё не было никаких признаков наступающего утра, Шахин-эфенди показал рукой на горы и воскликнул:

— Братья по вере! Для нас начинается страшный день — день рабства, — и это горше, чем смерть. Ради жизни наших семей, ради благополучия и сохранения наших стариков перетерпим всё, вынесем стойко все испытания. Мы остались в городе, так будем же благоразумны,

воздержимся от каких-либо необдуманных поступков. Ведь придут сюда люди, а не звери. Они не тронут подобных себе...

Толпа слушала Шахина, и прежнее возбуждение сменялось скорбной покорностью и даже отчаянием... Кое-кто ещё требовал выставить на всякий случай караулы около мечети, но большинство людей поспешно убралось по домам.

Опасаясь каких-либо недоразумений из-за разбитого стекла в аптеке, Шахин-эфенди в сопровождении квартального старосты подошёл к дому Христки и постучал в дверь. Немного погодя в окне показалась голова старого грека. Шахин от имени всех извинился перед аптекарем и сказал, что готов возместить убытки из собственного кармана, потом он заверил старика, что никакая опасность ему более не угрожает.

Шахин вернулся в школу, еле держась на ногах, голова его, казалось, была объята пламенем, в глазах — темно. Он не нашёл в себе сил даже подняться в свою комнату. Кое-как он добрёл до учительской, упал на диван и погрузился в забытьё.

Глава третья

Когда Шахин-эфенди очнулся от тяжёлого сна, солнце успело порядком отшагать по небу, и лучи его добрались через окно учительской комнаты до дивана, на котором он лежал. Во всяком случае, было уже за полдень, приближалось время третьего намаза.

На улицах царила какая-то неправдоподобная тишина. Неужели таков должен быть город, оккупированный неприятелем?

Шахину вспомнились события минувшего дня, словно кошмары в болезненном бреду... Он посмотрел через окно на улицу, на площадь: ни души... Все двери и окна наглухо закрыты... Как будто в городе не осталось ни одного живого человека.

Время шло. Удивительная тишина и слишком яркий солнечный свет постепенно начали вызывать у Шахина-эфенди тревогу куда большую, чем ночные происшествия.

Наконец он увидел двух греческих солдат с винтовками и турецкого полицейского, они медленно прошли по противоположной стороне улицы. Немного спустя открылась дверь, и из дома напротив вышел старик,

одетый в плащ, с кувшином в руках. Шаркая деревянными сандалиями, надетыми на босу ногу, он спустился по ступенькам каменной лестницы и медленно направился к источнику на перекрёстке. Это был знакомый. Шахин-эфенди тотчас же выскочил на улицу.

Старик, опустив кувшин на землю, спросил с тревогой:

— Помилуй тебя господь, где ты был?

— Нигде... В школе...

— Два часа назад тебя искали. Наверно, минут пять стучали в дверь, никто не открывал.

— Кто?

— Один из наших полицейских.

— Я спал, не слышал. А чего им?

— Тебя вызывают в участок намазгяхского квартала.

Это известие сначала встревожило Шахина-эфенди, но потом он успокоился: ведь за ним приходил «один из наших».

Старший учитель расспросил соседа о положении в городе. Впрочем, старик сам почти ничего не знал. Он рассказал, что никакой тревоги в городе не было. Просто рано утром председатель городской управы отправился к командиру греческого отряда. Немного спустя были заняты особняк начальника округа, городская управа и все полицейские участки. Почти все базары закрыты... По улицам расхаживают патрули: два греческих солдата и один турецкий полицейский... На всех углах и перекрёстках расклеены воззвания оккупационных властей. Командование греческих войск гарантирует жизнь и свободу тем мусульманам, которые будут заниматься своими делами и молитвами и строго подчиняться распоряжениям новой власти; улемам и высшему духовенству будут оказаны почёт и уважение...

Однако мусульманское население не осмеливается выходить на улицу, а вот чалмоносцы разгуливают довольно свободно...

Получив эти сведения, Шахин-эфенди запер дверь школы и направился к участку.

Действительно, прохожих в городе было очень мало. Свернув на улицу, спускавшуюся к участку, Шахин-эфенди вдруг увидел коляску и так и замер на месте от удивления.

В коляске возле толстого неприятельского офицера в больших чинах сидел собственной персоной... Эйюб-ходжа... Как ни в чём не бывало, всё с тем-же уверенным и надменным видом, как раньше он восседал рядом с ответственным секретарем или начальником округа...

Шахин-эфенди тотчас же понял политику греков: они намереваются

привлечь мусульманское население, влияя на религиозные чувства... Но как быстро сумел Эйюб-ходжа снюхаться с греками! Уму непостижимо! Впрочем, Шахин считал, что это даже на пользу мусульманам.

В полицейском участке Шахин встретил человека, которого никак не ожидал там увидеть,— поставщика-подрядчика городской гимназии Истрати-эфенди. Тот принял его очень любезно, с подчеркнутой радостью взял его под руку и повёл к греческому офицеру, маленькому, смуглому толстяку. Подрядчик что-то сказал офицеру по-гречески. Офицер осмотрел учителя с головы до ног, улыбнулся и пожал ему руку.

Шахин удивлённо смотрел, ничего не понимая. Наконец Истрати-эфенди объяснил:

— Шахин-эфенди, нам известно, что вчера ночью между мусульманами и христианами чуть не произошло столкновение. К счастью, вы предупредили его... Дело могло очень плохо кончиться. До сих пор греки и мусульмане не враждовали, жили в мире, как братья. Скажите, пожалуйста, разве подобает людям, занятым своими делами, будь они мусульмане или христиане, ссориться между собой? Что поделаешь, политика!.. Сегодня так повернулось, завтра — иначе. Хочу сказать вам, что греческое командование получило рапорт, в котором о вас отзываются весьма лестно. Вы оказали неоценимую услугу аптекарю. Господин офицер приносит вам благодарность. Он говорит: «Браво!»

Офицер опять заговорил о чём-то с Истрати-эфенди по-гречески.

— Господин офицер полагал,— сказал подрядчик,— что вы духовное лицо. И сейчас, увидя вас в феске, он удивлён. Вчера вечером у вас на голове была чалма?..

— Я вышел на улицу с непокрытой головой. Когда пришлось говорить с народом, я взял у товарища его чалму.

— Что ж, правильно... Народ больше слушает людей, увенчанных чалмой... Ну, а теперь перейдём к главному вопросу.

Истрати-эфенди усадил Шахина и, взяв его за руки, стал подробно излагать свои мысли.

Греческое командование, по его словам, не думает и не думало причинять зло своим подданным мусульманам... Каждый может заниматься, чем хочет,— торговать или служить богу... Но если греческим солдатам или христианскому населению будет причинено хоть малейшее зло, дело может принять дурной оборот. Просвещённые мусульмане должны так и объяснить это населению... Цивилизованное греческое государство, как и другие европейские державы, имеющие многих подданных мусульман, предоставило народу безграничную свободу

вероисповедания. Духовные лица всегда будут в почёте... Именно поэтому Шахину-эфенди, как человеку, который пользуется влиянием среди народа и не питает к христианам враждебных чувств,— блестящим примером явилось вчерашнее событие, — даётся весьма важное и ответственное поручение. Он будет проповедовать в соборной мечети, пробуждая в народе доверие, любовь и уважение к новой власти... Надо объяснить населению, что у греческого государства нет дурных намерений по отношению к мусульманам...

Истрати-эфенди протянул Шахину список духовных лиц, назначенных проповедниками в различные мечети Сарыова.

В самом начале, среди имен наиболее нелюбимых им софт, Шахин увидел и своё собственное имя. Несомненно, к составлению списка приложил руку Эйюб-ходжа. Однако почему же он допустил, чтобы Шахин попал в этот список? Возможно, из-за вчерашнего происшествия, которое произвело на греков столь сильное впечатление, или же у ходжи более тонкий расчёт?

Был уже заготовлен официальный документ, в котором говорилось, что Шахин-эфенди уполномочен проповедовать в соборной мечети.

Старший учитель не хотел брать бумагу.

— Вы же знаете, я всего лишь школьный учитель,— возразил он.

Но Истрати-эфенди, несмотря на высокий пост, который он, видимо, теперь занимал, настаивал прежним несколько развязным и даже заискивающим тоном:

— Слушай, Шахин-эфенди, я тебя люблю, ты хороший человек... Берись ты за это дело... Для тебя же лучше...

Шахин-эфенди задумался. Предлагаемое дело внушало отвращение. Однако лежавшая на столе перед ним бумага с печатью безусловно обладала могуществом, и, конечно, не следовало упускать столь благоприятный случай. Документ мог пригодиться хотя бы для того, чтобы свободно ходить по городу, бывать везде, где угодно. Да и попробуй угадай, как сложатся в дальнейшем события... Ведь он остался в Сарыова только для того, чтобы помогать своим соотечественникам, оказавшимся в тылу врага... Может быть, благодаря этой бумаге он и сумеет им помочь?..

«Хорошо, удостоверение я возьму,— решил про себя Шахин, после некоторого колебания.— Уж коль я считаю себя человеком принципов, если убеждён, что в любой борьбе следует сражаться в самой гуще, в первых рядах, и для достижения заветной цели не надо бояться никаких трудностей, так неужели меня испугает этот грязный путь? Я беру эту бумагу. Ну, если совсем будет неумоготу, то... всё в моих руках — верну

бумагу обратно...»

Что стало с Неджибом Сумасшедшим? Во время вчерашней паники Шахин-эфенди не видел друга, а все расспросы оказались безрезультатными.

Выйдя из участка, Шахин сразу же отправился к инженеру. Он предполагал, что семья Неджиба — старуха мать и сестра — ушла из города. Впрочем, может быть, он что-нибудь узнает у соседей.

Не успел Шахин протянуть руку к дверному молотку, как раскрылось окошко, и Неджиб радостно воскликнул:

— Вай, Доган-бей, ты ли это?

Друзья обнялись, словно не виделись долгие годы. Неджиб, как обычно, когда радовался, трижды поцеловал Шахина в бороду.

— Ты здесь, Неджиб?

— Ну конечно! Разве это удивительно?.. Я очень занят, работаю над проектом библиотеки и музея для Сарыова. Ведь непременно наступит такое время, когда придётся собирать старые книги, рукописи, предметы старины, все памятники древности, рассеянные теперь по гробницам, медресе и мечетям. Мой проект, право, просто великолепен, великолепен!.. Иди-ка, друг мой, посмотри, ты удивишься...

Шахин-эфенди сначала подумал, что Неджиб, как всегда, шутит, но, увидев в его маленьком кабинете стол, заваленный картами, планами, и чертёжными принадлежностями, опешил.

— Ты совсем с ума спятил, Неджиб! Гибнет страна. Родина пропала. И в эти тяжёлые дни ты раздумываешь над какими-то проектами.

Инженер рассмеялся.

— Не прикидывайся дурачком, Доган-бей. Что я должен сделать для спасения Сарыова, приказывай! И я буду последним подлецом, если не сделаю всего, что ты мне ни скажешь... Я не солдат... Поднять восстание в городе? Бессмысленно... Обвешаться оружием и выступить против регулярной армии, как твой Расим? Безрассудно! Уж лучше сидеть дома и работать...

— Непонятный ты человек... Чего же ты не удрал в таком случае?

— Ну, тогда слушай, что я тебе скажу. — Взгляд Неджиба стал серьёзным. — Оккупация оккупации рознь, дорогой мой. Эти типы захватили наш город совсем не потому, что он стратегически важен, и не потому, что им нужен ещё один заложник, чтобы гарантировать свои притязания на будущей мирной конференции. Нет! Они хотят просто-напросто прибрать наши земли к рукам, обосноваться здесь и хозяйничать, как у себя дома... Значит, идёт война не двух армий, а двух народов, двух

наций... Если так, то грекам рано или поздно придётся отсюда убираться восвояси...

Шахин-эфенди настолько устал за последние два дня от всех тревог и волнений, что лишь сейчас начал по-настоящему ощущать всю горечь поражения.

— Как, каким образом?.. — спросил он безнадёжным тоном. — Где армия? Где силы, организация, деньги?

Неджиб схватил его за плечи и начал трясти.

— Да ты совсем одурел, мой Доган-бей!.. Тебе же говорю, не две армии, а два народа будут сражаться! Когда это случится? Рано об этом говорить. Через год... два... пять, кто знает... пока будут существовать эти народы. И та нация, которая окажется более могущественной, более сильной, та и разобьёт другую... В один прекрасный день это случится обязательно... Ты спрашиваешь меня, каким образом это произойдёт?.. Могущественная нация — это тот народ, в котором скрыты неведомые источники силы. И когда наступают трудные времена, народ открывает свои кладовые и становится сильным и непобедимым. Таково моё мнение, дорогой мой Доган-бей.

На этот раз Шахин ничего не ответил, он сидел, молча опустив голову.

— И ещё, опять же по моему разумению, конечно, — продолжал Неджиб. — В этой борьбе два фронта и два рода обязанностей: или на фронте, с оружием в руках нападать на врага и силой отбирать у него захваченные города, или же, оставшись в тылу, спасти наших братьев-соотечественников, наши учреждения, наш язык, наконец, наше собственное существование... Вот с таким расчётом я и предпочёл остаться в тылу. Буду пока заниматься своим делом.

Шахин-эфенди рассеянно улыбнулся.

— Ну что ж, Неджиб, ты отчасти прав, кое в чём я могу согласиться с тобой. Только сомневаюсь, чтобы такой неуравновешенный человек, как ты, мог согласовывать мысли свои с поступками... Откуда нам знать, что будет с нами, что произойдёт в Сарыова. Не опрокинут ли все твои расчёты какие-нибудь непредвиденные события? Ты человек вспыльчивый. Боюсь, не сможешь ты совладать с собой. Видишь, что наделал наш Расим, а уж какой был смирный. Ах, Неджиб, лучше бы ты ушёл из города.

Инженер, смеясь, похлопал Шахина по спине.

— Да ты меня вовсе не понял, Доган-бей, словно уж я не знаю, что я за человек.

Неджиб рассказал о том, как Эйюб-ходжа договорился с греками.

С утра пораньше ходжа явился к греческому командованию во главе

делегации софт и от имени улемов, которые всегда были недовольны притеснениями со стороны прежних властей, выразил свое уважение и покорность. Командующий в ответ заявил, что греческое правительство будет справедливо и милостиво к новым подданным, в особенности к улемам, и что мусульманскому населению предоставлена полная свобода в отправлении религиозных обрядов...

Передавая подробности этого торга, Неджиб смеялся.

— Я должен тоже кое в чём покаяться, Неджиб,— нерешительно произнёс Шахин.— Знаешь, я так же жалок и низок, как и Эйюб-ходжа. Вот, погляди... Завтра я обмотаю голову чалмой и буду произносить проповеди в соборной мечети.

Шахин бросил бумагу на стол прямо посреди чертежей и планов. Он отвернулся, уставился в окно, как будто стесняясь встретиться взглядом с Неджибом, и нехотя стал рассказывать о вызове в участок.

Выслушав его, Неджиб проговорил:

— Эй, Доган-бей, да ты и впрямь стыдишься. А ведь это дело вполне совпадает с моими взглядами... Тебе поручают духовное руководство, будешь командовать народом! Не всем, но частью... Так чего ж ты ещё хочешь? О господи, брось плакаться и причитать, совсем ты не смалодушничал. Хотя теперь и оккупация, от Эйюба-ходжи всякого можно ждать, он в покое нас не оставит, так что твоя бумага — охранный грамота для нас... И к тому же, друг мой, ты ведь не будешь говорить что-либо противоречащее твоим собственным идеям... В этом городе, где осталось всего-то четыре с половиной человека, да и то больные и калеки, что может быть более правильным, как не призыв к спокойствию и порядку. Ох, кажется, завтра, если господь будет милостив, я тоже приду в мечеть послушать тебя. Но если я увижу тебя в чалме, разве удержусь... — И, представив своего товарища в чалме, Неджиб захлебнулся от смеха.

Начало смеркаться. Считая за лучшее не появляться в позднее время на улице, Шахин распрощался с другом и отправился домой.

Будь Шахин-эфенди человеком религиозным, он, может быть, уверовал бы, что удостоверение проповедника ниспослано ему самим господом богом.

В ту ночь, совсем уже поздно, греческие солдаты окружили школу Эмирдэдэ, обыскали дом снизу доверху, обшарили все закоулки и особенно комнату Расима, где забрали все бумаги, затем пригласили Шахина-эфенди следовать за ними в участок.

Шахин-эфенди надел чалму. Как раз перед сном он провозился с этой чалмой, тщательно приготавливая её и не зная, огорчаться ему или же

радоваться. Сунув в карман бумагу с печатью — своё новое удостоверение, он вышел на улицу.

В участке долго допрашивали Шахина-эфенди. Больше всего полицейских интересовали подробности частной жизни Расима. И хотя Шахину не терпелось узнать об участи своего несчастного друга, он всё же сохранял спокойствие и говорил чрезвычайно осторожно. Даже когда сказали, что Расим погиб вместе с другими повстанцами, Шахин сдержался, не закричал, даже нашёл в себе силы пожать плечами и, пытаясь казаться равнодушным, выдавил:

— Что ж, получил по заслугам...

Кто знает, сколько бы его мучили за то, что он был начальником Расима, его другом и наставником. Но случилось чудо: благодаря чалме, и в особенности удостоверению, которое было у него теперь на руках, к утру его отпустили. Он возвращался из участка домой, еле волоча ноги. Сердце его обливало кровью.

Смерть Расима была первой великой потерей в его жизни.

Только вслед за первой утратой очень скоро последовали и другие. Партизанский отряд в тридцать человек, созданный усилиями Расима, попытался напасть на греков, но в первой же стычке был разгромлен. Из этой горсточки отважных людей большая часть во главе с Расимом героически погибла в бою, а кое-кто, ещё хуже того, попал в руки врага. И лишь пяти-шести партизанам, как говорили, удалось спастись под покровом темноты. Среди убитых были жители Сарыова, которых Шахин знал очень хорошо. Но сильнее всего его потрясла смерть комиссара более трагическая, чем гибель Расима.

Кязыма-эфенди, раненного в плечо и ногу, взяли в плен. И, несмотря на кровоточащие раны, беднягу связали по рукам и ногам и бросили в палатку, где он провалялся в страшных мучениях всю ночь.

Из-за полицейского мундира греки считали Кязыма главарем мятежников. Испугавшись, что он умрёт своей смертью, они на рассвете расстреляли комиссара.

В ответ на выступление повстанцев греки усилили репрессии против жителей города, против родственников и знакомых убитых и особенно скрывшихся партизан; они совершали налёты на их дома под предлогом поисков оружия. На улице по самым незначительным причинам задерживали людей совершенно невиновных. С каждым днём росло количество арестованных на основании ложных доносов, клеветнических заявлений...

Между тем Шахин-эфенди начал проповедовать в соборной мечети.

Ежедневно он произносил свои проповеди после полуденного намаза, уговаривая и призывая народ к спокойствию и терпению. Иногда по специальному распоряжению командования он вынужден был восхвалять справедливость и милосердие греческих властей.

Порою во время проповеди он чувствовал к самому себе такое безумное отвращение, что его охватывало неудержимое желание вдруг взбунтоваться, завопить со своей кафедры слова проклятия, довести до бешенства окружающих, разбудить народ, и пусть тогда греческие полицейские, торчащие вечно у дверей мечети, кинутся на него и прибьют как взбесившуюся собаку...

Но потом, глядя на покорную, безмолвную толпу, собравшуюся вокруг него в ожидании помощи и утешения, Шахин постепенно успокаивался, и вместо невысказанных гневных слов в голосе его звучали нежность и любовь к этим несчастным, обездоленным людям.

Время от времени Шахин встречался с Неджибом, и каждый раз он стыдливо опускал голову, как будто был обязан отчитываться перед другом.

— Что поделаешь, приходится выполнять эту грязную работу! Ведь не для себя стараюсь... Некоторые ради пленных братьев своих жертвуют богатством, другие — жизнью, а я приношу в жертву человеческое достоинство, свою совесть... Поверь, Неджиб, это тоже достаточно тяжёлая жертва,— говорил он будто в оправдание.

— Делай своё дело, Доган-бей,— утешал его инженер.— Ты по-настоящему приносишь пользу людям. Не терзай понапрасну своё сердце.

И это действительно было так. Благодаря хорошим отношениям с греками, Шахину-эфенди удалось освободить из тюрьмы трёх невинно арестованных, отцов многочисленных семейств. Обычно он улаживал все конфликты между чересчур заносчивыми и вспыльчивыми христианами и мусульманами. Ему всегда удавалось столкнуться с греческими полицейскими. Но самой главной своей задачей он считал помощь семьям погибших партизан.

Тяжелее всего приходилось семье Кязыма. Дом комиссара обходили стороной, словно холерный барак. Соседи не решались даже ходить по улице, где жили жена Кязыма с детьми, уж не то чтобы заглянуть к ним в дом. Бакалейщик в их квартале не отпускал двенадцатилетнему сыну Кязыма хлеба даже за деньги.

Впрочем, и остальные семьи были почти в таком же положении. Без всяких колебаний входил Шахин-эфенди в эти дома, принося хлеб голодным, лекарство больным, утешение скорбящим. И чем бесстрашнее он действовал, тем спокойнее и радостнее становилось у него на душе.

После смерти комиссара остались вдова, женщина лет тридцати пяти родом из Румелии, и четверо сирот. В доме у них не было ничего, кроме жалкой домашней утвари да пары дешёвых оловянных серег и колец. Жена Кязыма, старательная и работающая хозяйка, казалось, забыла уже о муже и полностью отдалась заботам о детях.

— Я согласна на любую работу, только бы достать кусок хлеба для ребят, ведь они-то ни в чём не повинны... Готова стирать бельё, мыть полы, что угодно... но никто не даёт работы, — жаловалась она Шахину.

Свой первый приход в этот дом Шахин, наверно, запомнит на всю жизнь. Несчастная женщина как безумная сжимала пальцами горло и говорила:

— Я задыхаюсь, о, если бы я могла хоть раз наплакаться вволю, может быть, стало бы легче, но от малышей нет никакого покоя. Только я открою рот, они все разом начинают реветь... А коли с улицы услышат, всех нас убьют,— скажут, по отцу своему плачут...

Шахин-эфенди старался как можно чаще навещать этот дом, приносил всё, что мог достать,— ведь никто, кроме него, не заходил к этим людям. И стоило ему постучать в дверь, как внутри поднимался шум, и дети кричали:

— Дядя пришёл!..

Глава четвёртая

Неджиб Сумасшедший жил затворником, точно монах-отшельник. И хотя жизнь в Сарыова уже почти вошла в обычную колею, он совсем не выходил из дому. В домашнем халате и в туфлях-шлёпанцах он бродил с утра до вечера из комнаты в комнату, иногда читал или работал, помногу спал...

У него появилось новое увлечение,— вроде как бы дело,— он начал разрабатывать генеральный план реконструкции Сарыова, где было предусмотрено строительство правительственных учреждений, дворцов юстиции, банков, больниц, школ, даже кино и театров...

Когда Шахин-эфенди заглядывал к Неджибу, тот принимался объяснять ему очень подробно картину будущего Сарыова:

— Вот здесь будет парк, направо от сада кино... Ты, я вижу, ничего не понимаешь в плане. погоди, сейчас я покажу тебе чертёж фасада

кинотеатра...

— Всё прекрасно, но кино, насколько я понимаю, стоит у тебя как раз на том месте, где теперь монастырь Кадыри...

— Правильно, так и есть.

— Ну ладно, а что же ты собираешься делать с монастырём? Это не так просто... Хочешь ликвидировать старый Сарыова со всеми его тюрбэ и медресе и вместо него построить новый город? Где был монастырь Кадыри — там у тебя будет кино, на месте гробницы Келями-баба — школа, а где находилось медресе Сипахизаде хочешь воздвигнуть театр.

Шахин-эфенди, конечно, шутил, но Неджиб ответил ему очень серьезно:

— Стремительный поток событий сметает всё на своём пути — медресе, гробницы, теккэ, — всё ломает и уносит... Думаю, что греки, когда однажды им всё-таки придётся уходить отсюда, не оставят в городе камня на камне. И враги будут думать, что нанесут нам непоправимый урон, а ведь они окажут нам великую, неоценимую услугу, потому что вместо страшного наследства, оставленного средними веками — домов, не похожих на дома, и улиц, не похожих на улицы, — мы создадим новый, чистый, замечательный город.

— Прекрасная мечта! Ничего не скажешь, но ведь есть люди, которые захотят построить вместо разрушенного теккэ новую обитель, на месте старого медресе — другое медресе, — как прикажешь с ними бороться? Несмотря на свой мальчишеский оптимизм, этого я не могу понять, Неджиб...

Неджиб ласково подёргал Шахина-эфенди за бороду и сказал с насмешливым состраданием:

— Мой милый Доган-бей, не будем мудрствовать лукаво на тему: изначальная причина всему — вековое угнетение, темнота и так далее и тому подобное... Скажу просто: кто нас довёл до такого положения, другими словами, кто пустил греков в глубь Анатолии, до самого пупа? Всё те же падишахи и софты! Способен ли наш народ прогнать отсюда греков? Если способен, то он должен понять и эту истину. А если мы не поймём эту истину, то никогда не выгоним греков. Раздельный силлогизм — так, что ли, называется такое сопоставление в логике ваших медресе. Словом, хочешь так думай, хочешь эдак, а вывод один... Кажется, я в таком духе и рассуждаю... Ну ладно, в общем, если наш народ, вопреки всем интригам и стараниям семи держав^[83], сумеет прогнать отсюда греков, то будь уверен, он так турнёт всех этих падишахов и софт, только пятки засверкают...

Шахин-эфенди спросил Неджиба, почему он не выходит на улицу. Тот

ответил несколько задумчивым и даже печальным тоном:

— Совершенно естественно, что греки свободно себя чувствуют в Сарыова, шатаются по городу и творят всякие непристойности. Это я понимаю и могу согласиться: сегодня торжествует право их меча. Конечно, наступит день, когда, опираясь на право наших мечей, мы предъявим им свои претензии. Но понимаешь, не могу я смотреть на их физиономии. Ты справедливо говоришь, я человек неуравновешенный. Мысли мои не всегда совпадают с поступками... Так что лучше посидеть мне дома, ты уж меня извини.

Прошло всего несколько дней, и случилось событие, трагическим образом подтвердившее, насколько бедный Неджиб был прав в своих опасениях.

В пятницу Неджиб отправился на базар, но, по пути встретив товарищей, поддался их настойчивым уговорам и уселся с ними в кофейне на площади около мечети.

Как раз в эти дни греки одержали новую победу под Бурсой и пребывали по этому случаю в самом отличном настроении. На улицах то и дело слышались звуки шарманки...

В кофейне за соседним столиком старик, секретарь вакуфного управления, рассказывал, что совсем недавно вечером греки ворвались в дом его соседа якобы в поисках оружия, и греческий офицер изнасиловал совсем молоденькую девушку.

Слушая рассказ, Неджиб нервничал, злился, лицо его побледнело, на висках вздулись вены. Он уже дважды вставал, чтобы уйти, но товарищи силой усаживали его на место. Наконец он поднялся в третий раз, твёрдо решив больше никого не слушать и отправиться домой, как внезапно перед кофейней появились греческие жандармы.

— Эйвах, опять оружие ищут,— сказал один из приятелей Неджиба.

Греки по-прежнему относились с подозрением к жителям Сарыова. То и дело они устраивали облавы на улицах, хватали прохожих, обыскивали посетителей кофейен, рыскали по лавкам и магазинам.

Население уже привыкло к подобным представлениям: когда подходили солдаты, люди покорно вставали и поднимали руки.

Церемония обыска показалась вдруг Неджибу позорнее самой мучительной пытки. Сначала обыскивали седобородого ходжу, потом старика, судейского чиновника. Когда жандармы заставили встать полковника, вышедшего в отставку после ранения во время мировой войны, Неджиб ругался сквозь стиснутые зубы. Товарищи вцепились в него и умоляюще зашептали:

— Аман, что ты делаешь?..

Но Неджиб ничего не слышал, широко раскрыв глаза, он смотрел на старого офицера, который с трудом поднимал искалеченную руку.

— Низко! Подло! Разве это можно вынести!..— хрипел инженер, корчась в конвульсиях, как будто его тяжело ранили.

Дошла очередь до их столика, и все, кроме Неджиба, встали. Солдат с изуродованным лицом, густо покрытым веснушками, шарил по карманам, потом, обращаясь к Неджибу, сказал по-турецки:

— Ну-ка вставай! Чего сидишь?..

Инженер молча продолжал сидеть. Один из его товарищей, зная неукротимый характер Неджиба, взял его за руку и, задыхаясь от волнения, прошептал:

— Ради бога, Неджиб!..— Но тот вырвал резким движением руку.

Солдат разозлился.

— Эй, ты! Тебе говорят по-турецки, не понимаешь, что ли?

Как пружина, вскочил Неджиб на ноги, и в то же мгновение в воздухе мелькнул его кулак. Греки кинулись на инженера. Но тот схватил с соседнего стола кальян и обрушил его на голову одного из жандармов. Кальян разлетелся вдребезги, а солдат, точно поражённый молнией, покатился между стульев...

Через секунду на базаре, в кофейнях началась паника. Люди ринулись к выходу, давя друг друга, опрокидывая столы и стулья; с грохотом опускались железные ставни лавок.

Неджиб уже схватил другой кальян и шагнул навстречу врагам. Греки в страхе отступили, оставив на поле битвы своих истекающих кровью, поверженных товарищей. Инженер решил воспользоваться всеобщим замешательством и скрыться, но, видимо, в последнюю минуту растерялся и побежал почему-то прямо во двор мечети. В воротах он вдруг споткнулся о камень и упал ничком, всё ещё держа кальян в руках...

Подняться Неджиб уже не смог. Подоспели пришедшие в себя жандармы. Они окружили его и тут же прикончили штыками и прикладами...

Глава пятая

Шахин-эфенди обезумел от горя. Он перестал есть, пить.

Днём он разговаривал сам с собой:

— Ушли все, кого я любил на этом свете, все умерли... Пора и мне в дорогу... Я должен умереть...

А по ночам до самого утра Шахин слышал во сне голос Неджиба — ясный, громкий, такой же сильный, как в жизни... И Неджиб кричал: «Доган-бей!.. Доган-бей!..» — звал его, сердился и смеялся...

Этот новый страшный удар — потеря любимого друга — поразил Шахина гораздо сильнее, чем все прежние, и, может быть, он бы и не оправился, если бы смерть Неджиба не взвалила на его плечи новые обязанности: надо было заботиться о старой матери Неджиба и его вдове-сестре, которые теперь остались беспомощные и одинокие.

«О господи, что за странная судьба? — думал Шахин.— Ведь у меня никого не было на всём божьем свете. Всегда один, и в этом моя великая сила! А теперь? Теперь я стал отцом многих детей: я связан по рукам и ногам. Я не могу, не имею права вот так, запросто, лечь, вытянуть ноги и... спокойно умереть... Не могу, потому что целая орава несчастных ждёт меня каждый вечер, ждёт, когда я постучусь к ним в дверь, чтобы принести кусок хлеба или слово утешения...»

Время шло, и Шахин перестал ощущать так остро потерю друга, хотя он думал, что не перенесёт горя. Острота боли притупилась, потому что каждый новый день приносил новые трудности, тысячи новых опасностей и волнений. Шахин так уставал и духовно и физически, что уже не в состоянии был следить за своими собственными чувствами и переживаниями. Каждый день он видел вокруг себя всё новые страдания и несчастья, и по сравнению с ними его душевные муки, рождаемые воспоминаниями, постепенно тускнели, бледнели, и вместе с ними таял живой образ Неджиба, сливался с другими поблекшими образами далёкого прошлого, которые бережно хранит в каком-нибудь уголке человеческая память...

И каждый новый день приносил новые вести, особенно радостные из глубины Анатолии, которые вдохновляли Шахина, возвращая его к жизни.

И если греки начинали сильнее притеснять население, больше безобразничать, мародерничать, если в Новом квартале, сверкавшем каждую ночь со времени оккупации праздничной иллюминацией, стихали звуки шарманки и прерывалось веселье, Шахин-эфенди радовался, считая это хорошим признаком: «Новый квартал сегодня невесел, значит, наши продвинулись ещё на один шаг вперёд»,— ведь получить точные сведения из-за линии фронта было почти невозможно.

С каждым днём у Шахина появлялись всё новые обязанности в Сарыова, новые поручения, которые он выполнял молча и безропотно.

Как-то Шахин разговорился с одним молодым офицером, капитаном, который в своё время не смог бежать, так как в день взятия города лежал в тифу.

— Наши партизаны всё время теснят греков. Все говорят, что внутри страны уже формируется регулярная армия... А я тут, как в ловушке,— жаловался молодой человек.— Что делать? Уж сколько раз я подумывал бежать... Только не хочется зря рисковать. Бежать и сразу же попасться, погибнуть и не сразиться с этими... Нет, так нельзя. Сегодня наша страна не может жертвовать ни одним человеком...

— Ты прав. Ты нужный человек и смелый офицер, и здесь тебе делать нечего. Надо присоединиться к армии или, по крайней мере, к партизанам. Я сделаю всё, чтобы помочь тебе,— обещал Шахин.

И хотя офицер не поверил этим словам, в голове Шахина-эфенди уже созрел дерзкий план.

В тот же день он обратился к греческому командованию.

— Наши крестьяне очень невежественны, ничего не понимают... ни своих выгод, ни добра, которое для них творят... Поэтому они поддаются уговорам мятежников, идут на поводу у эшкия. Не хотят подчиняться греческим властям, в результате сами же себе вредят... Следовало бы в окрестные села послать проповедников, людей надёжных, которым можно доверять. Пусть они уговорят народ.

Командованию эта идея понравилась. Была создана комиссия для отбора проповедников, куда вошёл и Шахин-эфенди.

И очень скоро молодой офицер, так стремившийся бежать из Сарыова, отправился в далёкий путь. Он был одет в джуббе, зелёная чалма украшала его голову, а через плечо висела перемётная сума. На руки ему был выдан мандат проповедника с подлинной печатью комендатуры Сарыова, с этими документами он мог благополучно добраться, куда ему было нужно.

И хотя Шахину грозила постоянная опасность расстрела, он не удовлетворился своей первой удачей. Он продолжал тайком разыскивать в городе людей, которым можно было бы вручить мандаты проповедников.

Около десяти офицеров и унтер-офицеров, задержавшихся по каким-либо причинам в Сарыова, один за другим покинули оккупированный город и под видом проповедников перебрались через линию фронта.

ЭПИЛОГ

Повозка остановилась на берегу речки, на расстояния получаса ходьбы от Сарыова. Пришлось слезть, дальше ехать было нельзя. Во время отступления греки сожгли старый деревянный мост, и теперь на его месте строился новый, бетонный, который ещё не был закончен.

Шахин-эфенди положил на землю свой скромный багаж, состоявший из узелка с бельём да глиняного кувшина, и уселся на берегу под тоненькой, чахлой ивой.

Вот он, долгожданный час встречи! Наконец-то Шахин добрался до Сарыова, по которому тосковал столько лет в чужих краях. Милый, родной Сарыова, освобождённый не только от врага, но и от мрака зелёной ночи!..

Как старые друзья, встречающиеся после долгой разлуки, прежде чем броситься в объятия, смотрят друг на друга, словно хотят увидеть все перемены, свершившиеся под действием разрушительного времени, вот так и Шахин, прежде чем войти в город, хотел досыта на него наглядеться.

Враг сжёг большую часть Сарыова. Но на пепелищах строились новые белокаменные дома, и под сияющим летним солнцем эти здания сверкали, подобно счастливой юности — этой великой надежды человечества.

Шахин-эфенди смотрел на город и улыбался. Впрочем, он начал улыбаться уже давно, ещё с того момента, как двинулся из Греции на родину.

Дорога была долгой и трудной. Ехать пришлось на грязной палубе маленького итальянского пароходика, где несчастному Шахину доставалось и от пронизывающего дождя или морских волн, гулявших свободно по палубе, и от немилосердно паливших солнечных лучей, от которых некуда было укрыться. Но на лице Шахина цвела всё время счастливая улыбка. Пассажиры смотрели на него, как на помешанного или юродивого. И правда, этот бедно одетый человек с поседевшей рыжеватой бородкой молча сидел с закрытыми глазами, ни с кем не заговаривал и только непрерывно улыбался, подобно наивному, счастливому и мечтательному ребёнку.

Однако улыбка Шахина никогда не была ещё такой широкой и блаженной, как теперь, в эти счастливые минуты, когда он смотрел на свой Сарыова, на свой милый, долгожданный город, встававший перед ним в лучах заходящего солнца, точно выздоравливающий после длительной

болезни.

Ни тяжкие страдания, доставшиеся на его долю за последние годы, ни даже мучительные воспоминания о товарищах, трагически погибших здесь, не могли стереть с лица Шахина радостной улыбки...

В течение четырнадцати месяцев оккупации Сарыова вёл Шахин-эфенди тайную борьбу против греческих властей. И потому, что Шахину приходилось заботиться главным образом о других, а не о себе, он действовал всегда хитро и осторожно, и греки так и не смогли разгадать его двойной игры.

Но в конце четырнадцатого месяца его всё-таки поймали, когда он вёл пропаганду среди солдат батальона войск внутренней охраны, переведённого в Сарыова из Стамбула для отправки в Анатолию. Впрочем, никаких доказательств его виновности у греческих властей не оказалось.

Перед военным трибуналом Шахин-эфенди ловко истолковал свои слова, которые он говорил солдатам. Так как греки считали маловероятным, чтобы ходжа, находившийся долгое время у них на службе, мог совершить преступление, они не решились его расстрелять. Однако, поскольку Шахин всё-таки был заподозрен в нелояльности, оккупационные власти сочли невозможным оставлять его в городе и выслали на один из греческих островов.

На острове, куда попал Шахин, оказалось очень много мусульман, а среди них достаточное количество бездельников, которые, намотав на голову чалму, кормили себя тем, что занимались знахарством, колдовством и другими неблагоприятными делами. Конечно, Шахин-эфенди мог бы делать то же самое, но он предпочёл сбросить ненавистную чалму и поступить официантом в ресторан. Теперь Шахин был не только учителем, но и отличным поваром; недаром говорится: ремесло — что золотой браслет на руке...

Шахин-эфенди не смог сразу после победы^[84] вернуться на родину. Отношения между Грецией и Турцией были весьма запутанными, к тому же Шахин считался не только военнопленным, но и политзаключённым. А ко всему прочему он тяжело заболел и пять с половиной месяцев пролежал в больнице. Так что когда, преодолев все преграды, он отправился в путь-дорогу, халифат в Турции был уже отменён, закрылись медресе и теккэ — обители дервишей^[85], а вместе с лампадами многочисленных гробниц, находившихся в Сарыова, навеки погасла и зелёная ночь...

Проезжая по равнине, Шахин видел работавших в поле мужчин в широких соломенных шляпах. А ведь десять лет назад, когда он впервые

ехал в Сарыова, на этих же самых полях, обливаясь потом под лучами жаркого солнца, трудились крестьяне в белых с жёлтой полосой чалмах или повязанные платками по-йеменски.

В конечном счёте, всё то, о чём он мечтал и чего добивался, превратилось в действительность гораздо раньше, чем он даже мог предполагать. Итак, потерпели поражение все эти ходжи эйюбы, зюхтю, все эти бесчисленные банды софт, что кружились по улицам Сарыова, жужжа, точно разъярённые пчёлы... Побеждены все эти высокопоставленные чиновники, которые, несмотря на то, что носили на голове фески и произносили речи о введении всяких новшеств и реформ, на деле оказывались в большей степени софтами, чем обитатели медресе... Разгромлены, наконец, все деребей-феодалы, все бывшие бандиты, которые, подобно Хаджи Эмину, раскаялись на шестьдесят первом году жизни. Все они сгинули навечно и больше не вернутся...

Из четырёх союзников-единомышленников, которые когда-то в холодной тёмной комнате школы Эмирдэдэ спорили, мечтали и ждали вот этого самого дня, из четырёх товарищей остался в живых только он один.

Ну и что из того, что люди эти умерли? Идеи-то их живы!..

И школа, возведённая стараниями Шахина-эфенди и его друзей, не сгорела,— она цела. В этой школе он устроит траурную панихиду по своим погибшим товарищам. На этом скорбном торжестве он расскажет печальную поучительную повесть, в которой будет изложена история создания школы, начиная от хитроумного плана, составленного инженером Неджибом. Да, да, он расскажет, как вместе с верным Расимом они боролись в течение многих лет, защищая новую школу от жестоких и несправедливых нападок. Расскажет о том, как их оскорбляли, травили, преследовали и даже хотели убить, потому что считали врагами веры и падишаха...

Одним словом, великая революция, которую он так ждал, свершилась. Теперь все пути открыты. Оставшиеся годы жизни он посвятит Сарыова,— ради этого города ему пришлось так много выстрадать, но именно поэтому, наверно, он и полюбил его навечно, полюбил сначала за все его беды и горести, а теперь за счастливое будущее.

Для себя он ничего не желает. Он хочет остаться тем же скромным учителем начальной школы. Он хочет работать в своём родном детище, в школе Эмирдэдэ. Он будет учить и воспитывать поколение, будет вести юных граждан своей родины в лучшее и справедливое будущее...

Шахин-эфенди поднялся с земли. Он взял в руки свои вещи и с гордым видом победителя зашагал вперёд по пыльной улице строящегося города.

На улицах Сарыова в тот день было многолюдно, но почему-то Шахину-эфенди не встречалось ни одного знакомого лица. Как и десять лет назад, Шахин направился прямо в отдел народного образования. В приёмной сидел молодой служитель.

— Пойди, сынок, доложи господину заведующему, что пришёл старший учитель Эмирдэдэ,— тихо сказал Шахин-эфенди...

Служитель посмотрел на него с изумлением.

— Старший учитель Новой школы? Что ты говоришь, эфенди, сколько же старших учителей в этой школе?..

Шахин-эфенди так привык считать Эмирдэдэ своею собственностью, что не мог предположить, что за эти годы его место могут отдать другому. Между тем такое решение было вполне естественным и даже необходимым, и Шахин сам удивился собственному недомыслию, однако сердце его впервые сжалось от ревности: так ревнует солдат, когда, вернувшись из похода, узнаёт, что его жена вышла замуж за другого...

Но Шахин нашёл силы взять себя в руки: новый старший учитель Эмирдэдэ мог быть только временным его заместителем...

— Хорошо, сынок, тогда скажи, что пришёл бывший старший учитель,— сказал он служителю.

Заведующий отделом народного образования оказался незнакомым молодым человеком лет двадцати пяти. Он поднял голову, оторвавшись от кипы бумаг, лежавших перед ним на столе, и спросил Шахина-эфенди:

— Что вам угодно?

Посетитель в нерешительности мял в руках кепку, не зная, как объяснить своё дело. В это время открылась дверь и вошёл маленький человек в котелке и короткополом пиджаке. Увидев его, Шахин-эфенди отступил на шаг. Перед ним стоял Эйюб-ходжа. И хотя он сбрил свою редкую бородку, Шахин-эфенди сразу же узнал его. И тот, в свою очередь, с первого взгляда узнал прежнего учителя Эмирдэдэ.

— Вы здесь? — спросил он. — Откуда это вы явились? — Не находя слов для ответа, Шахин-эфенди в оцепенении смотрел на него. Лицо Эйюба-ходжи приняло вдруг озабоченное и встревоженное выражение, он засуетился, видимо, желая избежать разговора с Шахином, поманил пальцем заведующего отделом и торопливо произнёс:

— Прошу вас уделить мне минуту времени. Прежде чем пойти на заседание, я должен вам рассказать об очень важном деле.

И как всегда свободным и непринуждённым жестом он открыл дверь инспекторской комнаты и пригласил туда заведующего.

Пока они разговаривали, скрывшись за дверью, Шахин растерянно

соображал: «Что же такое творится? А эта летучая мышь? Почему она уцелела в Сарыова, спасённом от кошмара зелёной ночи? Судя по тому, как этот человек себя ведёт — входит в кабинет, не снимая шляпы, бесцеремонно обращается с заведующим отделом народного образования, фамильярным тоном приглашает его пройти в соседнюю комнату,— у него в Сарыова влияние и авторитет!.. О господи, как же так?..»

И первое изумление Шахина-эфенди уже превращалось в страх...

«Если этот человек и поныне пользуется в Сарыова влиянием, что же будет со мною? А сейчас, наверно,— и даже не наверно, а совершенно точно,— Эйюб-ходжа рассказывает заведующему обо мне...»

Смятение охватило Шахина... Тучи сгущались... Такое напряжение не может продлиться долго... Сейчас грянет гром и разразится буря...

Когда они вернулись в кабинет заведующего, Эйюб-ходжа сказал очень громко:

— Как я вам уже докладывал, теперь решение вопроса об этом участке полностью зависит от вас, от вашей ловкости... До свидания...

Небрежно кивнув Шахину-эфенди, он вышел.

Если у Шахина была раньше хоть капля сомнения, что разговор в соседней комнате шёл о нём, то теперь, услышав эти только что придуманные слова о каком-то участке, он перестал сомневаться.

Лицо заведующего отделом народного образования было хмуро и строго, голос звучал резко.

— Кто вы?

— Я бывший старший учитель Новой школы, которая раньше называлась Эмирдэдэ...

Шахин-эфенди уже собирался изложить всё по порядку, но молодой заведующий раздраженно оборвал его на слове:

— Надеюсь, вы не тот самый Шахин-ходжа, который во время оккупации намотал на голову чалму и пошёл на службу к грекам? Думаю, что при всём своём бесстыдстве и тупоумии этот мятежный софта-предатель не осмелился бы ступить шагу в Сарыова...

Казалось, Шахин-эфенди сходит с ума. Теряя своё обычное спокойствие и смирение, которые он умел сохранять даже в минуты великой опасности, Шахин готов был закричать, чтобы защитить себя от подобных обвинений, однако заведующий не желал ничего слушать. Не дав ему вымолвить ни слова, он указал рукой на дверь.

— А ну-ка, папаша, брось тут шуметь... Если ты в состоянии прислушаться к голосу совести, если у тебя осталось хоть немного разума, молись и будь признателен за то, что закон и великодушная терпимость

родины дают тебе право свободно ходить по этой священной земле... Об учительстве забудь! Эта профессия отныне только для людей с чистой совестью, для тех, кто овладел новыми идеями.

Шахин-эфенди быстро оправился после первого удара. Как человек, не знающий, что такое отчаяние, он был великим оптимистом и поэтому отважно ринулся в бой...

Он встретил своих старых противников. Именно они были настроены особенно враждебно против бывшего учителя школы Эмирдэдэ.

На страницах газеты «Сарыова» по-прежнему печатался старый знакомый Зюхтю-эфенди, некогда славившийся в городе как крупнейший богослов-мюдеррис. Теперь он писал длинные статьи под заголовком: «Внутреннее лицо медресе». И в одной из таких статей он обрушился на Шахина. Он писал, что бывшие воспитанники медресе, вроде Шахина-эфенди, если даже они не запятнали себя в прошлом антипатриотическими поступками, не способны постичь новых взглядов, идей современности и потому не имеют права сегодня преподавать в школах...

И другой знакомый, бывший ответственный секретарь местного отделения партии «Единение и прогресс» Джабир-бей, который сделался теперь представителем компании по строительству дорог и мостов в районе Сарыова, тоже не замедлил подать свой голос. Он заявил, что не понимает, как может человек, бежавший в самые трудные для родины дни со своего поста, свободно расхаживать по этой земле.

Ну, а что касается старого Хаджи Эмина, так тот повсюду, где бы ни появлялся, сразу же начинал кричать, что если он только встретит на улице Шахина-эфенди, то за себя не отвечает...

В конце концов Шахин-эфенди понял, что в этом городе он не найдёт ни у кого поддержки, не сможет восстановить своё доброе имя.

И вот однажды вечером, когда уже начало смеркаться, Шахин взял небольшой узелок с вещами да несколько книг и тронулся в далекий путь.

Он вышел из города по кладбищенской дороге, ведущей в горы. Больше часа шагал Шахин между садами и огородами, не оборачиваясь, и слёзы струились по его щекам, застилая взор.

Дорога привела Шахина к развилке. Сбросив ношу на землю, он вытащил платок, вытер глаза, протёр очки.

В последний раз взглянул Шахин на тусклые огни Сарыова, начинавшие уже теряться вдаль, и громко произнёс:

— А ведь верно сказано: то, что зовётся революцией, нельзя совершить в один день...

Дороги от развилки расходились в четыре стороны.

Когда Шахин покидал Сарыова, он не решил, да и не знал, куда идти. И теперь, повернувшись спиной к городу, он долго стоял и смотрел вперёд, в темноту, словно ждал, что оттуда снизойдет откровение...

— Если я пойду по средней дороге, она приведёт меня туда, где рождались революция и победа. Уж там я найду, с кем отвести душу.

Вспыхнувшая надежда вернула ему и прежний оптимизм, и радостное ощущение бытия, и желание жить. Он подхватил с земли свой узелок и книги, поднял воротник пальто и зашагал навстречу свежему ветру, дующему с севера...

Март — сентябрь 1926 года.

notes

Басри-бей, заведующий первым отделением департамента начального образования министерства просвещения... - Бей (а также бей-эфенди, эфенди или эфендим) — господин, сударь, вежливая форма обращения; может прибавляться к имени собственному.

...два человека распределены по вилайетам... — Вилайет —
административная единица: провинция, губерния.

До поступления в институт я имел счастье учиться в медресе... – Медресе — мусульманская духовная школа. Медресе существовали обычно при мечетях; во главе школы стоял мюдеррис — старший преподаватель (наставник), которому были подчинены младшие мюдеррисы и учащиеся (софты или муллы). Полный курс обучения делился на три курса: низший (адна), средний (аусат) и высший (ала) и включал изучение арабского и персидского языков (почти все богословские книги были написаны, как Коран, на арабском языке), логику, богословие, законоведение, толкование Корана, хадисы — предания об изречениях и деяниях пророка Мухаммеда; обучение в медресе не ограничивалось определёнными сроками, софты учились иногда по 20 лет. После окончания обучения софты по собственному выбору сдавали экзамены на мюдерриса, на муфтия или кадия (судья в духовном суде), на хатыба или имама (проповедника, руководящего молитвою в мечети). В начале XX в. в Турции насчитывалось более 2 500 медресе.

...и во время рамазана... - Рамазан — девятый месяц мусульманского лунного года, месяц поста. Во время рамазана софты покидали медресе и отправлялись на три месяца в странствие, проповедуя в деревнях, знахарствуя и собирая подаяния.

...Ну что ж, прекрасно, ходжа... – Ходжа - духовное лицо, мулла, учитель приходской начальной школы.

...Пароход отчалит не скоро, после вечернего эзана... – Эзан — призыв к намазу, молитве, которую мусульмане совершают пять раз в день (призыв к молитве выкликают муэдзин с минарета мечети).

...жалкий мальчонка в рваном зелёном джуббе... – Джуббе — длиннопольный халат, род верхнего платья особого покроя, которое обычно носят лица духовного звания.

...Во время событий тридцать первого марта... - В ответ на младотурецкий переворот 23 июля 1908 года, ограничивший власть султана и восстановивший конституцию 1876 года, реакция сплотила все внутренние и внешние силы. В конце 1908 года при поддержке Англии сформировалась враждебная комитету «Единение и прогресс» феодально-компрадорская партия «Свобода» («Ахрар»). 31 марта 1909 г. в Стамбуле начались волнения среди учеников медресе — софт, к ним присоединились распропагандированные «ахрарами» и мусульманским духовенством солдаты стамбульского гарнизона и подняли восстание под лозунгом «возвращение к шариату» (шариат — религиозный закон, духовное право мусульман). Опираясь на мятежников, султан Абдул Хаид II попытался восстановить старый режим абсолютной монархии, однако продержался всего две недели — «Армия действия», выступив из Македонии под командованием младотурецких офицеров, разбила мятежников. Парламент низложил Абдула Хаида II и возвёл на престол султана Мехмеда V, торжественно присягнувшего на верность конституции. Младотурки жестоко расправились с участниками восстания, партия «ахраров» была запрещена.

.....в медресе Сомунджу-оглу... - Каждый знатный и богатый турок-мусульманин, умирая, обычно завещал деньги или имущество (вакуф) на благотворительные цели: постройку школы или медресе, устройство фонтана или источника и т.п. Медресе и начальные приходские (вакуфные) школы носили имена своих основателей, оставивших недвижимое имущество для содержания школы и учителя. Учительство в вакуфных школах переходило по наследству.

...сделать его добровольцем великой армии зелёного знамени... - Зелёное знамя было религиозным знаменем арабов-мусульман, чьи войска, начиная с VII века, утвердили господство арабов на Ближнем Востоке и способствовали насильственному распространению ислама. Зелёный цвет олицетворял в понятии арабов-кочевников жизнь.

...Среди учителей медресе был некий Хаджи... - Хаджи — паломник, мусульманин, совершивший паломничество (хадж) к святым местам в городах Мекке и Медине; как почетный титул ставится перед именем, собственным..

...Он когда-то учился в *Египте*... - В Египте находился знаменитый мусульманский университет аль-Азхар, созданный в XVI веке.

...преподавал в Стамбуле в медресе при мечети Фатих... – Фатих—
Завоеватель, прозвище султана Мехмеда II; завоевателя Константинополя
(1453); мечеть Фатих была построена по приказу Мехмеда II в 1463—1469
гг. архитектором византийцем Христодулом.

...Шагает высокая женщина, мокрое от слёз лицо, непокрытая голова, чёрная накидка ниспадает до пят — это Фатъма... – Фатъма — дочь пророка Мухаммеда, жена имама Али, двоюродного брата пророка и четвёртого халифа. После смерти Мухаммеда (632 г.) борьба за власть в арабском халифате шла между потомками Мухаммеда, сыновьями и племянниками имама Али, которые принадлежали к роду хашим и представляли торговую верхушку Медины, и халифом Язидом, сыном Муавия из рода омейя, основавшим первую мусульманскую династию Омейядов, которую поддерживала феодальная аристократия Мекки.

...Вот она подходит к безжизненному телу Хюсейна... – Хюсейн — сын Фатьмы и Али, внук Мухаммеда, погиб в битве при Кербеле в 680 г., окружённый войсками Язида. В Кербеле находится гробница Хюсейна — место паломничества мусульман-шиитов, последователей одного из двух основных направлений ислама, которые признают законными правителями только потомков Мухаммеда — двенадцать имамов: Али, Хасана, Хюсейна и др.

...другая женщина — мать имама Исмаила... — Имам Исмаил — шиитский имам, приверженцы которого основали секту исмаилитов.

...по случаю свадьбы какого-то шахзаде... – Шахзаде — принц, наследник престола.

...придумали спектакль, нечто вроде орта оюну... – Орта оюну (дословно: игра посередине) — народное театральное представление, буффонада.

...сделал из своего халата женское фередже... – Фередже — верхняя накидка.

...сделал ... из чалмы — яшмак... — Яшмак — тонкое покрывало, закрывающее лицо мусульманской женщины.

...*Вот Хафыз Ремзи...* – Хафыз — духовное лицо, знающее наизусть Коран, священную книгу мусульман; ставится перед именем в качестве почётного титула.

...женился на пожилой, но богатой вдове паши... – Паша — высший гражданский и военный титул, генерал, сановник в султанской Турции.

...В ночь, когда драгоценный паша был предан земле, ханым-эфенди ... -
Ханым — сударыня, госпожа; ханым-эфенди — обращение к знатной женщине.

...Меджид был сыном дворцового имама... – Имам (арбск.: «находящийся впереди») — духовное лицо у мусульман, которое произносит проповеди и руководит в мечети общей молитвой. В первых мусульманских государствах имамы были верховными правителями, в руках которых была сосредоточена не только политическая и военная власть, но и духовная власть религиозного руководителя своих подданных.

...молодой мулла посылал через своего отца доносы самому Абдулу Хамиду... – Абдул Хамид II — султан, годы правления которого (1876-1909) вошли в историю Турции как эпоха «зулюма» — тирании.

...Некогда там жил больной чемез... – Чемез — молодой софта.

...на последние двадцать пара он купил чёрствый бублик и поужинал им всухомятку... – Пара — мелкая монета.

...когда наступал байрам... – Байрам — праздник, здесь имеется в виду Курбан-байрам, праздник жертвоприношения, один из главных праздников у мусульман.

...Эйваллах!... – Восклицание, означающее "да будет так!".

...пламя начало уже подступать к подножию трона халифа... – Халиф — титул верховного главы мусульман, совмещавшего светскую и духовную власть как преемник пророка Мухаммеда; в Османской империи титул султана.

...в Стамбуле или в деревнях Анатолии и Румелии... – Анатолия — азиатская часть Турции, Румелия — европейская часть.

...произошёл конституционный переворот... – Речь идёт о младотурецкой буржуазной революции 1908 года.

...Как он был похож на Немруда, пустившего стрелы в небо, чтобы убить бога... — Немруд (Нимврод) — герой библейской легенды о вавилонском столпотворении; по библейскому рассказу, царь Нимврод решил, вопреки воле божьей, основать всемирную империю и в знак своей власти построить «башню вышиною до небес».

...Вернись к истинной вере! Гяуром стал... – Гяур — неверный, так называли всех иноверцев, немусульман.

...к ним присоединились какой-то паша в военной форме и чернобородый дервиш... – Дервиш — мусульманский странствующий монах; дервиши были объединены в секты или ордена-братства.

...поверх ночной рубашки был надет широченный балахон ордена Мевлеви... – Мевлеви — орден так называемых «крутящихся» дервишей и один из наиболее богатых орденов в Турции, который пользовался огромным влиянием среди высших классов и даже при дворе султана; был основан великим поэтом Джеляледдином Руми (1207—1273) в Конии.

...Я угощу пачой тебя... – Пача — кушанье, приготовляемое из бараньих ножек.

...стали без конца писать об «учительской армии»... – После младотурецкой революции в стране провели частичную реформу народного образования. Чтобы ослабить влияние религии на народное просвещение, были открыты светские школы, в которых программа обучения строилась по европейскому образцу. Кроме казённых начальных школ (иптидаи) в губернских и уездных городах были созданы средние школы: городские училища (рушдие) и гимназии (эйдади). Для подготовки учителей были открыты мужские и женские учительские институты (даруль-муаллимие); в 1910 г. четыре таких института насчитывалось в Стамбуле и пять в провинции.

...получить диплом, а потом стать учителем начальной школы... – В Османской империи существовали начальные школы (иптидаи) двух типов: казённые, подчинявшиеся министерству народного просвещения, и приходские (квартальные и вакуфные), которые находились при мечетях или медресе и функционировали за счёт пожертвований мусульман или на доходы от вакуфов. В казённых школах преподавали учителя, окончившие институт или специальные учительские школы, и духовные лица (ходжи), окончившие медресе; в приходских школах учили обычно только духовные лица — ходжи. В 1910 г. в Турции насчитывалось около 32 тыс. начальных школ, причём на одну министерскую приходилось около 80 приходских школ. Курс обучения в этих школах был четыре года.

...Это и есть касаба... – Касаба — селение, местечко, небольшой городок, центр уезда, находящегося под управлением мутасаррифа.

...*Я — воспитанник Галатасарая...* – Галатасарай — султанский лицей в Стамбуле, одно из старейших средних учебных заведений Турции (основан в 1869 г.), где преподавание шло на французском языке.

...партии *«Единение и прогресс»*... – В 1911 году комитет «Единение и прогресс» реорганизовался в буржуазно-помещичью националистическую партию, во главе которой стояла кучка стяжателей и карьеристов, прямых агентов империалистических держав, в первую очередь — Германии.

...начальнику вакуфного управления... – В ведении вакуфных управлений были земли, дома, лавки и другое недвижимое имущество, которые сдавались в аренду, а доходы шли на содержание школ, медресе, мечетей и других религиозных учреждений.

...только и толковал, что о ремонте могил и усыпальниц, украшении мечетей, о теккэ... – Теккэ — обитель дервишей.

...Джабир-бей говорил о трагических событиях времён балканских войн... – Балканские войны — первая (1912—1913 гг.), вторая (лето 1913 г.) — войны между Турцией и соседними странами — Болгарией, Сербией, Черногорией, Грецией из-за европейских владений Османской империи; национально-освободительная борьба против турецкого господства на Балканах окончилась потерей Турцией почти всех владений в Европе. Турция сумела удержать только Восточную Фракию с городом Адрианополем (Эдирне).

...как архимедовы зеркала сожгли римские корабли... – В легендах о величайшем математике и механике древности Архимеде (ок. 287—212 гг. до н. э.) рассказывается о том, что он при помощи зеркал сжёг римский флот, осадивший его родной город Сиракузы.

...с зелёным знаменем в одной руке и красным в другой... – Зелёное знамя — религиозное знамя ислама, красный флаг с изображением полумесяца и звезды — национальный флаг Турции.

...он направлялся в обитель дервишей ордена Кадири... – Орден Кадири — одна из многочисленных сект дервишей в Турции и других мусульманских странах; орден дервишей Кадири, или, как их ещё называют, «ревунов», — старейшая секта, основанная в Багдаде Абдулкадиром Гиляни (1077—1166) — монахом-отшельником.

...Шейх Накы-эфенди, настоятель обители, считался влиятельным человеком... – Шейх — старец, пожилой, почтенный человек (у арабов шейхи — предводители племён); здесь: глава ордена дервишей; прибавляется к имени как почётный титул.

...служил в Македонии, участвуя в карательных операциях против сербских и болгарских комитетов... – До первой Балканской войны 1912 г. Македония входила в состав Османской империи. После второй Балканской войны Македония, так и не получив национальной самостоятельности, была разделена между Грецией, Сербией и Болгарией. Сербские и болгарские комитеты возглавляли национально-освободительное движение в европейских владениях Османской империи, организовывали партизанские отряды «чете», которые принимали активное участие в младотурецкой революции 1908 г. Однако младотурецкие правители после прихода к власти, вопреки своим обещаниям, не дали автономию славянским народам Македонии и жестоко расправились с македонскими четниками.

...*Неджиб* звал *Шахина* доганом... – Шахин — сокол (персидск.), доган — сокол (турецк.).

...Хей, джаным, хей!... – Джаным — восклицание: «Душа моя!».

...Впереди рабочих шагал здоровенный бородач в зелёном ватном минтане... – Минтан — род восточной национальной одежды, похожей на русский кафтан.

...бояться пантюркизма этих юношей, которые, собственно говоря, всегда в руках исламистов... — Пантюркизм — реакционное буржуазно-националистическое течение, направленное к объединению всех тюркских народностей в одно государство под гегемонией Турции. Исламизм (или панисламизм) — религиозно-политическое течение среди феодально-буржуазных мусульманских слоев, стремящихся к созданию единого мусульманского государства. Младотурки продолжали шовинистическую политику угнетения народов Османской империи, насильственного отуречивания многочисленных нетурецких народов, поэтому пантюркизм и панисламизм стали основой реакционной, проимпериалистической идеологии младотурецкого правительства.

...Во Франции существует знаменитое общество Аллана Кардека... – Кардек Аллан — основатель «Парижского общества спиритических опытов», псевдоним Леона Ривайя, автора нескольких книг по спиритизму, в том числе имевшей шумный успех «Книги духов» (1857).

...Отныне содержимое сумы и несколько меджидие, что звенели за пазухой... – Меджидие — серебряная монета в 20 пиастров (курушей), имела хождение в султанской Турции.

...Помилуйте, муаллим-эфенди... – Муаллим — учитель.

...и отправился в Хиджаз... – Хиджаз — район Аравийского полуострова, где расположены города Мекка и Медина.

...получившего первое воспитание ещё во времена Бабыали... – Бабыали — Высокая Порта, так называлось правительство Османской империи до принятия конституции 1908 года.

...Мюдюр-бей-эфенди, я воспитан в медресе... – Мюдюр — начальник, заведующий.

..."Эйваллах!..."... – "Эйваллах!" — Воскликание, означающее: "Пусть будет так!"

...Вам что-нибудь нужно, хемшире-ханым?... – Хемшире — сестра, сестрица.

...заставлял богатых учеников по очереди приносить ему долму... –
Долма — восточное кушанье, голубцы, фаршированные овощи.

...доктор частенько читал касыды... – Касыда — хвалебное стихотворение, ода, поэма, здесь — религиозного содержания.

...сидя в ночной энтари... – Энтари — длинная рубаха, которую иногда носят вместо халата .

...выдавая «маэстро» за второго Локмана... – Локман — легендарный мудрец.

...У вас, наверно, какое-нибудь дело ко мне, валидэ-ханым?... – Валидэ
— мать, мамаша.

...гробница святого старца Келями-баба... – Баба — отец; здесь — обращение к шейху, принятое у дервишей ордена Бекташи.

...от той рыбы, которая проглотила пророка Юнуса, и палка, которая принадлежала пророку Мусе. Там можно было увидеть кусок доски, оторвавшейся от ковчега, построенного пророком Нухой, и деревянное ложе, на котором спал пророк Эйюб... – История сотворения мира, изложенная в Коране, была заимствована арабами в значительной мере из Библии. Поэтому многие библейские герои стали мусульманскими пророками, а их древнееврейские имена были заменены на арабские: Иона — на Юнуса, Моисей — на Мусу, Ной — на Нуха, Иов — на Эйюба.

...присланное Сулейманом Законодателем... – Сулейман Законодатель — турецкий султан Сулейман I, прозванный европейцами Великолепным, а турками — Законодателем. В годы его правления (1520—1566) Османская империя достигла наибольшего могущества.

...привезённый из Египта Селимом II... – Селим II — одиннадцатый падишах Османской империи, сын Сулеймана Законодателя. Правил с 1566 по 1574 г.

...На ногах у него были железные чарыки... – Чарыки — обувь из сыромятной кожи, очень распространённая среди крестьян Турции; железные чарыки — атрибут турецкой сказки.

...ходжи обвиняют в безбожии, ф Frankмасонстве... – Франкмасон (от франц. franc maçon — «свободный каменщик») — член масонской организации, в понятии реакционного духовенства — вообще вольнодумец, безбожник. В Турции многие члены комитета «Единение и прогресс», даже лидеры этой партии (например, Таалат-паша — председатель центрального комитета, министр внутренних дел, впоследствии великий визирь) были масонами, ложи которых существовали во многих городах Македонии, особенно распространены в Салониках.

...круглый невежда, да ещё *imbécile*... – *imbécile* - Дурак (франц.).

...Наши противники, соглашечы... – В оппозиции к партии «Единение и прогресс» находилась партия «Свобода и согласие» («Хюрриет ве итиляф»), представлявшая интересы феодально-компрадорских кругов и мусульманского духовенства. Эта партия была сформирована в 1911 году из «ахраров» и оппозиционеров, вышедших из партии «Единение и прогресс». Летом 1912 года «соглашечы» свергли младотурецкое правительство и захватили власть, однако, воспользовавшись неудачами нового правительства в Балканских войнах, младотурки в январе 1913 года совершили государственный переворот и опять захватили власть в стране.

...Вехби-бей в год провозглашения конституции вступил в партию свободы... – Партия свободы — «ахрары», или, как их ещё называли, партия либералов.

...Один знаменитый философ сказал: «Я люблю Сократа, но истину я люблю больше»... – Греческий философ Платон (427-347 гг. до н. э.) в сочинении «Федон» приписывает Сократу, своему учителю, слова: «Следуя мне, меньше думай о Сократе, а больше об истине». Аристотель в сочинении «Никомахова этика» (I, 4), полемизируя с Платоном и имея в виду его, пишет: «Пусть мне дороги друзья и истина, однако долг повелевает отдать предпочтение истине». В литературную речь это выражение в измененном виде вошло в XVII в. на латинском языке: «Amicus Plato, sed magis arnica veritas» — «Платон мне друг, но истина дороже».

...безупречно чисты, словно омыты семь раз водами священного Земзема... – Земзем — название священного колодца у храма Каабы в Мекке.

...по дорогам, ведущим на Кавказ или в Чанаккале... – Чанаккале — город-крепость у входа в пролив Дарданеллы.

...Хотя неожиданный захват греками Измира... – Греческие войска по решению держав Антанты заняли Измир 15 мая 1919 года. Высадка шла под прикрытием англо-франко-американского флота.

...Несмотря на партийный переворот... – После капитуляции Турции в первой мировой войне и заключения Мудросского перемирия 30 октября 1918 года партия «Единение и прогресс» самоликвидировалась, лидеры младотурок бежали из страны. Власть захватила партия «Свобода и согласие», являвшаяся, как и султан, послушным орудием английских империалистов.

...потом схватил его фонарь и, вскочив на мусалла-таши, крикнул... –
Муссалла-таши — камень, на который ставится гроб при совершении обряда прощания с покойным.

...вопреки всем интригам и стараниям семи держав... – Автор имеет в виду государства Антанты, которые, не удовлетворившись захватом арабских стран, входивших ранее в состав Османской империи, готовились к разделу территории самой Турции. После перемирия военный флот Антанты вошёл в Дарданеллы и Босфор, а оттуда проник в Чёрное море; англичане, французы, греки и итальянцы оккупировали некоторые районы западного побережья Анатолии; в 1920 году англичане высадили десант в Стамбуле, захватили столицу, разогнали парламент и ввели осадное положение. Пытаясь «узаконить» интервенцию, империалисты Антанты заставили султанское правительство подписать 10 августа 1920 года Севрский мирный договор, закреплявший раздел и закабаление Турции. Но турецкий народ ответил на этот договор усилением освободительной борьбы, которая привела к победе над всеми оккупантами, свержению султана и установлению республики.

...сразу после победы... – 30 августа 1922 г. в битве при Думлупынаре (Западная Анатолия) грекам-интервентам было нанесено решающее поражение. Вскоре Измир (9 сентября 1922 г.), а за ним и вся Анатолия были освобождены. 11 октября 1922 г. было заключено перемирие, а 24 июля 1923 г. в Лозане — мирный договор.

...халифат в Турции был уже отменён, закрылись медресе и теккэ — обители дервишей... – Великое Национальное собрание Турции (меджлис) 1 ноября 1922" г. упразднило султанат, объявив меджлис высшим органом власти в Турции. Однако халифат (высшая духовная власть) был оставлен. 29 октября 1923 г. меджлис провозгласил Турцию республикой, первым президентом стал вождь национально-освободительного движения турецкого народа, лидер Народно-республиканской партии Гази Мустафа Кемаль-паша (Ататюрк). 3 марта 1924 г. декретом меджлиса был ликвидирован халифат, изгнаны все члены бывшей династии во главе с халифом, упразднено министерство религии и вакуфов, а затем вскоре ликвидированы шариатские суды, закрыты медресе, распущены и запрещены секты дервишей, закрыты теккэ.